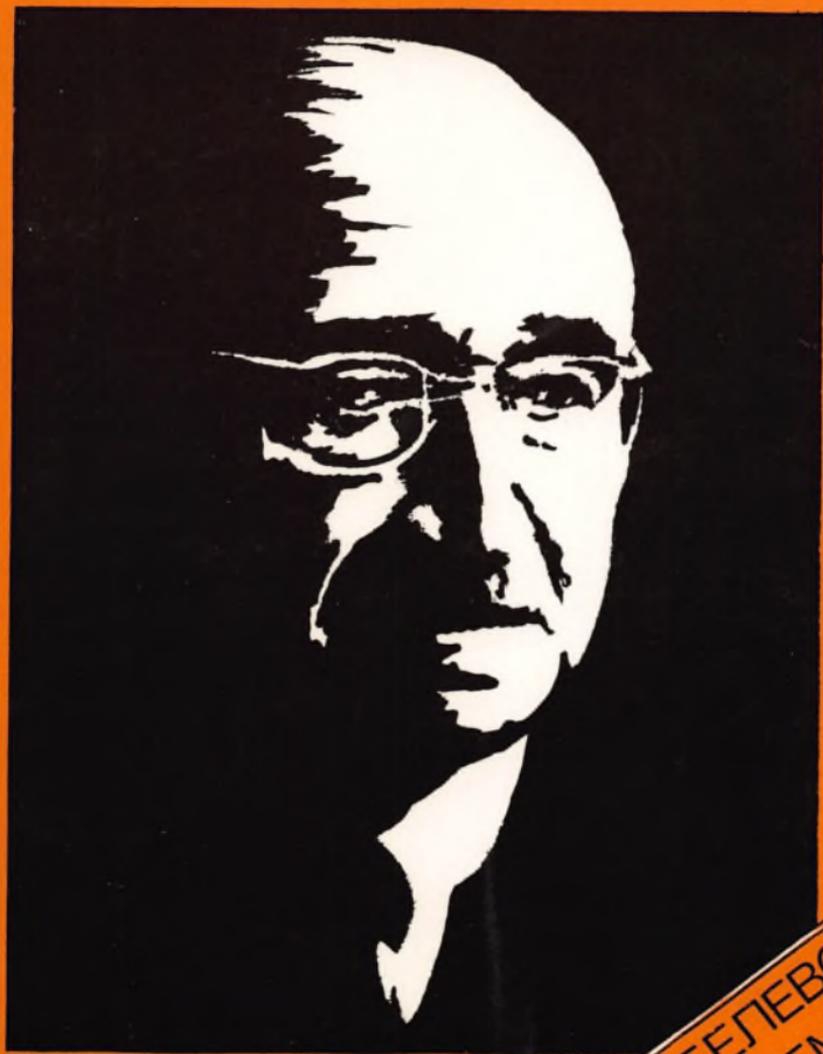


Ф. А. ХАЙЕК
ДОРОГА
К
РАБСТВУ



НОБЕЛЕВСКАЯ
ПРЕМИЯ

Фридрих Август Хайек родился в 1899 г. в Вене. После окончания в 1921 г. Венского университета (где ему были присуждены ученые степени доктора права и доктора политических наук) он некоторое время состоял на государственной службе, после чего в 1927 г. был назначен первым директором Венского института экономических исследований. В 1931 г. он стал профессором Лондонского университета, где получил кафедру экономики и экономической статистики в Лондонской школе экономики. В 1950 г. Ф. А. Хайек становится профессором социальных наук и этики Чикагского университета, а в 1962 г. – профессором экономической политики во Фрейбургском университете (ФРГ), где преподает до 1969 г. С 1970 г. Ф. А. Хайек является профессором-консультантом Зальцбургского университета (Австрия). В 1974 г. ему была присуждена Нобелевская премия по экономике. Ф. А. Хайек является членом Британской Королевской Академии наук и доктором honoris causa нескольких университетов. К его наиболее известным трудам относятся: *Цены и производство* (1931), *Монетарная теория и торгово-промышленный цикл* (1933), *Прибыли, ссудный процент и капиталовложение* (1939), *Дорога к рабству* (1944), *Джон Стюарт Милль* (1950), *Основной закон свободы* (1960), *Исследования по философии, политике и экономике* (1967), *Право, законодательство и свобода* (т. 1 – 1973, т. 2 – 1976, т. 3 – 1979).

Ф. А. ХАЙЕК
ДОРОГА
К
РАБСТВУ

Перевод
с английского
Нины Ставиской
Под редакцией
и с примечаниями
А. Бабича

NINA KARSOV
London 1983

F. A. Hayek: DOROGA K RABSTVU
Translated from English by Nina Staviskaya
Edited by A. Babich

First Russian edition published in 1983
by **Nina Karsov**
28 Lanacre Avenue, London NW9 5FN, England

Originally published by Routledge & Kegan Paul Ltd
as *The Road to Serfdom*, 1944 (reprinted 1976)

Copyright © F. A. Hayek
Copyright © Russian edition **Nina Karsov**, 1983

All rights reserved

British Library Cataloguing in Publication Data

Hayek, F. A.

Doroga k rabstvu

1. Economic Policy

I. Title II. The Road to Serfdom. *Russian*

338.9 HD82

ISBN 0-907652-06-9

Cover design by Andrzej Krauze

Reproduced from copy supplied,
printed and bound in Great Britain
by Billing and Sons, Worcester

Социалистам всех партий

Любая свобода, как правило, утрачивается постепенно.

ДАВИД ЮМ

Полагаю, я любил бы свободу во все времена,
но в наши дни я готов поклоняться ей как Богу.

АЛЕКСИС ДЕ ТОКВИЛЬ

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Сорок лет назад я попытался в этой книге показать, почему определенное интеллектуальное течение, завладевшее умами многих ведущих западных мыслителей, угрожает гибелью всей построенной нами цивилизации. Появление книги, как и следовало ожидать, было встречено большинством интеллектуалов враждебно; приветствовали его в основном те, кто своей повседневной практической деятельностью способствовал поддержанию существующего порядка, не особенно вдаваясь в размышления относительно его оправданности. Тем не менее, она стала отправной точкой нового интеллектуального направления, которое ныне находит все больше сторонников среди молодежи, осознающей порочность даже самих идейных предпосылок того, что когда-то казалось сияющим идеалом. Представление, что наш коллективный разум достиг высот, где мы уже можем заменить саморегулирующийся процесс сознательным руководством, оказалось на поверку всего лишь иллюзией. Если бы это убеждение (отнюдь не абстрактного, а вполне практического свойства) не было ошибочно, тогда действительно нашим моральным долгом было бы управлять всей нашей экономической деятельностью так, чтобы ее результаты соответствовали тем нравственным ценностям, которыми мы руководствуемся в своих индивидуальных действиях. Однако, как мы теперь понимаем, подобная попытка задушила бы именно те самые индивидуальные усилия миллионов отдельных личностей, благодаря которым крупницы знаний, таланта и опыта, рассеянные среди этих миллионов, сливаясь в едином, никем не направляемом процессе, формируют такую структуру человеческой деятельности, что ее возможности далеко превосходят все, что могло бы быть достигнуто, если бы мы руководствовались сознательно задуманным проектом. Свобода индивидуума решать, на что

направить имеющиеся в его распоряжении средства (распределяемые между людьми в соответствии с некими абстрактными правилами), еще раз была признана гораздо более эффективным способом реализации потенциальных возможностей человека. Различие между двумя системами, долгое время казавшееся чисто этическим (и в силу этого не подлежащим третейскому суду разума), на деле оказалось результатом вполне конкретных практических разногласий относительно реальных возможностей каждой системы. В этом случае спор может быть разрешен с помощью рациональной аргументации, что и произошло: превосходство системы, где высшей ценностью является свобода личности, базирующаяся на институте частной собственности, было еще раз продемонстрировано противоположными результатами конкурирующих экспериментов, проводившихся на памяти двух поколений в разных частях того, что когда-то было общеевропейской цивилизацией.

Мало что могло бы меня порадовать больше, чем тот факт, что четырнадцатым языком, на котором появится моя книга, будет русский. Сразу после ее выхода в свет я предоставил разрешение на ее перевод на несколько большее число языков, чем те, на которых она тогда могла быть опубликована. В сороковые и пятидесятые годы политическая ситуация в некоторых из тех стран, где ее перевод был уже подготовлен, изменилась настолько, что ее публикация стала невозможной. Ныне, как кажется, процесс идет в обратном направлении: в нескольких странах теперь, с примерно тридцатилетним запозданием, появляются издания этой книги. Самым недавним из них, доставившим мне особое удовольствие, было польское издание. И все же я почти не надеялся дожить до момента, когда увижу ее в русском переводе, воздействие которого может оказаться более значительным, чем любого другого. Я глубоко надеюсь и желаю, чтобы мои ожидания сбылись.

Фрейбург-им-Брейсгау, апрель 1982 г.

Ф. А. Хайек

ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда человек, профессионально занимающийся изучением общественных проблем, выпускает книгу чисто политического характера, первейшая его обязанность — прямо об этом заявить. Настоящая книга — политического характера, и я не хочу маскировать этого (как, наверное, мог бы) более изысканным и претенциозным именем социально-философского эссе. Однако, как бы ее ни называть, важно, что все мной в ней сказанное вытекает из определенных основополагающих ценностей. Надеюсь также, что я выполнил и вторую, не менее серьезную задачу: показать ясно и недвусмысленно, каковы те изначальные ценности, на которых зиждется вся система доказательств.

И все же мне хотелось бы кое-что добавить. Несмотря на политический характер книги, я абсолютно убежден, что выраженные в ней взгляды обусловлены не моими личными интересами. У меня нет никаких оснований считать, что в обществе, какое мне представляется желательным, я обладал бы большими благами, чем громадное большинство населения. Более того, те из моих коллег, кто исповедует идеи социализма, не перестают твердить, что как экономист я занимал бы гораздо более высокое положение в обществе, против которого я восстаю — разумеется, если бы сумел согласиться с их идеями. Столь же твердо я убежден и в том,

что мое неприятие этих убеждений объясняется вовсе не их отличием от взглядов, на которых я воспитан. Фактически в молодости я придерживался как раз подобных идей, и именно они побудили меня сделать изучение экономики своей профессией. Что же касается тех, кто, как это теперь принято, занимается выискиванием корыстных мотивов в каждом изложении политического кредо, то да будет мне позволено добавить, что у меня есть все основания *не* писать и *не* издавать эту книгу. Она, несомненно, заденет многих, с кем я хотел бы оставаться в хороших отношениях; из-за нее мне пришлось отложить работу, для которой я, как мне кажется, лучше подготовлен и которую, в конечном счете, считаю важнее; наконец — и это главное — она наверняка вызовет предвзятое отношение к плодам строго академической работы, к которой меня влекут все мои склонности.

Если, несмотря на все сказанное, я пришел к выводу, что написать эту книгу — мой долг, от которого я не имею права уклониться, то вызвано это главным образом одной специфической и чреватой серьезными последствиями особенностью нынешних дискуссий по вопросам будущей экономической политики — дискуссий, о содержании которых широкие массы почти ничего не знают. Дело в том, что в течение последних лет большинство экономистов были полностью поглощены работами, связанными с войной, и вынуждены молчать из-за занимаемых ими официальных постов. В результате общественное мнение по указанным вопросам стало в угрожающих размерах направляться всякого рода дилетантами и людьми, одержимыми навязчивой идеей, подозрительными личностями, намеревающимися половить рыбку в мутной воде или же пытающимися всучить легковерным очередное чудодейственное средство от всех и всяческих бед. В этих условиях человек, пока еще располагающий досугом для литературной работы, не имеет права умалчивать об опасениях, которые современные тенденции должны вызывать у многих людей, не имеющих возможности заявить об этом во всеуслышание — хотя в иных обстоятельствах я с удовольствием предоставил бы обсуждение политических вопросов лицам, лучше меня подготовлен-

ным и обладающим большим правом этим заниматься.

Впервые основные положения книги были кратко изложены в статье под названием „Свобода и экономическая система”. Статья эта появилась в журнале *Contemporary Review* за апрель 1938 г., а затем (в 1939 г.) была перепечатана в расширенном виде в одном из выпусков серии „Брошюр по общественно-политическим вопросам”, выпускавшихся под редакцией профессора Г. Д. Гидеонса издательством Чикагского университета. Приношу свою благодарность редакторам и издателям обеих этих публикаций за разрешение перепечатать из них некоторые отрывки.

*Лондонская школа экономики,
Кембридж, декабрь 1943 г.*

ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ 1976 ГОДА

Эта книга, писавшаяся в свободное от работы время с 1940 по 1943 гг., когда меня все еще занимали главным образом вопросы чистой экономической теории, стала, как и следовало ожидать, отправной точкой моей более чем тридцатилетней работы в новой области. Первая попытка двинуться в новом направлении была вызвана раздражением по поводу совершенно неправильной интерпретации нацистского движения в английских „прогрессивных” кругах, раздражением, побудившим меня вначале направить специальную памятную записку тогдашнему директору Лондонской школы экономики, сэру Уильяму Бевериджу, а затем написать статью в *Contemporary Review* за 1938 г., которую, по просьбе профессора Гарри Гидеонса, я затем расширил для публикации в редактировавшихся им „Брошюрах по общественно-политическим вопросам”. Наконец, обнаружив, что все мои более компетентные британские коллеги заняты неотложными вопросами ведения войны, я с большой неохотой развил свои мысли в этот „трактат для нашего времени”.¹ Несмотря на совершенно неожиданный успех книги — причем не планировавшееся вначале американское издание имело даже больший успех, чем английское — я долгое время чувствовал в связи с ней некоторую неловкость. Хотя политический характер книги был прямо за-

явлен в самом начале, многие мои коллеги по общественным наукам дали мне понять, что я неправильно использовал свои возможности, да и самого меня смущало, что, пойдя дальше экономики как таковой, я превысил свою компетенцию. Не буду здесь говорить ни о буре, вызванной появлением книги в определенных кругах, ни о любопытных различиях между приемом, оказанным ей в Великобритании и в Соединенных Штатах: об этом я уже говорил двадцать лет назад в предисловии к первому американскому массовому изданию карманного формата. Чтобы дать представление о наиболее распространенной реакции на книгу, упомяну лишь, что один хорошо известный философ, имени которого я не назову, в письме к другому упрекал этого последнего за похвалы скандальной книге, которую сам он, „разумеется, не читал!”

И все-таки при всех стараниях вернуться к чистой экономике меня не покидала мысль, что вопросы, столь неумышленно мною затронутые, гораздо важнее и злободневнее вопросов экономической теории и что многое из сказанного в этом первом наброске нуждается в пояснении и подробной разработке. Кроме того, во время работы над книгой я сам еще не полностью освободился от предрассудков, господствовавших тогда в общественном мнении, и не сумел избежать общераспространенной путаницы в терминах и понятиях, которую впоследствии ясно осознал. Далее, предпринятая в книге попытка рассмотреть последствия социалистической политики, разумеется, неполна, если не показать, какие условия необходимы для рыночной экономики и чего можно с ее помощью добиться. Разработке последнего вопроса и была главным образом посвящена моя дальнейшая работа в этой области. Первым плодом усилий объяснить природу общественного устройства, основанного на принципе свободы, явился объемистый труд *Основной закон свободы* (1960), в котором я попробовал заново и в более цельном виде изложить основные положения классического либерализма девятнадцатого века. Увидев, что некоторые важные вопросы при этом остаются без ответа, я затем попытался дать на них собственные ответы в трех-

томном труде, озаглавленном *Право, законодательство и свобода*, первый том которого появился в печати в 1973 г., второй — в 1976, а третий близится к завершению.

За двадцать лет, отданных осуществлению этих задач, я, как мне кажется, многое узнал относительно вопросов, обсуждаемых в данной книге, которую, кстати, за все это время, пожалуй, ни разу не перечитывал. Теперь, вновь перечитав ее в связи с необходимостью написать настоящее предисловие, я впервые не только не чувствую необходимости извиняться, но даже, в целом, доволен, причем не в последнюю очередь — проницательным посвящением „социалистам всех партий”. Хотя я и действительно узнал за протекшие годы многое, чего не знал тогда, меня удивило, сколько из того, что я понимал уже в самом начале, подтвердилось дальнейшими исследованиями; для специалистов, надеюсь, бóльшую ценность будут иметь мои позднейшие работы, но я готов без колебаний рекомендовать эту раннюю книгу читателю-неспециалисту в качестве простого и не перегруженного терминологией введения в суть того, что мне представляется одной из самых грозных проблем, которые все еще стоят перед нами и которые нам предстоит решить.

Читатель может спросить, готов ли я, как и прежде, подписаться под основными выводами книги; ответ на это будет в целом утвердительным. Я должен сделать одну-единственную оговорку. Дело в том, что за протекшие годы терминология изменилась, поэтому сказанное в книге может быть неправильно понято. Когда я ее писал, термин „социализм” недвусмысленно означал обобществление средств производства и с необходимостью следующее за ним централизованное экономическое планирование. В этом смысле Швеция, например, в настоящий момент — гораздо менее социалистическая страна, чем Великобритания или Австрия, хотя обычно принято думать обратное. Это объясняется тем, что под социализмом постепенно стали главным образом понимать широкое перераспределение доходов путем налогового обложения и институты „государства всеобщего благоденствия”.² В такого рода государстве эффекты, рас-

смаатриваемые мной в этой книге, проявляются медленнее, более косвенным образом и не в чистом виде. Полагаю, впрочем, что конечный результат будет точно таким же, хотя путь, ведущий в этому результату, несколько отличается от здесь описанного.

Мне часто приписывают мнение, что любой сдвиг в сторону социализма неизбежно ведет к тоталитаризму. Такая опасность существует, но в книге речь не о том. Книга эта — предостережение: если мы не изменим принципов нашей политики, то столкнемся с весьма неприятными последствиями, которых большинство сторонников этой политики вовсе не хотят.

Главный изъян этой книги, как я теперь думаю, заключался в том, что я недостаточно подчеркнул значение коммунистического опыта в России. Ошибка эта, возможно, прощательна, если вспомнить, что когда я ее писал, Россия была нашим военным союзником, да и сам я тогда еще не полностью освободился от всех широко бытовавших в то время интервенционистских предрассудков,³ и поэтому пошел на некоторые уступки, которые теперь считаю неоправданными. Кроме того, я, разумеется, еще не знал, насколько далеко все уже зашло в некоторых отношениях. Например, я полагал, что задаю чисто риторический вопрос, когда, написав, что Гитлер получил неограниченную власть строго конституционным путем, спрашивал: „Скажет ли кто-нибудь из-за этого, что в Германии по-прежнему господствует законность?“. Однако вскоре обнаружилось, что профессора Ганс Кельзен и Гарольд Дж. Ласки, а вслед за этими влиятельными учеными, наверное, и многие другие социалистически настроенные юристы и политологи, именно так и считают. Это не единственный пример: вообще дальнейшее изучение современных тенденций развития научной мысли и общественных институтов только усилило мою тревогу и озабоченность. К тому же и влияние социалистических идей, и наивная вера в добрые намерения обладателей тоталитарной власти за время, прошедшее с момента написания книги, заметно выросли.

Меня долгое время возмущало, что своей известностью

я гораздо больше обязан тому, что я считал лишь злободневным памфлетом, чем строго научным трудам. Теперь, пересмотрев написанное тогда в свете тридцатилетнего дальнейшего изучения поднятых здесь вопросов, я изменил свое мнение. Многие из того, что содержится в книге, я тогда не мог показать достаточно убедительно, но искреннее стремление к правде, на мой взгляд, дало результат, который поможет даже несогласным со мной избежать серьезных опасностей.

Ф. А. Хайек

ВВЕДЕНИЕ

Нет исследований более раздражающих,
чем те, где прослеживается родословная идей.

Лорд Актон

Отличие современных нам событий от истории состоит в том, что мы не знаем, к чему они приведут. Оглядываясь назад, мы можем понять смысл событий, случившихся в прошлом, и увидеть, какие последствия они за собой повлекли. Но история, происходящая у нас на глазах, — для нас не история. Она ведет нас в неведомые края, и лишь изредка мы можем на мгновение увидеть, что лежит впереди. Дело обстоит бы по-другому, если бы нам дано было пережить те же события вторично, обладая полным знанием того, что мы уже пережили. Насколько иным все бы предстало перед нами, какими важными, а зачастую и тревожными показались бы едва заметные сейчас сдвиги! Быть может, это даже к лучшему — то, что нам не дано этого испытать и мы не знаем, каким законам подчиняется история.

И все же, хоть история никогда полностью не повторяется, и даже как раз благодаря тому, что ни один путь развития не является неизбежным, мы можем, исходя из прошлого, в какой-то мере избежать повторения одного и того же процесса. Чтобы сознавать приближение опасности, не надо быть

пророком. Случайное сочетание опыта и заинтересованности часто может явить одному человеку сокровенную суть событий, неведомую другим.

Нижеследующие страницы являются результатом того опыта, который выпал на мою долю. Можно сказать, что я почти что пережил дважды один и тот же период — или по крайней мере наблюдал дважды весьма схожую эволюцию идей. Подобный опыт вряд ли можно приобрести, живя в одной стране, но при определенных обстоятельствах этого можно достигнуть, если подолгу жить в разных странах поочередно. Дело в том, что хотя влияния, которые испытывает общее направление мысли, в большинстве цивилизованных стран практически одни и те же, они не обязательно проявляются в одно и то же время и развиваются с одинаковой скоростью. Таким образом, переезжая из одной страны в другую, можно иногда дважды наблюдать одни и те же стадии интеллектуального развития. При этом чувства странным образом обостряются. Когда при тебе во второй раз высказываются взгляды, или предлагаются меры, с которыми ты впервые столкнулся двадцать-двадцать пять лет назад, они приобретают новую значимость как симптомы вполне определенной тенденции. Они говорят если не о неизбежности, то по крайней мере о возможности того, что события будут развиваться в том же направлении.

Теперь необходимо высказать горькую истину: нам угрожает опасность повторить тот путь, по которому уже прошла до нас другая страна, и эта страна — Германия. Опасность, правда, не так уж близка, да и условия в Англии по-прежнему сильно отличаются от тех, что наблюдались в Германии в последние годы, так что трудно поверить, что мы движемся в том же направлении. И все же это одна и та же дорога — и чем дальше мы по ней продвинемся, тем труднее будет повернуть назад. Если „по большому счету” мы творим свою судьбу сами, то в частности — мы пленники нами же порожденных идей. И только вовремя осознав опасность, мы можем надеяться ее предотвратить.

Пока наша страна ни в чем не похожа на нынешнюю Германию — Германию Гитлера, Германию времен тепереш-

ней войны. Но все, кто изучает течения общественной мысли, вряд ли могут не заметить отнюдь не поверхностного сходства между общим направлением мысли в Германии до и после первой мировой войны и взглядами, широко распространенными в настоящее время в Англии. Мы наблюдаем ту же самую решимость сохранить организационную структуру, созданную для целей обороны, чтобы впоследствии использовать ее для созидательных целей. Здесь царит то же самое презрение к либерализму девятнадцатого века, тот же фальшивый реализм и даже цинизм, та же фаталистическая покорность перед лицом неотвратимых тенденций. Что же до уроков, которые наши наиболее горластые преобразователи во что бы то ни стало хотят нас заставить извлечь из нынешней войны, то в девяти случаях из десяти это — уроки, извлеченные немцами из прошлой войны и во многом способствовавшие появлению нацизма. На страницах этой книги мы беремся показать, что и во многих других отношениях Англия следует, с пятнадцати-двадцатилетним отставанием, по стопам Германии. Люди не любят, когда им об этом напоминают, но ведь еще недавно социалистическая политика Германии рассматривалась прогрессистами как пример для подражания, подобно тому как в ближайшем прошлом образцовой страной, на которую устремлялись взгляды сторонников прогресса, была Швеция. Все, у кого не такая короткая память, знают, как глубоко повлияла германская идеология и практика на идеалы и политику по крайней мере одного поколения англичан перед прошлой войной.

Автор провел почти половину сознательной жизни на своей родине, в Австрии, в тесном соприкосновении с немецкой интеллектуальной жизнью, а вторую половину — в США и Англии. Двенадцать лет, прожитые на британской земле, внушают ему все большую уверенность в том, что некоторые из сил, уничтоживших свободу в Германии, действуют и здесь, а природа и источник опасности понимаются здесь, быть может, даже в еще меньшей степени, чем когда-то в Германии. Здесь все еще не осознают всего трагизма того, что произошло в Германии, где именно люди

доброй воли, считавшиеся в стране образцом и пользовавшиеся всеобщим восхищением, расчистили путь для сил, воплощающих теперь все самое для них ненавистное. А ведь наши шансы отвлечь аналогичную судьбу зависят от способности без страха смотреть в лицо опасности и отказаться даже от самых дорогих нашему сердцу надежд и устремлений, если они окажутся ее источником. Пока не очень похоже на то, что у нас хватит интеллектуального мужества признаться самим себе в своей возможной неправоте. Немногие готовы признать, что появление фашизма и нацизма было не реакцией на социалистические тенденции предыдущего периода, но прямым следствием этих тенденций. Большинство не желало этого видеть даже тогда, когда сходство многих отталкивающих черт, присущих коммунистическому режиму в России и национал-социалистическому — в Германии, стало общепризнанным фактом. В итоге многие, считающие, что они не в состоянии скатиться до уровня мрачного безумства нацистской идеологии, и искренне ненавидящие нацизм во всех его проявлениях, в то же время трудятся во имя идеалов, воплощение которых в жизнь прямо привело бы к столь ненавистной им тирании.

Все параллели между путями развития в разных странах, разумеется, обманчивы; но мои доказательства строятся главным образом не на таких параллелях. Не пытаюсь я также доказать, что подобное развитие событий является неизбежным (в противном случае не имело бы смысла все это писать). Я утверждаю, что его можно предотвратить, если люди вовремя осознают, к чему может привести то, что они делают. До недавнего времени любая попытка заставить их увидеть опасность имела небольшие шансы на успех, но сейчас как будто подошел момент для более полного и всестороннего обсуждения этой проблемы. Дело не только в том, что теперь серьезность ее признается практически всеми, но и появились особые причины, которые в существующей ситуации заставляют нас взглянуть правде в глаза.

Не исключено, что кое-кто может сказать, что сейчас не время поднимать вопрос, мнения по которому резко разделяются. Однако социализм, о котором идет речь — это не

вопрос партийной принадлежности, а обсуждаемые нами проблемы имеют мало общего с предметами межпартийных споров. Суть постановки вопроса не меняется от того, что принадлежащие к различным группировкам сторонники социализма преследуют при этом интересы своей собственной группировки (расходясь, например, во мнениях относительно масштабов необходимых социалистических преобразований). Для нас важно то, что люди, чьи взгляды влияют сейчас на ход развития страны — все в той или иной мере социалисты. Подчеркивать, что „все мы теперь социалисты”, перестало быть модным только потому, что это само собой разумеется. Практически никто не сомневается, что мы должны продолжать двигаться к социализму, и в большинстве своем люди просто пытаются отклонить это движение в ту или другую сторону в интересах того или иного класса или группы.

Мы движемся к социализму только потому, что этого хотят почти все. Нет никаких объективных фактов, делающих это движение неизбежным (ниже нам придется еще говорить о мнимой „неизбежности” планирования). Главный вопрос — куда нас это движение приведет. Если люди, чья убежденность придает ему неотразимую силу, увидят то, чего сейчас опасаются лишь немногие, неужели они не отшатнутся в ужасе и не откажутся от мечты, на полвека захватившей столько людей доброй воли? Куда заведут нас общие для нашего поколения убеждения — вот вопрос, который должна решать не одна какая-то партия, а каждый из нас, вопрос первостепенной важности. Можно ли вообразить себе большую трагедию, чем ту, когда мы в наших стремлениях сознательно сформировать свое будущее в соответствии с высокими идеалами, на деле невольно создадим прямую противоположность того, к чему стремимся?

Есть и другая, еще более неотложная причина, почему в настоящий момент нужно прилагать все усилия, чтобы уяснить, какие силы породили национал-социализм: это поможет нам понять врага и осознать, во имя чего ведется эта война. Нельзя отрицать, что пока еще мало кто отдает себе отчет в том, за какие положительные идеалы мы сражаемся.

Известно, что мы сражаемся за свободу строить свою жизнь так, как считаем нужным. Это много, но этого недостаточно для выработки твердых убеждений, необходимых, чтобы противостоять врагу, чьим главным оружием является пропаганда, причем не только в грубых, но и в утонченнейших формах. Этого тем более недостаточно для нанесения встречного удара по этой пропаганде в странах, находящихся под ее властью, и в прочих, где влияние ее не исчезнет в момент поражения стран Оси. Этого недостаточно, чтобы показать другим странам, что идеалы, которые мы защищаем, достойны их поддержки. Наконец, этого недостаточно, чтобы дать нам четкий ориентир в деле построения новой Европы, избавленной от опасностей, погубивших старую Европу.

Прискорбным фактом является то, что англичане как в своем поведении по отношению к диктаторам еще до начала войны, так и в робких попытках вести пропаганду, да и в обсуждениях конечных целей самой войны, проявили неуверенность в себе и в своих целях, которую можно объяснить лишь весьма туманным и неясным осознанием как собственных идеалов, так и сути того, что разделяет нас и наших противников. Мы были введены в заблуждение не только верой в искренность некоторых их деклараций, но и отказом верить в искренность тех убеждений, которые разделялись нами самими. Разве не обманывались и левые и правые партии, считая, что национал-социалистская партия состоит на службе у капитализма и является противницей любой формы социализма? Сколько особенностей гитлеровской системы рекомендовалось нам в качестве примера для подражания самыми неожиданными людьми, не сознававшими, что эти особенности являются неотъемлемой частью системы и несовместимы со свободным обществом, которое мы надеемся сохранить? Количество опасных ошибок, совершенных нами до войны и в ходе ее из-за непонимания противника, вызывает ужас. Можно подумать, что мы не желаем осознать, что именно привело к тоталитаризму, только из страха разрушить дорогие нашему сердцу иллюзии, за которые мы цепляемся из последних сил.

Мы никогда не достигнем успеха в отношениях с немца-

ми, пока не поймем природу и пути развития правящих ими ныне идей. Вновь появившаяся теория внутренней порочности немцев как таковых не выдерживает критики, и в нее не очень верят даже ее сторонники. Она бросает тень на долгую вереницу имен англичан, в течение последнего столетия охотно заимствовавших лучшее, да и не только лучшее, в немецкой философской мысли. Она упускает из виду, что восемьдесят лет назад, когда Джон Стюарт Милль писал свое великолепное эссе *О свободе*, он черпал свое вдохновение главным образом у двух немцев — Гете и Вильгельма фон Гумбольдта,¹ но забывает также и то, что двумя наиболее влиятельными интеллектуальными предтечами национал-социализма были шотландец Томас Карлейль и англичанин Хьюстон Стюарт Чемберлен. В более грубой форме такой взгляд позорит тех, кто его разделяет, ибо они тем самым усваивают худшее в немецких расовых теориях. Вопрос не в том, почему плохи немцы как таковые (от природы они, вероятно, не хуже и не лучше прочих наций), а в том, какие обстоятельства в течение последних семидесяти лет способствовали росту и последующей победе определенного круга идей, и почему победа эта в конце концов привела к власти наиболее порочные элементы германского общества. Кроме того, ненависть не к конкретным идеям, господствующим сейчас в умах немцев, а просто ко всему немецкому, очень опасна, ибо не позволяет увидеть реальную угрозу. Такая позиция есть зачастую просто попытка уйти от действительности, вызванная нежеланием распознать тенденции, присущие не только Германии, нежеланием пересмотреть, а при необходимости и отбросить, взгляды, заимствованные нами у немцев и продолжающие вводить нас в заблуждение не в меньшей мере, чем самих немцев. Объяснение нацизма лишь особой испорченностью немцев вдвойне опасно тем, что под этим предлогом нетрудно навязать нам как раз те самые институты, которые породили эту испорченность.

Предлагаемая в данной книге интерпретация событий в Германии и Италии весьма отличается от той оценки, которую им дает как большинство зарубежных наблюдателей, так и значительная часть политических эмигрантов из

этих стран. Однако, если моя интерпретация правильна, то она одновременно объясняет, почему человеку, который, подобно большинству эмигрантов и иностранных корреспондентов английских и американских газет, придерживается господствующих ныне социалистических взглядов, почти невозможно увидеть эти события в правильной перспективе.² Поверхностная и вводящая в заблуждение точка зрения, будто национал-социализм есть просто реакция, сознательно раздутая группами, чьим привилегиям и интересам угрожало наступление социализма, — эта точка зрения не может не поддерживаться всеми теми, кто когда-то активно участвовал в идеологическом движении, приведшем к национал-социализму, но потом перестал его поддерживать, вступил в конфликт с нацистами и был вынужден покинуть свою страну. Однако то, что эти люди составляли единственную в количественном отношении заметную оппозицию нацистам, означает лишь, что в широком смысле слова все немцы уже практически были социалистами и что либерализм в прежнем его понимании был вытеснен социализмом. Как мы надеемся показать, конфликт между „левыми” силами и „правыми” национал-социалистами в Германии — это конфликт, который всегда будет возникать между соперничающими социалистическими фракциями. Если наша интерпретация верна, то беженцы-социалисты, цепляющиеся за свои убеждения, тем самым способствуют, пусть и с наилучшими намерениями, вступлению приютившей их страны на путь, пройденный Германией.

Как мне известно, многих моих английских друзей шокируют полуфашистские взгляды, время от времени высказываемые беженцами из Германии, чьи подлинно социалистические убеждения не вызывают сомнений. Однако англичане объясняют это немецкой национальностью беженцев, тогда как подлинная причина — в том, что благодаря своему опыту они просто находятся на несколько стадий дальше точки, достигнутой на сегодняшний день английскими социалистами. Разумеется, социалисты в Германии получили поддержку в значительной степени благодаря некоторым особенностям прусской традиции; и это родство между

пруссачеством и социализмом, которым в Германии кичились обе стороны, придает нашему основному тезису дополнительный вес.³ Но было бы ошибкой считать, что к тоталитаризму Германию привел не социалистический, а специфический „германский” дух. Не прусский дух, а именно преобладание социалистических взглядов роднит Германию с Италией и Россией — да и поднялся национал-социализм не из привилегированных классов, пропитанных прусскими традициями, а из гущи народных масс.

Глава 1

ОТВЕРГНУТЫЙ ПУТЬ

Основной тезис этой программы не в том, что система свободного предпринимательства, ставящего своей целью получение прибыли, в нашем поколении провалилась, а в том, что ее еще не пробовали применять.

Ф. Д. Рузвельт

Когда развитие цивилизации принимает неожиданный оборот, когда вместо ставшего привычным постоянного прогресса нам начинает угрожать зло, ассоциирующееся с ушедшими в прошлое временами варварства, мы, разумеется, начинаем искать виноватых везде, кроме самих себя. Разве не старались мы изо всех сил, и разве наши самые блестящие умы не трудились неустанно над тем, как сделать мир лучше? Разве не были все наши усилия и надежды устремлены к достижению свободы, справедливости и процветания? И если результат столь разительно отличается от поставленных целей, если вместо свободы и процветания нам в лицо смотрят рабство и нищета, то не ясно разве, что наши намерения были извращены силами зла, что мы — жертвы какой-то злой воли, которую необходимо победить, чтобы продолжать путь к лучшей жизни? Скольких бы раз-

ных виновников мы ни называли — злого капиталиста или порочность определенной нации, глупость старшего поколения или все еще не свергнутую до конца, несмотря на полувековую нашу борьбу, некую социальную систему — все мы твердо уверены, или по крайней мере были уверены до недавнего времени, в одном: идеи, объединившие при жизни последнего поколения всех людей доброй воли и приведшие к кардинальным сдвигам в нашей общественной жизни, не могли быть ошибочными. Мы готовы принять практически любое объяснение нынешнего кризиса цивилизации, кроме одного: что он является результатом наших искренних заблуждений и что именно погоня за некоторыми из самых дорогих нашему сердцу идеалов привела к последствиям, в корне отличным от ожидавшихся.

Теперь, когда вся наша энергия направлена на то, чтобы довести войну до победного конца, иногда трудно припомнить, что еще до начала войны ценности, за которые мы сейчас сражаемся, находились под угрозой в Англии и были уничтожены в других странах. И когда у нас на глазах разворачивается битва не на жизнь, а на смерть между враждующими нациями, олицетворяющими столь различные идеалы, мы не должны забывать, что конфликт этот вырос из борьбы идей внутри того, что еще недавно было общеевропейской цивилизацией, и что тенденции, кульминационной точкой которых явилось создание тоталитарных систем, проявлялись не только в странах, павших под натиском тоталитаризма. Разумеется, сейчас наша первоочередная задача — выиграть войну; но победа лишь позволит нам еще раз вплотную заняться основополагающими вопросами и попытаться избежать судьбы, постигшей родственные нам цивилизации.

Сегодня мы воспринимаем Германию, Италию или Россию как иные, абсолютно чуждые нам миры. Требуется усилие, чтобы понять, что эти миры — результат определенного процесса развития идей, в котором участвовали и мы сами; гораздо легче и удобнее считать, что наши враги ничем на нас непохожи, и что случившееся там не может случиться здесь. Однако история этих стран в период, предшествовавший

возникновению тоталитарных систем, не выявила никаких новых, незнакомых нам особенностей. Внешний конфликт есть результат перестройки общеевропейской мысли — перестройки, в которой другие страны ушли настолько вперед, что вступили в непримиримое противоречие с нашими идеалами, но которая не могла не затронуть и нас.

Англичанам, пожалуй, особенно трудно понять, что таким, каков он есть, мир сделали смена идей и человеческая воля, — хотя сами люди и не предполагали увидеть подобные результаты (это означает, между прочим, что появление новых фактов не обязательно заставляет нас пересмотреть свой интеллектуальный багаж). Трудно же англичанам потому, что в этом процессе перестройки они, к счастью для себя, отстают от большинства европейских народов. Мы все еще полагаем, что идеалы, направляющие нашу жизнь, как и жизнь предыдущего поколения, осуществляются лишь в будущем, и не отдаем себе отчета, до какой степени они уже преобразили за прошедшие двадцать пять лет не только мир в целом, но и саму Англию. Мы все еще уверены, что до самого последнего времени нашей жизнью управляло нечто, туманно называемое идеями девятнадцатого века, или принципом *laissez-faire*.¹ Если сравнивать Англию с некоторыми другими странами или исходить из точки зрения тех, кому не терпится ускорить происходящие сдвиги, то такая уверенность до некоторой степени оправдана. И все же, хотя вплоть до 1931 г. Англия чрезвычайно медленно продвигалась по пути, другими уже давно пройденному, даже к тому моменту мы зашли уже так далеко, что только люди, родившиеся в прошлом столетии, еще помнят, как выглядел мир, построенный на принципах либерализма.²

Однако главное — и это пока понимают очень немногие — это не масштабы перемен, происшедших при жизни предыдущего поколения, а то, что перемены эти знаменуют собой радикальную смену направления, в котором шло развитие наших идейных принципов и общественного устройства. В течение двадцати пяти лет, предшествовавших превращению тоталитаризма из призрака в реальную угрозу, мы в своем продвижении вперед все более и более удалялись от

основополагающих принципов, на которых была построена европейская цивилизация. Этот путь, на который мы вступили с самыми радужными надеждами и высокими устремлениями, подвел нас вплотную к ужасам тоталитаризма, что явилось сокрушительным ударом для нашего поколения, все еще отказывающегося связать два эти факта между собой. А ведь такой результат лишь подтверждает правоту создателей философии либерализма, последователями которой мы все еще себя считаем. Мы постепенно отказались от той свободы в делах экономических, без которой никогда в прошлом не было свободы личной и политической. И хотя двое величайших политических мыслителей девятнадцатого века, де Токвиль и лорд Актон, предостерегали нас, что социализм означает рабство, мы продолжали неуклонно двигаться к социализму. А теперь, когда у нас на глазах выросла новая форма рабства, мы настолько прочно забыли эти предостережения, что нам и в голову не приходит, что эти две вещи могут быть связаны между собой.³

Насколько резкий разрыв не только с недавним прошлым, но и со всем ходом западной цивилизации знаменуют собой современные социалистические тенденции, становится ясно, если рассматривать их в пределах не одного только девятнадцатого века, но в более широкой исторической перспективе. Мы стремительно удаляемся не только от взглядов Кобдена и Брайта, Адама Смита и Юма, или даже Локка и Мильтона, но от одной из характернейших особенностей западной цивилизации, выросшей из основ, заложенных христианством и античностью.

Все более и более отбрасывается не только либерализм восемнадцатого века, но и индивидуализм, унаследованный нами от Эразма и Монтеня, от Цицерона и Тацита, от Перикла и Фукидида.

Германский фюрер, заявивший, что национал-социалистская революция есть не что иное как „контрренессанс“, был более глубоко прав, чем ему самому, должно быть, казалось. Это был решительный шаг на пути разрушения цивилизации, которую современный человек создавал, начиная с эпохи Возрождения, и которая была в первую очередь цивилиза-

цией, основанной на принципах индивидуализма. Сегодня индивидуализм — слово, пользующееся дурной славой, ассоциирующееся с эгоизмом и самовлюбленностью. Однако индивидуализм, который мы противопоставляем социализму и всем прочим формам коллективизма, вовсе не всегда связан с упомянутыми качествами. На страницах нашей книги мы лишь постепенно сумеем прояснить контраст между этими двумя противоположными принципами. Сейчас отметим лишь, что основными чертами того индивидуализма, о котором мы говорим, являлись уважение к личности *как таковой*, то есть признание абсолютного приоритета взглядов и пристрастий каждого человека в его собственной сфере деятельности, сколь бы узкой она ни была, а также убеждение в желательности развития индивидуальных дарований и наклонностей. Этот индивидуализм, выросший из элементов христианства и античной философии, впервые полностью сложился в эпоху Возрождения, и с тех пор разросся в то, что мы называем западноевропейской цивилизацией. Слово „свобода” настолько истрепалось от чрезмерного употребления и злоупотребления, что не хочется обозначать им идеалы, господствовавшие на протяжении этой эпохи. Терпимость — вот, быть может, единственное слово, все еще полностью сохранившее смысл принципа, который приобретал все большую и большую важность в течение всего этого исторического периода, чтобы лишь в самое последнее время прийти в упадок, а затем, по мере становления тоталитарного государства, окончательно исчезнуть.

Когда прежняя жесткая иерархическая структура постепенно уступала место системе, при которой люди могли хотя бы пытаться сами организовать свою собственную жизнь, при которой перед человеком открылась возможность познакомиться с разными формами жизни и выбирать между ними, — этот процесс был тесно связан с ростом торговли. Из торговых городов северной Италии новое миропонимание распространилось вместе с расширением торговых связей на запад и на север, через Францию и юго-западную Германию — в Нидерланды и на Британские острова, твердо укореняясь везде, где не было политической деспотии, способной его

задушить. В Нидерландах и Британии оно достигло высочайшего расцвета и впервые получило возможность свободно развиваться и лечь в основу общественно-политической жизни этих стран. Оттуда оно в конце семнадцатого — начале восемнадцатого века снова начало распространяться, в более развитой форме, на запад и на восток, в Новый Свет и в центр европейского континента, где опустошительные войны и политический гнет практически задавил когда-то ростки тех же самых идей.⁴

На протяжении всего этого периода европейской истории общественное развитие шло в направлении освобождения индивидуума от уз, заставлявших его придерживаться в повседневной деятельности форм, предписанных обычаем, традицией или законом. Осознание того, что стихийные, никем не направляемые усилия отдельных людей могут в конечном счете привести к возникновению сложной, разветвленной структуры экономической деятельности, пришло только после того, как этот процесс продвинулся достаточно далеко. Последовавшая разработка стройной системы аргументов в пользу экономической свободы явилась результатом свободного развития экономической деятельности как непреднамеренного и непредусмотренного побочного продукта свободы политической.

Быть может, величайшим результатом высвобождения индивидуальной энергии был поразительный рост науки, которым сопровождалось триумфальное шествие индивидуальной свободы из Италии в Англию и далее, за ее пределы. Разумеется, в предшествовавшие периоды человеческая изобретательность была не меньшей, о чем свидетельствует как множество искуснейших автоматических игрушек и других механических приспособлений, созданных в эпоху, когда производственная технология все еще пребывала в неизменном виде, так и высокий уровень развития тех отраслей промышленности, которые не подвергались контролю и ограничениям (например, горного или часового дела). Однако редкие попытки расширить промышленное применение технических нововведений, зачастую необычайно перспективных, подавлялись (как и стремление к знанию

вообще), пока господствующие взгляды были обязательны для всех. Так убеждения подавляющего большинства относительно того, что хорошо и что плохо, преграждали путь индивидуальному новатору. Лишь после того, как свобода промышленности расчистила путь свободному применению новых, передовых знаний, после того, как стало возможно пробовать все что угодно — при условии, что кто-нибудь согласится финансировать затею на свой страх и риск (и, следует добавить, обычно этот „кто-нибудь” отнюдь не принадлежал к тем, чьей официальной обязанностью было поощрять науку) — лишь после этого наука сделала гигантские шаги, изменившие за последние сто пятьдесят лет облик мира.

Как столь часто бывает, характер нашей цивилизации был яснее понят ее врагами, чем большинством друзей: силой, создавшей нашу цивилизацию, действительно была описанная тоталитаристом девятнадцатого века Огюстом Контом „извечная болезнь Запада: бунт индивидуума против вида”. Все, что добавил к индивидуализму предшествующей эпохи девятнадцатый век — это следующее: идея свободы прочно вошла в сознание всех классов общества; ростки нового, прежде появившиеся лишь там, где случайно складывались благоприятные обстоятельства, теперь развивались систематически и непрерывно; этот процесс, распространившийся из Англии и Нидерландов, охватил большую часть европейского континента.

Результаты этого развития превзошли все ожидания. Всюду, где барьеры, сдерживавшие свободное применение человеческой изобретательности, были устранены, человек быстро получил возможность удовлетворения все расширяющегося круга своих желаний. Конечно, повышение жизненного уровня привело к тому, что в обществе обнаружались темные пятна, с которыми люди больше не желали мириться; но в целом не было, вероятно, ни одного класса, для которого всеобщее движение вперед не было бы благотворным. Неверно оценивать масштабы тогдашнего роста исходя из нынешних стандартов, которые сами являются результатом этого роста и делают очевидными множество

недостатков. Чтобы понять, что означал этот рост для тех, на чьих глазах он происходил, мы должны сравнить его с теми надеждами и чаяниями, которые связывали с ним люди в то время. Тогда нам станет ясно, что успех превзошел самые необузданные человеческие мечты, и что к началу двадцатого века западный рабочий достиг такого уровня материального комфорта, уверенности в завтрашнем дне и личной независимости, какой сто лет назад казался недостижимым.

В будущем может оказаться, что самым важным и имеющим далеко идущие последствия результатом этого успеха, вселившего в людей новые надежды, было столь же новое ощущение власти над собственной судьбой, вера в неограниченное улучшение условий своей жизни. Вместе с успехом пришли и более дерзновенные устремления — и человек имел на них полное право. То, что прежде было лишь заманчивыми перспективами, казалось уже недостаточным: люди хотели двигаться вперед еще быстрее. И тогда сами принципы, позволившие в прошлом добиться столь несомненного прогресса, постепенно стали рассматриваться скорее как подлежащие незамедлительному устранению препятствия на пути еще более быстрого прогресса, чем как залог сохранения и развития уже достигнутого.

* * *

В основных принципах либерализма нет ничего застывшего, никаких жестких, раз навсегда установленных правил. Главный его тезис, сводящийся к тому, что при устройстве своих дел мы должны как можно больше использовать стихийные силы общества и как можно меньше прибегать к принуждению, применим к бесконечному многообразию случаев. В частности, существует громадная разница между сознательным созданием системы, позволяющей извлечь из принципа свободной конкуренции максимальную пользу, и пассивным приятием общественных институтов такими, какие они есть. По всей вероятности, ничто не причинило делу либерализма большего вреда, чем те либералы, которые с тупым упорством отстаивали соблюдение некоторых

примитивных эмпирических правил, и в первую очередь — принципа *laissez-faire*. Однако в каком-то смысле это было необходимо и неизбежно. Действительно, существовало бесчисленное количество конкурирующих групп и отдельных предпринимателей, наиболее „пробивные” среди которых всегда могли убедительно продемонстрировать немедленную и несомненную пользу тех или иных конкретных мер. При этом вред, приносимый теми же мерами, был зачастую отнюдь не очевиден и мог проявляться лишь косвенным образом, так что перед лицом подобного нажима могли быть эффективными только раз и навсегда установленные, не знающие исключений правила. А поскольку польза свободы промышленности уже практически не подвергалась сомнению, то искушение провозгласить ее таким „железным правилом” зачастую становилось непреодолимым.

Именно так многие глашатаи либеральной доктрины ее и представляли — как жесткую, не знающую исключений систему. Уязвимость подобной позиции очевидна: стоит привести несколько контрпримеров, нарушающих целостность системы, как она немедленно рушится вся целиком. Еще более эта позиция ослаблялась неизбежно медленным прогрессом политических мер, направленных на постепенное усовершенствование структуры институтов свободного общества. Этот прогресс, в свою очередь, зависел от развития наших знаний: нужно было лучше уяснить природу движущих обществом сил и понять, какие условия наиболее благоприятны для того, чтобы направлять эти силы в нужную сторону. Задача состояла в том, чтобы способствовать этим силам, а где надо — и подталкивать их, а для этого требовалось в первую очередь их понять. Отношение либерала к обществу можно сравнить с отношением садовника к растению, за которым он ухаживает: чтобы создать условия, благоприятствующие его росту, он должен как можно больше знать о том, как оно устроено и как функционирует.

Ни один разумный человек не мог сомневаться в том, что примитивные и грубые правила, в которых выражались принципы экономической политики девятнадцатого века, — только начало, что нам еще многое надо узнать и что путь, по

которому мы движемся, открывает впереди громадные возможности. Это продвижение, однако, могло осуществляться лишь по мере того, как мы все более полно постигали сущность тех сил, которые нам предстояло использовать. Имелось множество лежащих на виду задач, таких как регулирование денежной системы, предотвращение появления или контроль монополий, и много других, менее очевидных, но столь же важных задач в других областях, где правительство, без всякого сомнения, обладало громадной властью, которую можно было направить и в добро, и во зло. Были все основания предполагать, что, научившись лучше понимать характер всех этих проблем, мы рано или поздно сумеем эту власть успешно применить.

Но поскольку продвижение к тому, что в ту пору принято было называть „позитивными” мерами, было по необходимости медленным, а при осуществлении тех мероприятий, которые могли бы немедленно дать наглядный эффект, либерализм был обязан опираться в основном на принесенное свободой постепенное увеличение материальных благ, то ему приходилось постоянно бороться против предложений, угрожавших самому этому продвижению. Со временем либерализм стал представляться учением, неспособным предложить какие-либо конструктивные меры — чем-то вроде свода правил, запрещающих или предписывающих воздержание от определенного рода действий. Действительно, все, что он мог предложить отдельному человеку, была доля в общем прогрессе — но сам этот прогресс стал в конце концов восприниматься как нечто само собой разумеющееся, а не как результат политики свободы. Можно даже сказать, что причины упадка либерализма коренятся именно в его успехах. Глядя на уже достигнутое, человек все менее охотно мирился с еще существующим злом и лишениями, которые, перестав казаться неизбежными, стали во всех отношениях невыносимыми.

* * *

Растущее недовольство медлительностью и отсутствием осязаемых результатов либеральной политики, справедливое возмущение поведением тех, кто использовал либеральную фразеологию для защиты антиобщественных привилегий, а также безграничные притязания, кажущиеся вполне оправданными на фоне общего повышения материального уровня, привели к тому, что к концу века все больше людей начало терять веру в основные принципы либерализма. Достигнутое стало казаться неотъемлемой и неуничтожимой собственностью, приобретенной в вечное владение. Взоры людей устремились к новым запросам, быстрому удовлетворению которых мешала, как они думали, приверженность старым принципам. Все шире распространялось убеждение, что дальнейший прогресс невозможен, если оставаться в рамках системы, сделавшей возможным прогресс в прошлом — следовательно, требовалось полностью переделать общество. Речь уже больше не шла о том, чтобы внести какие-то усовершенствования в существующий механизм — его нужно было выбросить на свалку истории и заменить новым. И вот, по мере того, как новое поколение все в большей степени возлагало свои надежды на этот новый, дотоле неизвестный механизм, быстро падал интерес к принципам функционирования существующего общества и само понимание этих принципов — а вслед за этим, разумеется, и осознание того, что необходимо для существования свободного общества.

Здесь не место обсуждать, в какой степени подобной перемене во взглядах способствовал некритический перенос в область общественных проблем того стереотипа мышления, который сформировался в ходе решения проблем технических и был характерен для естествоиспытателя или инженера. Не будем мы говорить и о том, как приверженцы этого стереотипа стремились дискредитировать результаты предшествующего изучения общества, которые не соответствовали их предвзятым представлениям, и одновременно перенести свои понятия об идеальной организации в область, совершенно для этого неподходящую.⁵ Для нас важно, что путем постепенных, почти неуловимых сдвигов наше отношение к обществу полностью изменилось. То, что на каждой

стадии этого процесса казалось лишь разницей в степени, накапливаясь, породило фундаментальное отличие нынешнего подхода к социальным вопросам от прежней либеральной позиции. Отличие это сводится к полному отказу от обрисованной нами выше тенденции, отказу от традиций индивидуализма, создавших западную цивилизацию.

Согласно господствующим теперь взглядам, вопрос уже не в том, как наилучшим образом использовать стихийные силы, таящиеся в недрах свободного общества. Фактически мы решили вообще обойтись без сил, приводящих к непредусмотренным результатам, и заменить безличный механизм рыночной экономики коллективным и „сознательным” руководством, направляющим все социальные силы к сознательно избранным целям. Лучшей иллюстрацией этого различия является крайняя позиция автора одной нашумевшей книги; на изложенной в ней программе „планирования во имя свободы” нам придется еще не раз остановиться.

„Нам никогда не приходилось, — пишет д-р Карл Маннгейм, — формировать и направлять всю систему природных сил, как мы вынуждены это делать сегодня с обществом. (...) Человечество все более и более стремится регулировать всю свою общественную жизнь, хотя оно никогда и не пыталось создать вторую природу”.⁶

* * *

Показательно, что эти идеологические изменения совпали с переменой путей распространения идей. Более двухсот лет английские идеи распространялись на восток. Казалось, свободе, достигнутой в Англии, суждено захватить весь мир. Примерно к 1870 году царство этих идей достигло, по видимому, крайних восточных пределов. После этого они начали отступать, а с Востока началось наступление другого круга идей, в действительности не новых, а очень старых. Англия утратила позиции интеллектуального лидера в социально-политической сфере и стала импортером идей. На протяжении следующих шестидесяти лет центр распространения идей, которым суждено было в 20-м веке охватить весь

мир, находился в Германии. И будь то учение Гегеля или Маркса, Листа или Шмоллера, Зомбарта или Маннгейма, будь то социалистическая доктрина в ее радикальной форме или менее радикальные концепции „организации” и „планирования” — немецкие идеи с готовностью заимствовались всеми; немецким общественным институтам стали подражать. Правда, большинство новых идей — в частности, социализм — возникло не в Германии, но именно в Германии они были усовершенствованы и достигли в последней четверти девятнадцатого и первой четверти двадцатого века наиболее полного развития. Сейчас часто забывают о том, насколько далеко впереди была Германия в тот период по уровню развития теории и практики социализма, о том, что за поколение до того, как социализм стал серьезным вопросом в Англии, в немецком парламенте имелась крупная социалистическая фракция и что до недавних пор развитие теории социализма шло почти целиком в Германии и Австрии, так что даже сегодня дискуссии, ведущиеся в России, в основном продолжают то, на чем остановились немцы. Большинство английских социалистов до сих пор не подозревает, что их немецкие коллеги уже давным-давно обсудили почти все те проблемы, которые в Англии только теперь начинают осознаваться.

Интеллектуальное влияние, оказываемое в тот период немцами на весь мир, поддерживалось не только громадными материальными успехами Германии, но в еще большей степени — необыкновенно высокой репутацией немецких мыслителей и ученых, заработанной ими в предыдущее столетие, когда Германия вновь стала полноправным и даже ведущим членом общеевропейской цивилизации. Однако репутация эта вскоре стала способствовать распространению из Германии идей, направленных против основ этой самой цивилизации. Сами немцы — или во всяком случае те из них, кто занимался распространением такого рода идей — этот конфликт прекрасно сознавали; общие традиции европейской цивилизации задолго до нацизма превратились для них в „западную” цивилизацию, где слово „западная” означало теперь — „к западу от Рейна”. В этом новом понимании

„западными” были либерализм и демократия, капитализм и индивидуализм, свобода торговли и любая форма интернационализма или миролюбивой политики.

Но несмотря на плохо скрытое презрение все возрастающего числа немцев к этим „пустым и ничтожным” идеалам, достойным лишь „нации лавочников”, а может быть, как раз из-за него, народы Запада продолжали импортировать немецкие идеи и даже поверили, что их собственные прежние убеждения представляли собой всего лишь попытку дать рациональное оправдание эгоистическим интересам, что свобода торговли была изобретена для укрепления британских интересов и что политические идеалы, подаренные Англией миру, безнадежно устарели и их надо стыдиться.

Глава 2

ВЕЛИКАЯ УТОПИЯ

Всякий раз государство превращается
в подлинный ад именно потому, что человек
пытается сделать его земным раем.

Ф. Гельдерлин

Когда социализм вытеснил либерализм и занял его место в качестве „владельца дум” большинства сторонников прогресса, это означало нечто большее, чем просто забвение тех предостережений, которые великие либеральные мыслители прошлого высказывали по поводу последствий коллективизма: людей удалось убедить в том, что последствия эти будут прямо противоположными предсказанным. Поразительно, что тот самый социализм, в котором многие с самого начала распознали серьезнейшую угрозу свободе, который и возник-то как реакция на либерализм Французской Революции, завоевал всеобщее признание под знаменем свободы. Сейчас редко вспоминают о том, что в самых своих истоках социализм носил откровенно авторитарный характер. Французские философы и политические деятели, заложившие основы современного социализма, нимало не сомневались в том, что провести их идеи в жизнь может только сильная диктатура. Для них социализм означал по-

пытку „довести революцию до конца” путем сознательной перестройки общества на иерархической основе и насильственное установление „духовной власти”, основанной на методах принуждения. Что же до свободы, то тут намерения основателей социализма были совершенно недвусмысленны. Свободу мысли они считали коренным общественным злом девятнадцатого века, и предтеча нынешних сторонников планирования Сен-Симон даже предсказывал, что с теми, кто не подчинится распоряжениям придуманных им планирующих органов (советов), будут „обходиться как со скотом”.

Лишь под влиянием мощных демократических течений кануна революции 1848 г. социализм начал объединяться со свободолобивыми силами. Однако новому, „демократическому” социализму понадобилось долго рассеивать подозрения, вызванные его прошлым. Человеком, яснее всех понимавшим, что демократия как институт по сути своей индивидуалистический, находится в непримиримом противоречии с социализмом, был де Токвиль:

„Демократия расширяет сферу индивидуальной свободы, — говорил он в 1848 г., — социализм же ее ограничивает. Демократия признает высочайшую ценность каждого отдельного человека; социализм превращает каждого человека в простое орудие, в цифру. Демократия и социализм не имеют между собой ничего общего, кроме одного слова: равенство. Однако заметьте и тут отличие: демократия стремится к равенству в свободе, тогда как социализм — к равенству в принуждении и рабстве”.¹

Чтобы усыпить эти подозрения и привлечь на свою сторону сильнейший из политических мотивов — жажду свободы, — социалисты начали все чаще прибегать к обещанию „новой свободы”. Пришествие социализма должно было стать „скачком из царства необходимости в царство свободы”. Оно должно было принести „экономическую свободу”, без которой уже завоеванная политическая свобода „ничего не стоит”. Только социализм способен довести до конца вековую борьбу за свободу, борьбу, в которой достижение свободы политической — лишь первая ступень.

Почти неуловимое изменение смысла, которому под-

верглось слово „свобода” для придания правдоподобия этому рассуждению, крайне важно. Для великих апостолов политической свободы слово это означало свободу от принуждения, от человеческого произвола, избавление от пут, не оставлявших человеку иного выбора, как подчиниться приказаниям власть имущих. Обещанная же новая свобода была свободой от необходимости, избавлением от пут внешних обстоятельств, которые неизбежно ограничивают возможности выбора для всех нас — пусть для одних в гораздо большей степени, чем для других. Чтобы человек мог стать подлинно свободным, требовалось разрушить „деспотизм физической необходимости”, ослабить „путы, налагаемые экономической системой”.

Свобода в этом понимании есть, разумеется, лишь другое название власти² или богатства. И все же, несмотря на то, что обещания новой свободы часто переплетались с безответственными посулами громадного роста материального изобилия в социалистическом обществе, не от этой полной победы над скаредной природой ожидалась экономическая свобода. На деле было обещано ни больше ни меньше как исчезновение существующего резкого неравенства между людьми в имеющихся у них возможностях выбора. Тем самым требование новой свободы оказывалось, под другим именем, все тем же извечным требованием равного распределения материальных благ. Однако это новое имя дало социалистам еще один общий с либералами термин, который они использовали в полной мере. Правда, словом „свобода” обе группы пользовались в разном смысле, но немногие это заметили, и уж почти никто не задался вопросом, действительно ли можно сочетать оба эти обещанные вида свободы.

Не подлежит сомнению, что обещание большей свободы стало эффективнейшим оружием социалистической пропаганды и что вера в свободу, которую принесет с собой социализм, искренна и неподдельна. Но это только усугубляет трагедию, которая произойдет, если окажется, что обещанный нам *путь к свободе* есть в действительности *столбовая дорога к рабству*. Именно обещание большей свободы соблазнило множество либералов вступить на

социалистический путь, заслоняя от них непримиримое противоречие между основными принципами социализма и либерализма и зачастую позволяя социалистам узурпировать даже само имя старой партии свободы. Большинство неофитов из числа интеллигенции приняло социализм в качестве, как они думали, бесспорного наследника либеральных традиций: неудивительно поэтому, что им кажется невероятной сама мысль о том, что социализм ведет не к свободе, а к ее противоположности.

* * *

В последнее время, однако, старые опасения относительно непредвиденных последствий социализма снова стали высказываться во всеуслышание, причем с самых неожиданных сторон. Один за другим наблюдатели, ожидавшие встретиться с совершенно противоположными явлениями, при ближайшем рассмотрении поражались необыкновенному сходству условий при „фашизме” и при „коммунизме”. Пока „прогрессисты” Англии и прочих стран продолжали обманывать себя, утверждая, что коммунизм и фашизм полярны, все больше людей начало спрашивать себя, не ведут ли эти новые виды тирании свое начало от одних и тех же тенденций. Даже коммунистов, должно быть, несколько ошеломило свидетельство старого друга Ленина, Макса Истмэна, который вынужден был признать, что „сталинизм не только не лучше, но хуже фашизма, более безжалостен, жесток, несправедлив, аморален, антидемократичен, не может быть оправдан никакими радужными надеждами или запоздалым раскаянием” и что „было бы точнее охарактеризовать его как сверх-фашизм”. Выводы автора приобретают более всеобъемлющее значение, когда он приходит к заключению, что „сталинизм — это и есть социализм, в том смысле, что он является неизбежным, хотя и непредусмотренным, политическим следствием национализации промышленности и коллективизации сельского хозяйства, на которые он опирается как на составную часть своего плана построения бесклассового общества”.³

Среди тех, кто с явным одобрением следил за первыми шагами „русского эксперимента“, г-н Истмэн — не первый и не единственный, пришедший к подобным выводам (хотя его пример, быть может, наиболее показателен). Несколько годами ранее У. Чемберлин, который в течение двенадцати лет, проведенных им в России в качестве иностранного корреспондента, стал свидетелем крушения всех своих идеалов, подытожил результаты наблюдений, собранных в России, Германии и Италии, следующим утверждением: „Вне всякого сомнения, социализм окажется (по крайней мере, на первых порах) путем не к свободе, но к диктатуре, где одни диктаторы будут сменяться другими в беспощадной борьбе за власть, путем к ожесточеннейшей гражданской войне. Социализм, достигаемый и поддерживаемый демократическими средствами, теперь представляется бесповоротно отошедшим в мир утопий”.⁴ Английский публицист Ф. Войт, также посвятивший многие годы карьере иностранного корреспондента и имевший возможность вблизи наблюдать развитие событий в Европе, заключает, что „марксизм привел к фашизму и национал-социализму потому, что в основе своей он и есть фашизм и национал-социализм”.⁵ А такой обозреватель, как д-р Уолтер Липпманн, пришел к следующему убеждению:

„... поколение, к которому мы принадлежим, сейчас на собственном опыте узнает, что происходит, когда люди отступают от принципа свободы и переходят к принудительной организации своей деятельности. Хотя они рассчитывают на большее изобилие, но на практике оказываются вынужденными от него отказаться; по мере усиления организованного руководства разнообразие целей неизбежно уступает место единообразию. Такова расплата за предпочтение планового общества и авторитарного принципа организации человеческой деятельности”.⁶

В публикациях последних лет можно было бы найти множество подобных утверждений, принадлежащих людям, которые в состоянии не только высказать, но и обосновать свою точку зрения. В особенности это относится к тем, кто

жил в ставших ныне тоталитарными странах, своими глазами наблюдал этот процесс духовного перерождения, и кого увиденное и пережитое заставило пересмотреть многие заветнейшие убеждения. В качестве еще одного примера мы приведем слова одного немецкого автора, который высказывает те же взгляды, что и ранее процитированные авторы, но, быть может, глубже проникает в суть дела.

„Полный крах веры в достижимость свободы и равенства при помощи воплощения в жизнь марксистской доктрины, — пишет Петер Друккер, — вынудил Россию идти по тому же самому пути к тоталитарному, чисто запретительному, внеэкономическому обществу не-свободы и неравенства, по которому шла Германия. Нельзя сказать, что коммунизм и фашизм — это практически одно и то же. Фашизм — это стадия, достигаемая после того, как коммунизм оказался иллюзией, а он оказался в не меньшей степени иллюзией в сталинской России, чем в догитлеровской Германии”.⁷

Не менее показательна история идейного перерождения многих нацистских и фашистских лидеров. Любого, кто наблюдал за ростом обоих этих движений в Италии⁸ или в Германии, поражало количество лидеров, начиная с Муссолини и вплоть до самого последнего времени (не исключая Лавалья и Квислинга), начавших с социализма, а кончивших фашизмом или нацизмом. Подобная биография еще более характерна для рядовых участников движения. В Германии все, и прежде всего — пропагандисты обеих партий, знали, насколько легко обратить молодого коммуниста в нациста и наоборот. Немало английских университетских преподавателей видели английских и американских студентов, которые, возвращаясь с европейского континента, не знали точно, к кому себя причислять — к коммунистам или к нацистам, но были твердо уверены в одном: в своей ненависти к либеральной западной цивилизации.

Разумеется, в Германии до 1933 г., а в Италии — до 1922 г., коммунистическая и нацистская (или, соответственно, фашистская) партии чаще вступали в столкновение между собой, чем с прочими партиями. Они боролись за поддержку

людей определенного типа мышления и ненавидели друг друга, как можно ненавидеть только отступников и еретиков. Однако практика обеих партий показывает, как тесно они связаны. И для тех и для других подлинным врагом, с которым у них нет ничего общего и которого они не пытаются переубедить, являются либералы старого типа. Для нациста коммунист, для коммуниста нацист, и для обоих социалист, — это потенциальный новый член, обладающий нужными качествами, но попавший в сети к ложным пророкам; зато оба они знают, что не может быть компромисса между ними и теми, кто действительно верит в свободу личности.

Во избежание сомнений со стороны людей, введенных в заблуждение официальной пропагандой той или иной партии, позволю себе процитировать еще одну декларацию, принадлежащую человеку, чей авторитет в данной области не подлежит сомнению. В статье под весьма показательным заглавием „Повторное открытие либерализма” профессор Эдуард Хайманн, один из лидеров немецкого религиозного социализма, пишет:

„Гитлеризм провозглашает себя одновременно подлинной демократией и подлинным социализмом, и страшно то, что в этих притязаниях есть крупница истины — разумеется, бесконечно малая, но, как бы то ни было, дающая основания для таких фантастических передержек. Гитлеризм идет даже дальше: он притязает на роль защитника христианства, и страшно то, что даже это грубое искажение фактов может произвести впечатление. Но одно во всем этом тумане остается совершенно ясным: Гитлер ни разу не провозглашал себя представителем подлинного либерализма. Таким образом, на долю либерализма выпала честь быть доктриной, наиболее ненавистной Гитлеру”.⁹

Следует добавить, что ненависть эта нечасто проявлялась на практике просто потому, что к моменту прихода Гитлера к власти либерализм в Германии был практически уже мертв, — и убил его социализм.

* * *

В то время как большинству непосредственных свидетелей перехода от социализма к фашизму связь между ними становится все яснее, в Англии большинство по-прежнему считает, что социализм может сочетаться со свободой. Несомненно, социалисты в большинстве своем по-прежнему глубоко верят в либеральные идеалы свободы; и если бы они убедились, что осуществление их программы означает гибель свободы, то в ужасе бы от нее отшатнулись. Увы, пока что лишь немногие оказались в состоянии ясно увидеть суть проблемы. Самые антагонистические идеи все еще так легко уживаются в умах, что нам до сих пор приходится слышать, как всерьез обсуждаются концепции, представляющие собой явное противоречие в терминах — например, „индивидуалистический социализм”. Если именно это состояние умов и порождает постепенное сползание в мир, где будет господствовать „новый порядок”, то необходимо срочно и тщательно проанализировать подлинный смысл эволюции, жертвами которой уже оказались другие. Пусть наши выводы лишь подтвердят опасения, уже высказанные другими — все равно причины, обуславливающие закономерность подобного пути развития, невозможно выявить без всестороннего анализа главных аспектов этой полной перестройки общественной жизни. Многие не поверят в то, что демократический социализм — эта великая утопия предшествующих поколений — недостижим, и что, более того, старания приблизить его порождают совершенно непредвиденные последствия, неприемлемые для большинства его сторонников; не поверят до тех пор, пока связь между фактами не будет вскрыта во всех аспектах.

Глава 3

ИНДИВИДУАЛИЗМ И КОЛЛЕКТИВИЗМ

Социалисты верят в две совершенно разные, а может быть, и несовместимые вещи: в свободу и организацию.

Эли Галеви

Прежде чем приступить к нашей главной теме, мы должны будем прояснить недоразумение, в значительной степени повинное в сползании нашего общества к тому, чего никто не хочет.

Это недоразумение касается самого понятия социализма. Слово „социализм” может означать (и зачастую именно в таком значении и используется) исключительно идеалы социальной справедливости, большего равенства и уверенности в завтрашнем дне, то есть конечные цели социализма. Но оно означает, кроме того, и конкретные методы, с помощью которых большинство социалистов надеется этих целей достичь, причем многие компетентные люди считают эти методы единственным путем к полному и быстрому достижению перечисленных целей. В таком понимании социализм — это упразднение частного предпринимательства, отмена частной собственности на средства производства и создание системы „плановой экономики”, где место предпринимате-

ля, работающего во имя прибыли, займут централизованные планирующие органы.

Для многих людей, называющих себя социалистами, социализм существует лишь в первом значении: они горячо верят в конечные цели социализма, но не задумываются и не желают задумываться, как именно их можно достичь. Они знают — это должно быть сделано, чего бы это ни стоило. Однако почти для всех, для кого социализм — не просто мечта, а предмет практической политической деятельности, методы современного социализма не менее важны, чем его цели. С другой стороны, немало и тех, кто предан конечным целям социализма не меньше самих социалистов, но отказывается его поддерживать, ибо видит в предлагаемых социалистами методах угрозу ценностям иного порядка. Таким образом, спор становится скорее спором о средствах, нежели о целях (хотя вопрос о том, могут ли быть одновременно достигнуты различные цели социализма, тоже еще далеко не ясен).

Уже одного этого было бы достаточно, чтобы привести к путанице, но она еще более усилилась из-за распространенной привычки считать, что человек, отвергающий средства, не дорожит и целью. Мало того, положение осложняется и потому, что главное орудие социалистических реформ — „экономическое планирование” — может применяться и для множества других целей. Если мы хотим, чтобы распределение доходов соответствовало существующим ныне представлениям о социальной справедливости, мы оказываемся вынужденными прибегнуть к централизованному руководству экономикой. Поэтому к „планированию” призывают все, кто требует, чтобы производство развивалось не „во имя прибыли”, а „на благо человека”. Но ведь централизованное планирование точно так же необходимо и для совершенно несправедливого, по нашим теперешним представлениям, распределения доходов. Если бы мы сочли желательным предоставлять львиную долю благ мира сего расовой элите, людям нордического типа, членам какой-либо партии или касте аристократов, то используемые нами для этого методы все равно были бы теми же, что и методы,

обеспечивающие уравнивающее распределение доходов.

Может показаться недобросовестным использование термина „социализм” для описания его методов, а не целей — когда словом, символизирующим для множества людей высший идеал, мы называем некоторый частный метод. Быть может, было бы предпочтительнее дать этим методам (которые могут использоваться для самых различных целей) название „коллективизма” и рассматривать социализм как одну из его многочисленных разновидностей. И хотя для большинства социалистов лишь *одна* из разновидностей коллективизма будет соответствовать „истинному” социализму, при этом она все-таки будет оставаться только одним из *частных случаев* более общего понятия. Следовательно, любое утверждение, справедливое по отношению к коллективизму, будет справедливо и по отношению к социализму.

Почти все расхождения между социалистами и либералами касаются именно методов, характерных для всех форм коллективизма, а не конкретных целей, для достижения которых их хотят использовать социалисты; все рассматриваемые в данной книге явления есть следствия коллективистских методов и не зависят от целей, ради которых эти методы применяются. Нельзя также забывать, что социализм — не только важнейшая из разновидностей коллективизма или „планирования”, но что именно благодаря социалистическим идеям люди либеральных взглядов вновь стали исповедовать ту самую регламентацию экономики, которую когда-то отвергли и при которой правительство, по словам Адама Смита, „чтобы удержаться, вынуждено прибегать к угнетению и произволу”.¹

* * *

Даже условившись применять термин „коллективизм” для всех видов „плановой экономики”, независимо от целей планирования, мы не покончим с трудностями, вызванными многозначностью этого широкоупотребительного политического термина. Попробуем немного прояснить наше по-

нимание его: мы говорим о том виде планирования, который является необходимым для достижения любого наперед заданного идеала распределения богатства. Но поскольку притягательная сила идеи централизованного экономического планирования в немалой мере объясняется ее расплывчатостью, договоримся прежде всего о точном ее смысле.

Популярность „планирования” вызвана тем, что каждому хочется, чтобы стоящие перед обществом задачи решались наиболее рациональным образом и с максимальным использованием наших возможностей прогнозирования. В этом смысле планированием заняты все, кроме полнейших фаталистов; с планированием связан (или должен быть связан) любой политический акт; разница лишь в том, что существует планирование хорошее и плохое, разумное и глупое, дальновидное и близорукое. И, конечно, последний, кто может возражать против планирования в этом широком смысле слова — экономист, чья основная задача состоит в изучении того, как люди планируют (и как могли бы планировать) свою жизнь. Однако наши энтузиасты планового общества употребляют этот термин в ином смысле. Для них он означает не только то, что мы должны заниматься планированием, если хотим, чтобы распределение доходов или национального богатства соответствовало какому-то определенному эталону. По их мнению, недостаточно разработать наиболее рациональную и стабильную правовую структуру, в рамках которой люди смогут заниматься любым видом деятельности в соответствии со своими личными планами. Для них такой либеральный план — не план вовсе, так как не указывает, кому что причитается. Они требуют *централизованного* руководства *всей* экономической деятельностью в соответствии с *единым* планом, который указывал бы, как общественные ресурсы должны быть „сознательно направлены” вполне *определенным образом* на службу вполне *конкретным*, заранее поставленным целям.

Таким образом, спор между современными сторонниками планирования и их оппонентами заключается вовсе не в том, должны ли мы сознательно выбирать наиболее подходящую среди возможных форм организации общества,

и следует ли при планировании наших общих дел использовать прогнозирование и систематическое мышление. Они спорят о том, как это лучше сделать. Вопрос стоит следующим образом: предпочтительнее ли, чтобы власти, в чьем распоряжении находится аппарат принуждения, ограничились, вообще говоря, созданием условий, способствующих максимальному развитию индивидуальных способностей и инициативы, что позволит отдельным людям *самим* успешно осуществлять планирование; или же рациональное использование наших ресурсов невозможно без *централизованного* управления и организации всех видов деятельности в соответствии с некоторой сознательно разработанной программой? Социалисты всех партий понимают под планированием планирование второго типа, и именно это значение стало теперь общепринятым. Подобное словоупотребление само по себе призвано внушать нам мысль, что этот второй тип планирования есть *единственный* рациональный путь организации наших дел, хотя это, разумеется, остается ничем не доказанным. Таким образом, в данном пункте мнения либералов и сторонников планирования по-прежнему расходятся.

* * *

Неприятие такого рода планирования важно не путать с догматической позицией, занимаемой радикальными сторонниками принципа *laissez-faire*. Либералы выступают вовсе не за то, чтобы предоставить обстоятельствам развиваться самим по себе, но за наилучшее использование конкуренции для координации человеческой деятельности. Они убеждены, что эффективная конкуренция — лучшее средство направлять индивидуальную деятельность. Они не только не отрицают, но, наоборот, подчеркивают, что для того, чтобы конкуренция приносила пользу, необходимы тщательно продуманные юридические рамки и что ни прежние, ни ныне существующие юридические нормы не свободны от серьезных недостатков. Не отрицают они и того, что в случае невозможности создать условия для эффективной конкуренции нужно

прибегать к иным методам управления экономической деятельностью. Единственное, чего не приемлет экономический либерализм — это вытеснения конкуренции методами, уступающими ей в эффективности.

Конкуренция в большинстве случаев — не только наиболее эффективный из известных методов; это к тому же единственный метод взаимной координации наших индивидуальных действий без принуждения или произвольного вмешательства со стороны властей. Один из главных доводов в пользу конкуренции заключается в том, что она позволяет обойтись без „сознательного общественного контроля” и дает человеку возможность самому решить, оправдывает ли потенциальная прибыльность того или иного предприятия связанные с ним неудобства и риск.

Успешное применение конкуренции как принципа социальной организации исключает одни виды принудительного вмешательства в экономическую жизнь, но допускает другие (которые иногда могут активно способствовать действию закона конкуренции), а в отдельных случаях даже прямо требует проведения определенных правительственных мероприятий. Однако есть серьезная причина особо подчеркнуть важность условий, „предписывающих воздержание от действий”, то есть тех пунктов, где прибегать к принуждению абсолютно запрещено. Прежде всего необходимо, чтобы присутствующие на рынке стороны могли свободно продавать и покупать товары по любой цене, на которую найдутся желающие, и чтобы каждый имел право производить, продавать и покупать все, что может производиться и продаваться. При этом крайне важно, чтобы все на равных основаниях обладали свободой беспрепятственного доступа в различные отрасли, и чтобы любые попытки отдельных лиц или групп тайно или явно ограничить эту свободу преследовались законом.

Всякая попытка контролировать цены или количество того или иного товара отнимает у конкуренции способность эффективно координировать индивидуальные усилия, так как колебания цен в этом случае перестают отражать соответствующие изменения конъюнктуры и уже не могут

служить надежным ориентиром для индивидуального производителя. Однако это не всегда верно в отношении чисто ограничительных мер, оговаривающих допустимые методы производства, если только эти ограничения касаются всех потенциальных производителей в одинаковой степени и не применяются для косвенного контроля цен и количества товаров. Разумеется, любой такой контроль методов производства влечет за собой дополнительные затраты, т. е. использование большего количества ресурсов для производства данного объема продукции, но он может оказаться вполне оправданным. Запрещение применять некоторые ядовитые химические вещества или предписание специальных предосторожностей при их применении, ограничение рабочего дня и требование соблюдения определенных санитарных норм — все эти меры абсолютно совместимы с сохранением конкуренции. Вопрос лишь в том, превышают ли в каждом конкретном случае получаемые преимущества связанные с ними общественные затраты. Вполне совместима также конкуренция с широкой сетью социальных услуг (образование, жилищное строительство, здравоохранение и пр.) — если только сама эта сеть не организована таким образом, что делает конкуренцию неэффективной в обширных областях деятельности.

К сожалению (хотя этому нетрудно найти объяснение), в прошлом значительно больше внимания уделялось упомянутым „запретительным” условиям эффективности конкурентной системы (т. е. условиям отсутствия определенных действий или явлений), чем „предписывающим” условиям (т. е. требованиям проведения определенных мероприятий). А ведь функционирование конкурентной системы требует не только соответствующей организации таких институтов как денежная система, рынок, каналы информации (причем в некоторых случаях частное предпринимательство не в состоянии этого обеспечить), но зависит в первую очередь от наличия адекватной правовой структуры, предназначенной как для сохранения конкуренции, так и для обеспечения максимальной пользы при ее функционировании. Закрепленного законом признания принципов

частной собственности и свободы заключения контрактов ни в коем случае недостаточно: многое зависит от точного определения права собственности в применении к различным объектам. Систематическое изучение форм правовых институтов, позволяющих создать эффективно действующую конкурентную систему, находится в плачевном небрежении; более того, можно утверждать, что серьезные недостатки в этой области (особенно в сфере законодательства о коммерческих корпорациях и патентного права) привели не только к снижению эффективности конкуренции, но и к ее полному уничтожению во многих отраслях.

Наконец, вне всякого сомнения, существуют и такие области, где никакие законодательные установления не в состоянии обеспечить выполнение главного условия эффективности системы, основанной на конкуренции и частной собственности, а именно: владелец извлекает выгоду из всех полезных услуг, оказываемых его собственностью, и несет убытки от любого ущерба, причиненного третьим лицам в результате использования этой собственности. Там, например, где пользование определенными услугами невозможно поставить в зависимость от цены или платы за них, конкуренция не сможет обеспечить предоставления подобных услуг. Точно так же становится неэффективной ценовая система и в тех случаях, когда убытки, причиненные окружающим в результате определенных способов использования собственности, невозможно отнести на счет владельца этой собственности. Во всех этих примерах существует расхождение между показателями, учитываемыми в личной калькуляции, с одной стороны, и затрагивающими общественное благосостояние, с другой. Когда это расхождение становится значительным, надо, вероятно, обеспечить предоставление данных услуг каким-то иным методом, отличным от конкуренции. Так, например, снабжение дорог дорожными знаками, а в большинстве случаев и само дорожное строительство, не могут оплачиваться каждым индивидуальным пользователем. Точно так же ущерб, причиняемый вредными последствиями вырубки лесов, некоторыми методами возделывания земли, загрязнением окружающей среды дымовы-

ми выбросами или, наконец, производственным шумом, невозможно возместить с помощью любых расчетов между конкретным владельцем собственности, являющейся причиной вредоносного воздействия, и теми, кто был бы согласен подвергаться ущербу при условии получения компенсации. В подобных случаях мы оказываемся вынужденными найти какую-то замену системе регулирования с помощью ценового механизма. Однако тот факт, что нам приходится прибегать к прямому регулированию сверху, когда создание условий для эффективного функционирования конкуренции оказывается невозможным, вовсе не доказывает, что там, где конкуренция может быть эффективной, ее следует подавлять.

Таким образом, государство располагает широким и неоспоримым полем деятельности в решении таких проблем как создание условий для достижения максимальной эффективности конкуренции, дополнение ее иными методами в случае невозможности создания подобных условий, наконец, обеспечение населения теми услугами, которые, по словам Адама Смита, „хотя и могут быть в высочайшей степени полезными для широких слоев общества, но по природе своей таковы, что прибыль от них никогда не окупит затраты любого отдельного лица или небольшой группы лиц”. Невозможно придумать рациональную модель общественного устройства, где государство просто бездействовало бы. Эффективная конкурентная система не менее любой другой нуждается в разумно организованных и постоянно корректируемых юридических рамках. Даже обеспечение самой важной предпосылки ее правильного функционирования — предотвращение обмана и мошенничества (в том числе злоупотребления неосведомленностью) — все еще остается огромной и отнюдь не решенной до конца задачей, стоящей перед законодательными органами.

* * *

Работа по созданию необходимой структуры, обеспечивающей полезное функционирование конкурентной системы,

продвинулась еще не очень далеко, когда государства повсеместно стали отказываться от нее и заменять принцип конкуренции иным, совершенно с нею не совместимым принципом. Речь уже шла не о усовершенствовании условий, в которых действует конкуренция, и не о дополнении ее, но о полном вытеснении из экономической жизни. Важно четко осознать, что современное движение сторонников планирования есть движение, направленное против конкуренции как таковой; это новое знамя, объединившее всех закоренелых ее врагов. Под прикрытием этого знамени ныне ведутся попытки восстановить привилегии, сметенные эпохой либерализма, и осуществляют эти попытки самые разнообразные заинтересованные группы и слои — но именно социалистическая пропаганда планирования вновь сделала враждебность к конкуренции вполне respectable в глазах либерально настроенных людей и усыпила здоровую подозрительность, всегда возникавшую прежде при любых поползновениях устранить конкуренцию.² В сущности, именно эта враждебность к конкуренции и стремление заменить ее управляемой сверху экономикой и объединяют между собой всех социалистов, независимо от их „левой” или „правой” политической окраски. Термины же „капитализм” и „социализм”, все еще широко применяющиеся для характеристики прошлой и будущей общественных формаций, не проясняют, а скорее затемняют истинную сущность переживаемого нами переходного периода.

Итак, все наблюдаемые нами изменения ведут к всеобъемлющему централизованному управлению экономикой: однако на первых порах всеобщая борьба против конкуренции приводит к появлению ситуации, во многих отношениях даже еще худшей и не устраивающей ни сторонников планирования, ни либералов, а именно — возникновению своего рода синдикалистской, или „корпоративной” формы организации производства, при которой конкуренция практически подавлена, а планирование сосредоточено в руках независимых монополий, представляющих отдельные отрасли промышленности. Таков неизбежный первичный результат всеобщей враждебности к конкуренции при не-

согласии по всем остальным вопросам. Уничтожение конкуренции в одной отрасли промышленности за другой означает, что потребитель оказывается отданым на произвол объединенных монополистских действий капиталистов и рабочих в наиболее хорошо организованных отраслях промышленности. И все же, хотя такая ситуация уже существует в обширных областях экономики, и хотя именно за нее фактически агитируют многие сбитые с толку (и почти все движимые корыстными побуждениями) сторонники планирования, она вряд ли просуществует длительное время (к тому же ее желательность трудно обосновать какими-нибудь рациональными аргументами). Действительно, система независимого планирования, осуществляемого промышленными монополиями, на деле приведет к последствиям, противоположным ожиданиям сторонников планирования. По достижении этой стадии единственной альтернативой возврата к конкуренции окажется государственный контроль монополий, который для усиления своей эффективности вынужден будет становиться все более полным и абсолютным. К этой стадии мы приближаемся все быстрее и быстрее. Когда незадолго до войны в одном еженедельнике отмечались „многочисленные признаки того, что британские лидеры все более и более привыкают описывать будущее развитие страны в терминах контролируемых монополий”³, это была, по-видимому, верная оценка тогдашнего положения вещей. Война сильно ускорила этот процесс, и с течением времени его пороки и связанные с ним опасности будут становиться все очевиднее.

Идея полной централизации руководства экономикой все еще отпугивает большинство людей, причем дело здесь не столько в невероятной трудности подобной задачи, сколько в ужасе, который вызывает сама идея руководства всем из единого центра. И если мы все же на всех парах движемся к такому положению, то лишь потому, что большинство по-прежнему верит в возможность найти некую „золотую середину” между конкурентной системой с ее „раздробленностью” и централизованным руководством. В самом деле, любому здравомыслящему человеку может на первый

взгляд показаться, что лучше и надежнее всего было бы использовать какое-то разумное сочетание обоих методов, позволяющее обойтись без крайней децентрализации, характерной для свободной конкуренции, и без крайней централизации, связанной с наличием единого плана. Однако здесь здравый смысл оказывается ненадежным советчиком. Конкуренция может вынести какую-то примесь планирования, но при перенасыщении им перестает быть эффективным регулятором производства. Точно так же и планирование, применяемое „в малых дозах”, не может дать тех результатов, на которые можно было бы рассчитывать при „радикальной терапии”. И конкуренция, и централизованное руководство становятся плохими и неэффективными методами, если применяются не в полную силу; это разные средства решения одной и той же задачи, и смешение их приведет лишь к тому, что ни одно не окажется успешным и результат будет хуже, чем при последовательном применении чего-то одного. Иначе говоря, планирование и конкуренцию можно совместить, только если первое будет способствовать конкуренции, а не действовать против нее.

Напомним еще раз читателям этой книги (это чрезвычайно важно для правильного ее понимания!), что вся содержащаяся в ней критика обращена исключительно против планирования, направленного против конкуренции — то есть планирования, призванного заменить собой конкуренцию. Это тем более важно, что объем книги не позволяет нам углубляться в рассмотрение другого вида планирования, крайне необходимого для достижения максимальной эффективности и выгоды конкуренции для общества. Но поскольку этот термин в современном употреблении практически означает только первое, нам придется для краткости говорить просто о планировании, хотя это и значит, что мы отдаем на откуп нашим противникам прекрасное слово, заслуживающее лучшей участи.

Глава 4

„НЕИЗБЕЖНОСТЬ” ПЛАНИРОВАНИЯ

Мы первыми заявили, что чем сложнее становится цивилизация, тем более ограничивается свобода личности.

Б. Муссолини

Весьма показательно, что разговорами о желательности планирования довольствуются немногие. Большинство утверждает, что другого пути нет, что замена конкуренции планированием неизбежна по независящим от нас обстоятельствам. Сознательно культивируется миф, согласно которому мы переходим на новый путь не по своей доброй воле, а в результате спонтанного процесса устранения конкуренции за счет изменений в технологии производства, которые нельзя, да и не нужно поворачивать вспять. Обычно положение это никак не доказывается: оно принадлежит к числу тех утверждений, которые заимствуются авторами друг у друга до тех пор, пока путем простого повторения не превратятся в установленный факт. А между тем утверждать это нет никаких оснований. Тенденция к монополизму и планированию — не результат каких-то независящих от нас „объективных фактов”, а продукт развития взглядов, поощрявшихся и пропагандировавшихся в течение полувека

и ставших доминирующими в нашей политике.

Среди доказательств неизбежности планирования чаще всего всплывает следующий аргумент: технологические сдвиги делают существование конкуренции невозможным во все большем количестве областей, а потому единственное, что нам осталось — выбирать между контролем производства со стороны частных монополий и со стороны правительства. Идея эта была заимствована главным образом из марксистской доктрины „концентрации производства”, но теперь, как и многие марксистские идеи, привилась во многих кругах, получивших ее из третьих или четвертых рук без указания источника.

Разумеется, исторического факта — постепенного роста монополий и сужения сферы действия конкуренции в течение последнего пятидесятилетия — оспаривать не приходится, хотя масштабы этого явления сильно преувеличены.¹ Однако важно понять, что именно перед нами: неизбежное следствие технического прогресса или просто результат проводимой во множестве стран политики. Как мы увидим ниже, подлинная история развития этого феномена явно говорит в пользу второй гипотезы. Но прежде всего выясним, действительно ли неизбежен широкий рост монополий при современном уровне технического развития.

Считается, что рост монополий обуславливается технологическим превосходством крупных предприятий над мелкими, что, в свою очередь, является следствием высокой эффективности современных методов массового производства. Эти методы, уверяют нас, создали в большинстве отраслей промышленности условия, при которых крупная фирма может увеличить объем выпускаемой продукции, одновременно снизив себестоимость единицы продукции; поэтому крупные фирмы повсеместно вытесняют мелкие, предлагая товары по более низким ценам, и процесс этот не остановится до тех пор, пока в каждой отрасли промышленности не останется одна или несколько гигантских компаний. Тем самым принимается во внимание лишь одна тенденция, иногда сопутствующая техническому прогрессу, и игнорируются другие, противоположно направленные; да и де-

лающиеся при этом выводы подтверждаются фактами лишь в малой степени. Мы не можем здесь рассмотреть эту проблему во всех тонкостях, поэтому ограничимся лишь самым ярким имеющимся в нашем распоряжении примером. Наиболее исчерпывающее исследование фактов в данной области за последнее время было предпринято специальным Временным национальным комитетом по экономическим вопросам в США и носило общее название „Концентрация экономической мощи”. В итоговом отчете этого Комитета (который, безусловно, не обвинишь в неподобающем либеральном уклоне) говорится, что мнение, согласно которому причиной исчезновения конкуренции является бóльшая эффективность массового производства, „практически не подтверждается фактами, которыми мы на сегодняшний день располагаем”.² А в подготовленной Комитетом подробной монографии по этому вопросу аналогичные выводы подытоживаются следующим образом:

„Более высокая эффективность крупных предприятий не подтверждается фактами; соответствующие преимущества, якобы приводящие к уничтожению конкуренции, во многих областях, как выяснилось, отсутствуют. Не соответствует действительности и то, что крупные экономические структуры, там, где они существуют, неизбежно влекут за собой появление монополии... Оптимальный размер или размеры экономической структуры, соответствующие максимальной эффективности, могут быть достигнуты задолго до того, как значительная часть общего объема предложения данного товара будет находиться под контролем монополистических групп. С тем, что преимущества крупномасштабного производства неминуемо ведут к уничтожению конкуренции, нельзя согласиться. Более того, следует подчеркнуть, что монополизация зачастую представляет собой результат действия иных факторов, чем связанная с более крупным размером производства низкая себестоимость продукции. Монополии образуются при помощи тайных сговоров и поощряются правительственной политикой. Если объявить подобные сговоры недействительными и изменить

политику, то условия для существования конкуренции можно восстановить”³.

Расследование условий, существующих в Англии, привело бы к весьма сходным результатам. Всякий, кто наблюдал, как монополисты систематически стремятся заручиться поддержкой государства с целью усиления контроля рынка, и как часто эти домогательства увенчиваются успехом, вряд ли будет утверждать, что подобный процесс является объективным и неизбежным.

* * *

Сделанный выше вывод подтверждается тем, в какой исторической последовательности возникало в различных странах явление упадка конкуренции и роста монополий. Если бы монополии были результатом технического развития или неизбежным продуктом эволюции „капитализма”, то можно было бы ожидать, что они появятся в первую очередь в странах с наиболее развитой экономикой. На деле же они впервые появились в последней трети девятнадцатого века в США и в Германии — в странах с тогда еще сравнительно молодой промышленностью; причем в Германии, которую постепенно стали считать образцом неизбежной эволюции капитализма, рост картелей и синдикатов, начиная с 1878 г., сознательно и систематически поощрялся государственной политикой. Не только протекционизм,⁴ но и прямое стимулирование и даже принуждение, применялись правительствами для создания и усиления монополий, позволяющих регулировать цены и сбыт. Именно в Германии с помощью государства был проведен первый крупный эксперимент по „научному планированию” и „продуманной организации промышленности”, приведший к созданию гигантских монополий, которые, за пятьдесят лет до того, как то же самое было сделано в Великобритании, преподносились как неизбежный результат экономического роста. Именно под влиянием немецких теоретиков социализма, в частности, Зомбарта, обобщивших опыт своей страны, стала общепринятой идея неизбежности превращения конкурентной

системы в „монополистический капитализм”. Обобщение это как будто подтверждалось опытом США, где политика усиленного протекционизма позволила вступить на сходный в общих чертах путь развития. Однако не Америка, а именно Германия стала постепенно считаться выразительницей всеобщих тенденций, и стало общим местом (цитирую весьма популярное политическое эссе недавнего времени) говорить о ней как о стране, где „все социально-политические силы современной цивилизации достигли наивысшего развития”.⁵

Насколько мало во всем этом неизбежности и много — сознательной политики, становится ясно, если рассмотреть положение в Англии до 1931 года (когда Великобритания впервые прибегла к политике общего протекционизма), и после него. Каких-нибудь двенадцать лет назад британская промышленность в целом, за исключением немногих отраслей, уже находившихся к тому времени под покровительством правительства, была, вероятно, наиболее конкурентоспособной за всю свою историю. Несмотря даже на то, что в 20-е годы страна жестоко пострадала от комбинации проводившейся в то время денежно-кредитной политики с несовместимой с ней политикой в области заработной платы, весь этот период (по крайней мере до 1929 г.) характеризовала конъюнктура (в отношении занятости и общего уровня экономической активности), отнюдь не менее благоприятная, чем в 30-е годы. Лишь после перехода к протекционизму, сопровождавшегося глубокими изменениями в британской экономической политике, монополии начали расти с поразительной скоростью, и мало кто сознает, насколько они изменили британскую промышленность. Утверждение, что это хоть как-то связано с достигнутым за этот период техническим прогрессом, что нужды технического развития, проявившиеся в Германии в 80-е и 90-е годы прошлого столетия, вдруг дали себя знать в Англии в 30-е годы, не менее абсурдно, чем приведенное выше заявление Муссолини о том, что Италия была вынуждена уничтожить личную свободу раньше других европейских народов потому, что ушла от них далеко вперед!

Что касается Англии, то утверждение, что сдвиги в

общественном мнении и политике вытекают из неотвратимых и независящих от нас фактов, выглядит в какой-то мере правдоподобным лишь потому, что в Англии развитие и распространение определенного рода идей происходило с запозданием по сравнению с другими странами. Поэтому может казаться, что монополистическая организация промышленности выросла вопреки общественному мнению, тогда еще благоприятствовавшему конкуренции, что внешние события пошли вразрез с нашими желаниями. Однако истинная взаимосвязь между теорией и практикой станет ясна, как только мы обратимся к прототипу этого хода развития: к Германии. Что там подавление конкуренции было сознательной политикой, проводившейся во имя идеала, сейчас называемого планированием, — не вызывает сомнений. В своем постепенном переходе к целиком и полностью планируемому обществу немцы, как и все, кто им сейчас подражает, просто следовали курсом, проложенным для них мыслителями девятнадцатого века, в первую очередь немецкими. Интеллектуальная история последних шестидесяти-восьмидесяти лет есть воистину прекрасная иллюстрация того, что сама по себе эволюция общества вовсе не неотвратима, и делает ее такой только наше мышление.

* * *

Утверждение, что современный технический прогресс неизбежно ведет к планированию, поддается разным истолкованиям. Оно может означать, что сложность современной промышленной цивилизации создает новые трудности, разрешимые только путем централизованного планирования. В каком-то смысле это действительно так — но не в том широком смысле, в каком обычно понимается. Общеизвестно, например, что проблемы, порождаемые условиями жизни в современном городе, как и многие другие проблемы, связанные со скученностью и нехваткой свободного пространства, не могут быть разрешены с помощью конкуренции. Но те, кто ссылается на сложность современной цивилизации как на довод в пользу централизованного планирования,

имеют в виду в первую очередь не эти трудности, и не проблемы, возникающие в связи с функционированием предприятий общественного пользования, коммунальными услугами и т. п. Обычно они подразумевают все возрастающую трудность получения всеобъемлющей картины экономического процесса и вызываемую этим необходимость координировать экономику при помощи какого-то центрального органа, если мы не хотим, чтобы общественная жизнь превратилась в хаос.

Эти доводы вызваны совершенно неправильным представлением о функционировании механизма конкуренции. В корне неверно считать, что конкуренция пригодна только для относительно простых условий; наоборот, именно сложность разделения труда в современных условиях и делает ее единственным методом, обеспечивающим правильную координацию экономической деятельности. Эффективно осуществлять контроль или планирование было бы нетрудно, если бы условия были настолько просты, что один человек или коллегиальный орган мог бы охватить все основные факты. Только когда факторы, которые необходимо принять в расчет, становятся настолько многочисленными, что полностью их охватить невозможно, именно тогда возникает настоятельная необходимость децентрализации. Но с необходимостью децентрализации сразу же возникает проблема координации, причем такой, которая позволяла бы отдельным предприятиям строить свою деятельность на известных лишь им фактах и вместе с тем согласовывать свои планы с планами других. Поскольку необходимость децентрализации вызвана тем, что никто не может обдумать и взвесить все, касающееся решений такого громадного количества людей, то и координацию можно осуществить не путем „сознательного контроля”, а лишь путем создания условий, при которых любому хозяйственному деятелю будет доступна информация, необходимая для эффективного согласования его решений с решениями остальных. А так как непрерывные изменения соотношений спроса и предложения на различные товары никакой центр все равно не может ни учесть в деталях, ни достаточно быстро сделать известными

рынку, то единственное, что может здесь помочь — это некий регистрационный прибор, который автоматически отмечает все важнейшие результаты деятельности отдельных людей и указания которого одновременно вытекают из индивидуальных решений и направляют их.

Именно таким органом является в условиях конкуренции ценовая система, и никакая другая система не может с ней сравниться. Она позволяет предпринимателям наблюдать за колебаниями сравнительно немногих цен, как инженер наблюдает за стрелками нескольких индикаторов, и исходя из них, согласовывать свои действия с действиями остальных. Однако важно понять, что эту функцию система цен может осуществлять только при господстве конкуренции, т. е. в условиях, когда индивидуальный производитель должен приспособливаться к изменениям цен и не может их контролировать. Чем сложнее целое, тем больше мы зависим от этого разделения знаний и сведений между отдельными лицами, чья самостоятельная деятельность координируется безличным механизмом для передачи важной информации, называемым ценовой системой.

Можно без преувеличения сказать, что если бы в период роста нашей индустриальной системы нам пришлось полагаться на сознательное централизованное планирование, то система эта никогда бы не достигла своего нынешнего уровня дифференциации, сложности и гибкости. По сравнению с этим методом решения экономических задач (с помощью децентрализации и автоматического координирования локальных процессов в саморегулирующейся системе) более прямой и на первый взгляд очевидный метод централизованного руководства оказывается невероятно топорным, примитивным и ограниченным по сфере воздействия. Разделением труда, позволившим создать современную цивилизацию, мы обязаны именно тому, что это разделение не пришлось создавать сознательно, что человек наткнулся на метод, при помощи которого разделение труда смогло пойти гораздо дальше тех пределов, внутри которых его можно было бы планировать. Поэтому любой дальнейший рост сложности цивилизации отнюдь не делает более необходимым

централизованное руководство; напротив, он гораздо настоятельнее, чем когда-либо прежде, требует от нас использования метода, не зависящего от сознательного регулирования.

* * *

Существует и другая теория о связи роста монополий с техническим прогрессом. Положения этой теории почти противоположны доводам, нами только что рассмотренным; она нечасто формулировалась прямо и недвусмысленно, но также сумела оказать значительное влияние. Согласно ей, не современная техника уничтожает конкуренцию, но, наоборот, применение множества новых технических достижений невозможно без защиты от конкуренции, т. е. без создания монополий. Рассуждения такого рода не всегда носят мошеннический характер, как может заподозрить критически настроенный читатель. Действительно, напрашивающееся возражение — „если новый метод действительно лучше всех прежних, то он сможет выдержать любую конкуренцию” — не опровергает некоторых конкретных примеров, к которым оно, казалось бы, должно быть применимо. Несомненно, зачастую это возражение используется как один из тех доводов (к которым так любят прибегать адвокаты), которые заранее дисквалифицируют любую возможную ссылку противной стороны на новые обстоятельства, которые могут обнаружиться в будущем. Вероятно, еще более часто оно является результатом неправомерного отождествления чисто технических достоинств какого-то нововведения с узко-профессиональной точки зрения и его желательности с точки зрения общества в целом.

Остается, однако, ряд конкретных примеров, где этот довод имеет некоторую силу. Например, можно предположить (хотя бы чисто теоретически), что британская автомобильная промышленность сумела бы наладить производство более дешевых и высококачественных автомобилей, чем изготавливаемые в США, при условии, что все жители Англии будут поставлены перед необходимостью пользо-

ваться автомобилями той же самой марки; или что применение электроэнергии во всех случаях могло бы оказаться дешевле, чем использование угля или газа, если бы всех можно было заставить пользоваться только электроэнергией. В этих и тому подобных случаях можно, по крайней мере, допустить, что нам всем жилось бы лучше и что мы даже предпочли бы эту новую ситуацию, будь у нас выбор. Фокус, однако, в том, что ни у кого из нас никогда такого выбора нет и быть не может. В действительности перед нами стоит совершенно другая альтернатива: либо *все* будут ездить на *одинаковых* дешевых автомобилях (и пользоваться только электроэнергией) — либо мы сможем выбирать между *разными* видами товаров одной категории, но зато каждый из них будет стоить гораздо дороже! Я не могу поручиться, что дело обстоит именно так в каждом из приведенных примеров, но следует признать, что с помощью принудительной стандартизации или запрета разнообразия, выходящего за определенные пределы, можно достичь в некоторых областях такого изобилия, что оно с лихвой возместит ограничение предоставляемого потребителю выбора. Не исключено даже, что в один прекрасный день появится некое новое изобретение, полезность которого никем не будет оспариваться — но внедрение его станет возможным только в том случае, если большинство населения (или все население целиком) окажется вынужденным пользоваться им в одно и то же время.

Сколь бы серьезными ни были подобные примеры, они, несомненно, не дают нам никакого права утверждать на их основании, что технический прогресс ведет к неизбежности централизованного руководства. Речь идет просто о необходимости выбирать между получением какого-то частного преимущества принудительным путем и отказом от этого преимущества — а во многих случаях получением его позже, когда частные трудности будут преодолены дальнейшим ходом технического прогресса. Правда, в таких ситуациях иногда приходится отказываться от возможной немедленной выгоды — в качестве платы за свободу — но зато мы избегаем необходимости ставить дальнейший ход развития в за-

висимость от знаний, которыми обладают сегодня лишь немногие. Жертвуя возможными нынешними преимуществами, мы сохраняем важный стимул для дальнейшего прогресса. Пусть в ближайшем будущем придется иногда дорого платить за многообразие и свободу выбора — в конечном счете даже материальный прогресс зависит именно от этого многообразия, ибо никогда нельзя предсказать, какой из видов товаров и услуг может развиваться в нечто лучшее. Разумеется, нельзя утверждать, что сохранение свободы за счет каких-то дополнительных материальных удобств вознаграждается во всех случаях, но ведь это и есть один из доводов в защиту свободы: необходимо оставить место для свободного развития, пути которого невозможно предугадать. Это в не меньшей мере относится и к ситуации, при которой нам, исходя из нынешнего уровня знаний, кажется, что принуждение принесет одни только преимущества (даже если в каких-то конкретных обстоятельствах оно действительно не причинит никакого вреда).

В большинстве современных споров о последствиях технического прогресса, прогресс этот преподносится нам как некая посторонняя сила, вынуждающая нас использовать новые знания каким-то определенным образом. Действительно, открытия и изобретения дали нам необыкновенную власть, но абсурдно полагать, что мы должны обратить эту власть на уничтожение нашего драгоценнейшего достояния: свободы. Однако если мы хотим ее сохранить, то должны охранять ее ревнивей, чем когда бы то ни было, и идти ради нее на жертвы. Современный уровень развития техники во все не толкает нас к всеобъемлющему экономическому планированию, но зато бесконечно увеличивает опасность власти, которую могут получить органы планирования.

* * *

Итак, не остается сомнений в том, что движение к планированию есть результат целенаправленной деятельности, и нас не вынуждает к нему никакая объективная необходимость. Теперь пора задуматься о том, почему в первых рядах

сторонников планирования оказалось столько технических специалистов. Объяснение этого феномена тесно связано с важным фактом, о котором следует всегда помнить противникам планирования, а именно: почти каждый из технических идеалов наших экспертов можно было бы осуществить в сравнительно короткий срок, если сделать его единственной задачей человечества. Существует бесконечное множество благ, которые мы все единодушно считаем столь же желательными, сколь и возможными, но осуществить на своем веку можем лишь немногие и лишь в очень несовершенном виде. Именно невозможность осуществления грандиозных замыслов в своей области вызывает бунт специалиста против несовершенства существующего порядка. Всем нам трудно примириться с положением, когда остаются нереализованными цели, всеми признаваемые и возможными, и желательными. Чтобы осознать, что всех этих целей нельзя достичь одновременно, что каждую из них можно осуществить, только пожертвовав остальными, — нужно принять во внимание факторы, которые выходят за пределы компетенции любого специалиста и могут быть осмыслены лишь ценой мучительных интеллектуальных усилий. Эти усилия становятся еще более мучительными потому, что они заставляют человека видеть цель своих трудов в более широком контексте и соразмерять ее с другими задачами, которые лежат вне сферы его непосредственных интересов, и поэтому меньше его волнуют.

Любая из множества целей, которую можно было бы по отдельности осуществить в планируемом обществе, порождает пламенных энтузиастов планирования, уверенных, что они смогут убедить руководителей такого общества в важности той или иной конкретной задачи; и, несомненно, надежды некоторых из них в конце концов сбудутся, поскольку планируемое общество безусловно будет способствовать реализации определенных целей в большей степени, чем нынешнее. Глупо было бы отрицать, что известные нам страны с полностью или частично планируемой экономикой действительно предоставляют блага, которыми жители этих стран всецело обязаны планированию. В пример часто при-

водятся великолепные шоссейные дороги Германии и Италии (хотя этот вид планирования вполне возможен и в либеральном обществе). Но не менее глупо приводить примеры технического превосходства в конкретных областях в качестве доказательства превосходства планирования в целом. Правильнее было бы сказать, что исключительное техническое совершенство, не соответствующее общим условиям жизни, свидетельствует о ресурсах, направленных по ложному пути. Любой, кто ездил по знаменитым немецким автомобильным дорогам и видел, что движение на них гораздо меньше, чем на многих второстепенных дорогах Англии, не усомнится в том, что их существование вряд ли оправдано (по крайней мере, если рассматривать только мирные цели). Другое дело, что планирующие органы могли сознательно выбрать „пушки” вместо „масла”, однако (по нашим меркам) оснований для восторга здесь немного.⁶

Питаемая специалистами иллюзия, что в планируемом обществе волнующим их проблемам уделялось бы гораздо больше внимания, — явление более распространенное, чем можно было бы думать, исходя из самого термина „специалист”. Все мы считаем, что наша собственная шкала ценностей — дело не только личных убеждений, но что в ходе свободного ее обсуждения среди здравомыслящих людей мы смогли бы убедить остальных в ее безусловной правильности. Любитель природы, стремящийся в первую очередь сохранить традиционный сельский ландшафт и стереть с его прекрасного лица пятна, оставленные промышленностью; пылкий сторонник санитарии и гигиены, склонный снести все живописные, но антисанитарные и обветшалые деревенские домики; автомобилист, мечтающий о том, чтобы всю страну пересекли гигантские автострады; фанатик производительности труда, требующий максимальной специализации и механизации производства; идеалист, для которого свободное развитие личности означает сохранение как можно большего числа независимых ремесленников — все они уверены, что цель их может быть полностью достигнута только с помощью планирования. Но на деле социальное планирование, которого они так настойчиво требуют, может

лишь обнажить скрытые противоречия в их целях.

Движение за планирование обязано своей нынешней мощью главным образом тому, что планирование пока — лишь неосуществленная мечта, и потому объединяет вокруг себя почти всех беззаветно преданных своей цели идеалистов, всех тех, кто посвятил жизнь решению какой-либо одной задачи. Однако надежды, возлагаемые ими на планирование, вытекают из очень ограниченного понимания общества, а зачастую — и из сильного преувеличения важности целей, полагаемых ими первостепенными. Это не уменьшает громадной практической ценности такого типа людей в свободном обществе, подобном нашему, где ими справедливо восхищаются. Но это же самое свойство сделало бы людей, которые больше всего хотят планировать общество, наиболее опасными, если бы им позволили это сделать — и наиболее нетерпимыми к планированию, исходящему от других. От праведного и устремленного к одной-единственной цели идеалиста до фанатика — часто всего один шаг. А учитывая, что сильнейшим побуждением, порождающим новых адептов планирования, является именно негодование разочарованного в своих надеждах специалиста, нельзя себе представить более невыносимого (и более иррационального) мира, чем тот, в котором крупнейшим специалистам в каждой области позволено беспрепятственно добиваться осуществления своих идеалов. Кроме того, „координация”, в отличие от того, что воображают некоторые сторонники планирования, не может стать новой областью специализации. Экономист — последний, кто будет утверждать, что обладает требуемыми для координатора знаниями. Он призывает к методу, при котором такая координация осуществлялась бы без нужды во всезнающем диктаторе. Но это как раз и означает сохранение тех безличных и зачастую непостижимых факторов, которые тормозят усилия наиболее ретивых новаторов и так выводят из себя всех специалистов.

Глава 5

ПЛАНИРОВАНИЕ И ДЕМОКРАТИЯ

Государственный деятель, пытающийся указывать частным лицам, как им распорядиться своими капиталами, не только привлек бы к себе совершенно ненужное внимание; он присвоил бы полномочия, которые небезопасны в руках любого совета и сената, но всего опасней в руках человека, настолько безрассудного и самонадеянного, чтобы себя считать пригодным для осуществления этих полномочий.

Адам Смит

Общей чертой коллективистских систем является, выражаясь любимыми словами социалистов всех школ и оттенков, сознательная организация производительных сил общества с целью достижения определенной поставленной перед обществом цели. Отсутствие такой „сознательной” направленности к единой цели в нашем нынешнем обществе, зависимость его от прихотей и причуд безответственных частных лиц, всегда были одной из главных причин недовольства его социалистических критиков.

Такой подход позволяет ясно и четко сформулировать основную проблему и сразу подводит нас к истокам

конфликта между свободой личности и коллективизмом. Различные виды коллективизма (коммунизм, фашизм и т. д.) разнятся между собой характером целей, на достижение которых они стремятся направить усилия общества; но все они отличаются от либерализма и индивидуализма стремлением организовать все общество и все его ресурсы во имя достижения этой единой цели, а также отказом признавать существование сфер, в которых верховным законом являются личные цели индивидуума. Короче говоря, они являются тоталитаристскими в подлинном смысле этого нового слова, принятого нами для обозначения неожиданных, но неизбежных проявлений на практике того, что в теории мы называем коллективизмом.

В качестве „социальной задачи” или „общей цели”, на достижение которой необходимо мобилизовать общество, обычно выдвигаются туманные понятия „общего блага”, „всеобщего благосостояния” или „всеобщей пользы”. Нетрудно увидеть, что термины эти слишком расплывчаты, чтобы позволить определить какой-то конкретный курс действий. Довольство и благосостояние миллионов не поддаются количественной оценке в терминах „больше” или „меньше”. Благодеяние народа, как и счастье человека, зависит от множества факторов, слагающихся в бесчисленное множество комбинаций. Неправильно представлять его как единую цель: это иерархия целей, всеобъемлющая шкала ценностей, в которой есть место для каждой потребности каждого человека. Руководство нашей жизнью по единому плану подразумевает, что каждой нашей потребности отведен соответствующий разряд в системе ценностей настолько полной, что плановые органы могут решать, какой выбрать курс действий; иначе говоря, речь идет о всеобъемлющем этическом кодексе, в котором отведено должное место всем многообразнейшим человеческим ценностям.

Концепция всеобъемлющего этического кодекса для нас непривычна и требует некоторых усилий воображения. Мы не привыкли воспринимать моральные нормы как более или менее законченную систему. Тот факт, что мы постоянно делаем выбор между различными ценностями без помощи

социального кодекса, предписывающего определенные правила выбора, нас не удивляет и не наводит на мысль о „неполноте” нашей системы морально-этических норм. В нашем обществе нет оснований для выработки общих взглядов на то, как следует поступать в той или иной ситуации. Но там, где все используемые средства находятся в распоряжении общества и используются от имени общества по единому плану, все решения должны исходить из „общественной” точки зрения на то, как следует поступать. В таком мире мы бы скоро обнаружили в своей морально-этической системе множество пробелов.

Здесь не рассматривается вопрос о желательности такого всеобъемлющего этического кодекса. Ограничимся лишь указанием на то, что до настоящего момента развитие цивилизации сопровождалось неуклонным сужением сферы, в которой действия индивидуума ограничены раз навсегда установленными правилами. Число правил, из которых складывается обычная система моральных норм, все уменьшалось, а сами правила принимали все более общий характер. Начиная с первобытного человека, который почти в каждом из своих повседневных действий был связан сложнейшим ритуалом, окружен бесчисленными табу и не мог даже вообразить, что можно что-то делать не так, как его сородичи, мораль все больше и больше превращалась просто в систему ограничений, внутри которых человек мог вести себя как хотел. Принятие общей для всех системы этических норм, достаточно полной, чтобы определить содержание единого экономического плана, означало бы полное изменение всей предшествующей тенденции.

Для нас важно понять, что такого всеобъемлющего этического кодекса не существует. Попытка руководить всеми видами экономической деятельности по единому плану вызовет бесчисленные вопросы, на которые существующие нравственные нормы ответа не дают и которые можно решить только путем выработки новых этических норм. По такого рода вопросам у людей либо не будет определенного мнения, либо их мнения будут противоречить друг другу, так как в свободном обществе, в котором мы жили, не

было повода ни думать о них, ни тем более — выработать общую точку зрения.

* * *

Мы не только не располагаем такой всеобъемлющей шкалой ценностей: ни один ум не может охватить всех бесконечно многообразных потребностей людей, соперничающих за доступ к имеющимся ресурсам, и четко определить значимость каждой из них. Для целей настоящей книги несущественно, что именно важно для того или иного человека: только его личные потребности, или нужды его близких, или даже цели более далеких от него людей, т. е. эгоист он или альтруист в обычном смысле слова. Важно то, что любой человек может охватить лишь ограниченную область, осознать необходимость удовлетворения лишь конечного числа потребностей. На чем бы ни были сосредоточены его интересы — на собственных материальных потребностях или на благоденствии всех известных ему людей — цели его всегда останутся лишь бесконечно малой частицей потребностей всего человечества.

Таков фундамент, на котором строится философия индивидуализма. Она не предполагает, как часто говорят, что человек по природе эгоистичен или должен таковым быть. Ее отправная точка — неоспоримый факт ограниченности нашего воображения, позволяющей включать в нашу шкалу ценностей лишь часть нужд общества; а поскольку системы ценностей, строго говоря, существуют только в умах отдельных людей, то все существующие системы ценностей по необходимости неполны, а подобные „частичные” системы неизбежно отличаются друг от друга и зачастую оказываются просто несовместимыми. Из этого индивидуалист делает вывод, что людям должно быть позволено внутри определенных рамок руководствоваться своими, а не чужими ценностями и склонностями, что внутри этой сферы верховным законом должна быть индивидуальная шкала ценностей. Именно к этому признанию индивидуума верховным судьей собственных нужд, к вере в то, что его

действия должны насколько возможно определяться его собственными взглядами, и сводится суть индивидуалистической позиции.

Такая точка зрения, разумеется, не исключает признания определенных общественных целей — или скорее совпадения индивидуальных целей, делающего целесообразным объединение усилий для их достижения; она лишь ограничивает эту совместную деятельность теми областями, где мнения отдельных лиц относительно общих целей совпадают. Так называемые „общественные цели” — для нее просто тождественные цели множества индивидуумов (или цели, достижению которых индивидуумы соглашаются содействовать в обмен на помощь в осуществлении своих собственных целей). Таким образом, совместная деятельность ограничивается областями, в которых люди единоклюны. Весьма часто общие задачи являются для людей не конечной целью, а средством, которое различные лица могут использовать для разных целей. Вообще люди чаще всего договариваются о совместных действиях, когда общая задача для них — не конечная цель, а средство, которое можно использовать для удовлетворения самых различных потребностей.

Когда люди объединяются для достижения общих целей, то создаваемые для этого организации, например, государство, наделяются собственной системой целей и средств. Однако любая созданная таким образом организация остается лишь „юридическим лицом” — всего лишь одним из множества других юридических или физических лиц. Разумеется, если речь идет о государстве, то оно обладает гораздо большей мощью и возможностями, но у него также есть своя, отдельная и ограниченная сфера, в рамках которой (и только в этих рамках!) его цели являются важнейшими. Границы этой сферы определяются степенью единоклюния индивидуумов в отношении тех или иных конкретных целей; а вероятность согласия в отношении конкретных действий неизбежно уменьшается с увеличением масштаба этих действий. Относительно одних функций государства среди его граждан царит практическое единоклюние; относительно других согласно между собой значительное большинство —

и так далее, вплоть до сфер, где каждый отдельный человек, возможно, и хочет каких-то государственных мер, но каждый — разных.

Государство может полагаться на добровольное согласие граждан только до тех пор, пока его деятельность ограничивается сферой, в которой такое согласие существует. Но как только государство переходит к прямому контролю и принуждению в тех областях, где такого согласия нет, оно оказывается вынужденным подавлять свободу личности. К сожалению, мы не можем расширять сферу совместной деятельности до бесконечности, по-прежнему оставляя при этом за индивидуумом свободу в его личной сфере. Как только общественный сектор, в котором всем распоряжается государство, превысит определенную долю целого, это начнет сказываться на всей системе в целом. Несмотря на то, что под прямым контролем государства находятся не все имеющиеся ресурсы, а лишь значительная их часть, влияние государственных решений на прочие области экономики оказывается настолько серьезным, что косвенно государство начинает контролировать почти всю экономику. Там, где, как это было уже с 1928 г. в Германии, центральные и местные власти непосредственно распоряжаются использованием более половины национального дохода (по тогдашним официальным оценкам, 53%), они тем самым косвенно регулируют почти всю экономику страны. В этом случае практически больше нет личных целей, осуществление которых не зависит от действий государства, и „общественная шкала ценностей”, которой руководствуется государство, должна включать в себя практически все индивидуальные цели.

* * *

Нетрудно увидеть, каковы будут последствия, если демократия перейдет к планированию, которое в процессе реализации потребует большего согласия, чем фактически существует. Люди согласились принять систему направляемой сверху экономики скорее всего только потому, что их

убедили, будто она принесет с собой необыкновенное процветание. В дискуссиях, предшествующих принятию решения, конечная цель планирования будет называться „всеобщим благосостоянием”, или каким-либо подобным термином, за которым скрывается отсутствие реальной договоренности о целях и задачах планирования. Фактически все будут согласны только в одном: для достижения этих целей нужно использовать механизм планирования. Однако этот механизм таков, что его можно использовать только для достижения какой-то *общей* цели, и как только исполнительная власть должна будет перейти к практической реализации требований единого плана и разработать какой-то *конкретный* план, сразу же возникнет вопрос о том, к какой именно цели следует направить все усилия. И тогда-то выяснится, что согласие относительно желательности планирования не опирается на единодушие по поводу целей, которым должен служить план. А когда люди соглашаются с необходимостью централизованного планирования, но расходятся по поводу его целей, результат будет таким же, как в случае группы людей, вместе отправившихся в путешествие, но не решивших, куда именно ехать: в конце концов им всем, возможно, придется отправиться туда, куда большинство из них ехать вовсе не хочет. Одна из особенностей планируемой экономики, в наибольшей степени определяющая ее характер, заключается в том, что люди оказываются вынужденными приходить к соглашению по гораздо большему числу вопросов, чем обычно; а так как они не могут ограничить коллективные действия задачами, в отношении которых существует единодушие, то, чтобы вообще хоть что-то предпринять, оказываются перед необходимостью добиваться договоренности по *всем* пунктам.

Даже если единодушное волеизъявление народа состоит в том, чтобы парламент подготовил всеобъемлющий экономический план, это не означает, что сам народ или его представители сумеют прийти к единодушному мнению, что должен собой представлять любой *конкретный* план. Эта неспособность представительных органов выполнить как будто бы вполне ясный наказ избирателей неизбежно вызовет

неудовлетворенность демократическими институтами. На парламенты уже начинают смотреть как на бесполезные „говорильни”, неспособные или неправомочные справиться с задачами, для решения которых они избраны. Растет убежденность в том, что для эффективного планирования нужно „отобрать руководство у политиков” и отдать его в руки экспертов, назначаемых чиновников или самостоятельных и независимых органов.

Социалисты эту трудность ясно сознают. Уже полвека назад Уэббы жаловались на „возрастающую неспособность палаты общин справиться со своей работой”.¹ Сравнительно недавно эти же аргументы были подробно изложены профессором Ласки:

„Все известно, что нынешняя парламентская машина совершенно не годится для быстрого рассмотрения большого количества законопроектов. Это практически признает само правительство страны, проводя в жизнь мероприятия в области экономической и таможенной политики путем оптовой передачи законодательных полномочий, минуя этап подробного обсуждения в палате общин. Лейбористское правительство, как я полагаю, еще более расширит подобную практику. Оно ограничит деятельность палаты общин двумя функциями, которые та сможет осуществлять: рассмотрением жалоб и обсуждением общих принципов, на которых основываются соответствующие мероприятия. Выдвигаемые законопроекты примут вид общих юридических формул, наделяющих широкими полномочиями соответствующие министерства и правительственные органы, а полномочия эти будут осуществляться с помощью правительственных декретов, одобренных монархом и не требующих рассмотрения в парламенте, принятию которых палата сможет при желании противодействовать путем постановки на голосование вотума недоверия правительству. Необходимость и ценность передачи законодательных полномочий недавно была подтверждена Комитетом Дономора; и расширение этой практики неизбежно, если мы не хотим разрушить процесс социалистических пре-

образований в обществе обычными помехами и препонами, чинимыми существующей парламентской процедурой”.

Чтобы еще яснее сказать, что социалистическое правительство не должно себя связывать по рукам и ногам демократической процедурой, в конце статьи профессор Ласки ставит вопрос: „Может ли лейбористское правительство в период перехода к социализму рисковать тем, что все начатые им мероприятия окажутся сведенными на нет в результате следующих всеобщих выборов?” — и многозначительно оставляет его без ответа.²

* * *

Попробуем понять причины этой признаваемой всеми сторонами неэффективности представительных органов, когда дело доходит до детализированного руководства экономической жизнью страны. Виноваты в этом не отдельные члены парламента и не парламентские учреждения как таковые, а внутренние противоречия, присущие порученной им задаче. От них требуют не действий в тех областях, где они могут прийти к согласию, а достижения договоренности относительно всей системы руководства ресурсами страны в целом. Однако для такой задачи система принятия решения большинством не годится. Большинство голосов можно принимать решения тогда, когда выбор ограничен определенной альтернативой; но ниоткуда не следует, что должна существовать определенная точка зрения большинства по всем вопросам. Непонятно, почему должно иметься некое большинство, выступающее за какой-то один из возможных курсов конкретных действий, если имя им — легион. Каждый член законодательного органа, возможно, и предпочтет тот или иной конкретный план руководства экономической жизнью отсутствию всякого плана, однако для большинства отсутствие какого бы то ни было плана вообще может оказаться предпочтительнее любого из имеющихся вариантов.

С другой стороны, внутренне согласованный план не может быть получен в результате разбиения проекта на части

и голосования по отдельным пунктам. Демократический законодательный орган, голосующий и принимающий поправки к единому общенациональному плану статья за статьей, как в случае обычного законопроекта — это абсурд. Экономический план, заслуживающий этого названия, должен исходить из единой концепции. Даже если бы парламент смог, продвигаясь шаг за шагом, достичь соглашения относительно какой-то схемы, это в конечном счете никого бы не удовлетворило. Сложное целое, в котором все части должны быть тщательнейшим образом согласованы, недостижимо путем компромисса между противоположными точками зрения. Разработать таким образом экономический план невозможно — точно так же, как невозможно демократическим путем успешно спланировать военную кампанию. И в том, и в другом случае мы должны доверить эту задачу специалистам.

Однако разница состоит в том, что если перед генералом, ведущим кампанию, ставится одна-единственная цель, к достижению которой на протяжении всей кампании устремлены все находящиеся в его распоряжении ресурсы, то у экономиста-планировщика такой единой цели нет, и его ресурсы невозможно аналогичным образом ограничить. Генералу не приходится взаимоуравновешивать различные, не связанные друг с другом задачи: для него существует только одна высшая цель. Цели же и задачи экономического плана, или любой его части, нельзя установить вне зависимости от конкретного плана. Трудность тут в том, что для разработки экономического плана требуется делать выбор между взаимопротиворечащими или конкурирующими задачами, между различными потребностями различных людей. Однако *какие* именно цели являются взаимопротиворечащими, какими из них придется пожертвовать для достижения каких-то других — короче говоря, из чего придется выбирать — знать все это могут только те, кто знает все имеющиеся факты; и только они, эксперты, могут решать, какой из множества целей отдать предпочтение. Поэтому они неизбежно начнут навязывать обществу, для которого производится планирование, свою иерархию приоритетов.

Это не всегда ясно понимают; к тому же обычно передачу полномочий в руки специалистов оправдывают „чисто техническим” характером стоящей перед ними задачи. Однако это отнюдь не означает, что им поручается разработать только технические детали, или что причина всех трудностей — в неспособности членов парламента эти детали понять.³ Изменения, вносимые в структуру гражданского права, также носят „чисто технический” характер, и во всех их возможных последствиях столь же трудно разобраться до конца, однако никто еще всерьез не предлагал отдать законодательство в руки специально уполномоченной группы экспертов. Дело в том, что в этих областях законодательство не идет дальше общих правил, относительно которых может существовать реальное согласие большинства, тогда как в области руководства экономикой интересы, которые необходимо примирить, настолько сильно расходятся, что в демократических представительных органах достичь подлинного единодушия практически невозможно.

Надо, однако, признать, что главные возражения вызывает не сама по себе передача законодательных полномочий. Выступить против нее как таковой означает выступить против симптома, а не причины; а поскольку симптом может вызываться и другими причинами, это ослабило бы нашу систему доказательств. Пока в другие руки передается лишь власть устанавливать общие правила, могут существовать вполне веские основания, почему это лучше делать местным, а не центральным властям. Нельзя примириться с тем, что к подобной передаче слишком часто прибегают тогда, когда какой-то конкретный вопрос не подпадает под общие правила, и его решение в каждом частном случае предоставляется усмотрению соответствующих властей. Во всех этих случаях передача полномочий означает, что какая-то инстанция облачается властью придавать силу закона тому, что по сути дела представляет собой произвольное решение (обычно называемое на юридическом жаргоне „решением по существу спора”).

Перепоручение определенных узко специальных задач особым органам — дело обычное, но тем не менее это первый

шаг по пути постепенного отказа демократии от своих полномочий. Прием перепоручения не может эффективно устранить причин бессилия демократии, вызывающего такое раздражение всех сторонников планирования. Передача тех или иных частных полномочий отдельным органам создает новое препятствие к осуществлению единого согласованного плана. Даже если при помощи этой уловки в рамках демократической системы удастся осуществить планирование в каждом секторе экономики по отдельности, то все равно нам придется столкнуться с трудностью объединения этих отдельных планов в цельную картину. Множество отдельных планов не создает единого целого; оно, возможно, даже хуже, чем отсутствие всякого плана, что должны признать в первую очередь сами плановики. Но демократические законодательные органы еще долго будут колебаться, прежде чем откажутся от права принимать решения по жизненно важным вопросам, а пока они этого не сделают, никто не сможет разработать единого плана. Однако единодушная уверенность в необходимости плана в сочетании с неспособностью демократических институтов такой план выработать, будет порождать все более резкие требования уполномочить правительство или какую-нибудь отдельную личность действовать на свой страх и риск. Все шире распространяется убеждение в том, что, чтобы чего-то добиться, нужно освободить исполнительные органы от оков демократической парламентской процедуры.

Призыв к диктатуре в экономике — это характерная стадия движения к планированию, не чуждая также и Англии. Уже несколько лет назад один из наиболее проникновенных исследователей Англии, ныне покойный французский историк Эли Галеви писал: „Если сделать комбинированную фотографию лорда Юстаса Перси, сэра Освальда Мосли и сэра Стаффорда Криппса,⁴ то, как я полагаю, обнаружится одно общее для всех троих качество: окажется, что все они единодушно заявляют: „Мы живем среди экономического хаоса, и единственный выход из него — какой-то вид диктатуры”.⁵ С тех пор число влиятельных общественных деятелей, которых можно включить в этот „фотомонтаж”, значительно возросло.

В Германии еще до прихода Гитлера к власти тенденция эта зашла гораздо дальше. Важно помнить, что в какой-то момент до 1933 года Германия достигла стадии, когда ей действительно стало необходимо диктаторское правление. Тогда не было никаких сомнений в том, что демократия переживает полный распад и что искренние демократы, например, Брюнинг, способны управлять демократическим путем не более, чем Шлейхер или фон Папен.⁶ Гитлеру не пришлось уничтожать демократию: он просто воспользовался ее распадом и в критический момент получил поддержку множества людей, которые его ненавидели, но которым он представлялся единственной достаточно сильной личностью, способной остановить надвигающийся хаос.

* * *

Доводы, с помощью которых сторонники планирования пытаются примирить нас с таким развитием событий, сводятся к тому, что пока решающее слово остается за демократическими институтами, сама сущность системы демократического контроля не затрагивается. Так, Карл Маннгейм пишет:

„Плановое общество отличается от общества девятнадцатого века только (*sic!*) в одном: в нем все больше и больше областей общественной жизни (а в конечном счете все и каждая из них) подвергаются контролю со стороны государства. Но если парламент своей верховной властью может сдерживать и контролировать вмешательство государства в нескольких областях, то он может сделать это и во многих. (...) в демократическом государстве верховную власть можно безгранично усилить путем передачи полномочий, не отказываясь при этом от демократического контроля”.⁷

Здесь упущено из виду одно жизненно важное различие. Парламент может контролировать выполнение задач там, где можно дать четкие указания, где с самого начала существует единодушие относительно цели и перепоручается лишь разработка деталей. Совершенно иное положение возникает,

когда перепоручение вызвано отсутствием подлинного единодушия относительно целей, когда органу, которому поручено планирование, приходится выбирать между целями, о противоречивости которых парламент даже не осведомлен, и когда самое большее, что можно сделать — это представить ему на рассмотрение план, который нужно или целиком принять, или целиком отвергнуть. План этот, возможно, и даже почти наверняка, подвергнется критике; но поскольку нельзя будет найти большинства, согласного принять какой-то альтернативный план, а кроме того, вызывающие возражения элементы предлагаемого плана почти всегда можно представить как важнейшую и неотъемлемую часть целого, то эта критика не возымеет никакого действия. Обсуждение в парламенте, по всей видимости, сохранится в качестве полезного предохранительного клапана, и даже в большей мере — как удобный канал, по которому поступают официальные ответы на запросы и жалобы. Парламент, вероятно, даже сможет предотвратить кое-какие вопиющие злоупотребления и настоять на исправлении частных недостатков. Но он будет лишен возможности осуществлять руководство, и его роль сведется в лучшем случае к выбору лиц, облеченных практически неограниченной властью. Вся система будет тяготеть к плебисцитарной диктатуре, при которой глава правительства время от времени подкрепляет свою позицию всенародным голосованием, но располагает при этом полным набором средств, позволяющих направить голосование в нужное ему русло.

За демократию приходится платить ограничением возможности сознательного контроля теми областями, где существует подлинное единодушие; в остальных мы вынуждены предоставлять все воле случая. Но в обществе, функционирование которого обеспечивается с помощью централизованного планирования, этот контроль нельзя даже поставить в зависимость от того, найдется ли способное прийти к единому мнению большинство. Фактически зачастую необходимо будет навязывать народу волю некоторого меньшинства, ибо это меньшинство окажется наибольшей группой, способной достичь единодушия по обсужда-

емому вопросу. Демократическая система правления успешно проявила себя в тех случаях и до тех пор, пока функции правительства, в соответствии с господствующими убеждениями, ограничивались областями, в которых большинство может достичь единодушия путем свободного обсуждения. Величайшее достоинство либерального мировоззрения заключалось именно в том, что оно позволяло свести весь ряд вопросов, по которым необходимо было достичь единодушия — к одному, в отношении которого в обществе свободных людей такое единодушие наверняка существует. Сейчас часто говорят, что демократия несовместима с „капитализмом“. Если под „капитализмом“ подразумевается конкурентная система, основанная на свободном распоряжении частной собственностью, то гораздо важнее понять, что только в рамках этой системы и возможна демократия. Господство коллективизма неизбежно приведет к ее самоуничтожению.

* * *

Однако мы не собираемся превращать демократию в фетиш. Может быть, наше поколение слишком много говорит и думает о демократии и недостаточно — о ценностях, которым она служит. О демократии нельзя сказать, как лорд Актон — о свободе, что она „не средство достижения высших политических целей. Она сама по себе — высшая политическая цель. Она требуется не для хорошего управления государством, но в качестве гаранта, обеспечивающего нам право беспрепятственно стремиться к осуществлению высших идеалов общественной и частной жизни“. Демократия по сути своей — средство, утилитарное приспособление для защиты и поддержания социального мира и свободы личности. Как таковая, она вовсе не является ни непогрешимой, ни абсолютно надежной. Нельзя также забывать, что часто при автократическом правлении бывает гораздо больше культурной и духовной свободы, чем при некоторых видах демократии — и теоретически допустимо, что при правлении очень однородного и доктринерского большинства, демократия может оказаться не менее тиранической,

чем худшая из диктатур. Мы стремимся доказать не то, что диктатура неминуемо ведет к уничтожению свободы, но что *планирование ведет к диктатуре*, ибо диктатура есть наиболее эффективное орудие насилия и принудительного насаждения обязательных для всех идеалов, без которого нельзя обойтись, если проводить в жизнь централизованное планирование в широких масштабах. Конфликт между демократией и планированием возникает из того простого факта, что демократия препятствует подавлению свободы, которого требует централизованное руководство экономической жизнью. Однако, как только демократия перестает быть гарантией личной свободы, она вполне может существовать в какой-то форме и при некоторых тоталитарных режимах. Когда подлинная „диктатура пролетариата”, пусть даже демократическая по форме, берется осуществлять централизованное руководство экономической системой, она уничтожает свободу личности, по всей вероятности, не менее полно, чем любая из когда-либо существовавших автократий.

Модная ныне сосредоточенность на демократии как главной ценности, оказавшейся под угрозой, таит в себе определенную опасность. Именно этот близорукий подход в значительной степени повинен в весьма распространенном, но ошибочном и ни на чем не основанном убеждении, что пока источником власти в конечном счете является воля большинства, не может существовать произвола. Ложная самоуспокоенность, вытекающая из этого убеждения, и является одной из основных причин того, что люди, как правило, не осознают подлинной грозящей им опасности. Уверенность в том, что полученная в результате демократической процедуры власть не может породить произвола, ничем не подкрепляется; подразумеваемое здесь противопоставление абсолютно неверно: от произвола власть сдерживает не ее источник, а ограничения. Демократический контроль *может* предотвратить перерождение власти в самовластие, но не самим фактом своего существования. Если демократия решается взяться за задачу, реализация которой по необходимости влечет за собой использование власти, не ограниченной никакими твердо установленными рамками, — она неизбежно превращается в деспотию.

Глава 6

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРАВАЗАКОННОСТЬ

Как подтвердили недавние исследования по социологии права, фундаментальный принцип формального права, согласно которому каждый случай нужно рассматривать в соответствии с общими рациональными предписаниями, имеющими минимальное число исключений и позволяющими логически показать, что данный случай подпадает под данное правило, верен только для либеральной конкурентной стадии капитализма.

К. Маннгейм

Условия жизни в свободной стране ярче всего отличаются от условий жизни при деспотизме соблюдением великих принципов, известных под общим названием правозаконности. Если не вдаваться в специальную терминологию, это означает, что во всех своих действиях правительство связано твердо установленными и заранее доведенными до всеобщего сведения правилами; а это позволяет человеку предугадывать, как власти в известных обстоятельствах используют аппарат принуждения, и исходя из этого, с достаточной уверенностью планировать свои дела.¹ Разумеется, этого идеала никогда нельзя достичь в полной мере, поскольку

законодатели, как и лица, на которых возложено отправление правосудия — всего лишь люди, а человеку свойственно ошибаться. Но все же основное содержание принципа правозаконности достаточно ясно: речь идет о том, что сфера, где органы исполнительной власти могут действовать по своему усмотрению, должна быть возможно более ограниченной. Любой закон в какой-то мере ограничивает свободу индивидуума, ограничивая круг средств, которыми люди могут пользоваться для достижения своих целей; однако в условиях господства правозаконности правительство лишено возможности свести на нет результат чьих-то индивидуальных усилий, действуя *ad hoc*.² В рамках установленных правил игры индивидуум может беспрепятственно преследовать свои личные цели и осуществлять свои желания, будучи уверен в том, что правительство не станет использовать свою власть, чтобы нарочно сорвать все его планы.

Таким образом, проведенное нами различие между созданием системы постоянно действующих правовых норм, внутри которых производительную деятельность направляют индивидуальные решения, и централизованным руководством экономикой сверху — это частный случай более широкого различия: различия между правозаконностью и деспотизмом. В первом случае роль правительства ограничивается установлением правил пользования имеющимися ресурсами; для каких целей будут использованы эти ресурсы — решают сами индивидуумы. Во втором — правительство решает, для каких конкретных целей использовать средства производства. Правила первого типа можно выработать заранее, в виде *формальных правил*, не имеющих в виду нужд и потребностей конкретных людей, предназначенных лишь способствовать преследованию ими всевозможных индивидуальных целей. Такие правила рассчитаны, или должны быть рассчитаны, на столь долгий срок, что невозможно знать, кому они помогут больше, а кому меньше. Их можно назвать скорее орудием производства, помогающим людям предсказывать поведение тех, с кем им придется работать, чем мерами по удовлетворению частных нужд.

Экономическое планирование коллективистского типа

неизбежно влечет за собой прямую противоположность сказанного. Плановые органы не могут предоставить неизвестным людям возможности, которые можно использовать в каких угодно целях, и этим ограничиться. Они не могут заранее связать себя формальными правилами общего характера, помогающими избежать произвола. Они должны удовлетворять реальные нужды людей по мере их возникновения, а затем сознательно выбирать между этими нуждами. Им приходится постоянно решать вопросы, на которые формальные правила ответа не дают, причем для решения этих вопросов оказывается необходимым установить иерархию приоритетов среди множества нужд отдельных людей. Когда правительству приходится решать, какое в стране должно быть поголовье свиней, сколько автобусов предназначить на нужды общественного транспорта, какие шахты эксплуатировать или по какой цене продавать обувь, то все эти решения невозможно принять исходя из формальных принципов, заранее, или на длительный срок вперед. Они неизбежно зависят от обстоятельств, и при принятии такого рода решений всегда необходимо будет взаимно уравнивать интересы всевозможных лиц и группировок. В конечном счете решение в пользу тех или иных интересов будет зависеть от чьих-то личных взглядов, которые таким образом станут составной частью законов страны. Подобная привилегия приведет к появлению нового различия в статусе, навязанного народу правительственным аппаратом насилия.

* * *

Только что упомянутое нами различие между формальным правом (или юстицией) и „постановлениями по существу дела” (т. е. принимаемыми вне рамок процессуального права) чрезвычайно важно, но на практике провести это различие в высшей степени затруднительно. Между тем действующий здесь общий принцип довольно прост. Различие между двумя этими видами установлений такое же, как между разработкой определенного „дорожного права” (т. е. свода правил дорожного движения) и распоряжениями, куда

людям ехать; или, еще точнее, между установкой дорожных знаков и приказами, кому по какой дороге ехать. Формальные правила информируют заранее о том, как поступит государство в определенных обстоятельствах, причем обстоятельства эти охарактеризованы в общих чертах, без указания места, времени и конкретных лиц. В них описываются типичные ситуации, в которых может оказаться любой, и они могут пригодиться для самых разнообразных индивидуальных целей. Уверенность в том, что в таких ситуациях государство поступит именно таким, а не другим образом, или потребует от людей именно такого, а не другого поведения, помогает людям при выработке их собственных планов. Иначе говоря, формальные правила — это просто орудия, которые могут пригодиться еще неведомым людям для целей, в которых эти люди решат их использовать, и в обстоятельствах, которые невозможно предусмотреть в деталях. То, что мы *не знаем*, к каким конкретным результатам они приведут, каким конкретным целям послужат и каким конкретным людям помогут, то, что они просто сформулированы так, чтобы оказаться как можно полезнее для всех, кто под них подпадает — именно это и является основным признаком формальных правил (в том смысле, в каком здесь этот термин употребляется). Правила эти не предполагают выбора между конкретными целями или конкретными людьми, ибо мы просто не можем знать заранее, кем и для чего они будут применяться.

В наше время, с его страстью все контролировать, может показаться парадоксом похвала системе, при которой мы будем знать о конкретных последствиях принимаемых государством мер меньше, чем при любой другой, и утверждение превосходства данного метода общественного контроля на том основании, что нам неизвестны его точные результаты. И тем не менее именно это соображение лежит в основе великого либерального „принципа правозаконности”; и если немного развить наши аргументы, мнимый парадокс быстро перестанет быть парадоксом.

* * *

Аргументы, к которым мы прибегнем, двойного рода. Одни из них — экономические, и здесь их можно изложить лишь вкратце. Государству следует ограничиваться установлением правил, применимых к широкому многообразию ситуаций, и предоставлять индивидууму свободу во всем, что зависит от локальных обстоятельств, ибо только те, кого каждый случай непосредственно касается, знают эти обстоятельства и могут согласовать с ними свои действия. Чтобы люди могли эффективно применять это свое знание при разработке планов, у них должна быть возможность предсказать те шаги государства, которые могут как-то на эти планы повлиять. Но для этого необходимо, чтобы действия государства обуславливались жесткими правилами, не зависящими от конкретных, непредсказуемых и не поддающихся учету обстоятельств; при этом конкретные последствия его действий предугадать невозможно. Зато если государство примется руководить действиями индивидуума, чтобы достичь каких-то конкретных целей, именно действия государства будут зависеть от всевозможных сиюминутных обстоятельств, а потому окажутся непредсказуемыми. Отсюда знакомое всем явление: чем больше „планирует” государство, тем труднее становится планировать человеку.

Аргументы второго типа — морально-политические — касаются обсуждаемого вопроса еще более непосредственно. Государство, заранее знающее, на кого распространяются его мероприятия, не оставляет тем, кого они затрагивают, никакой возможности выбора. Всякий раз, когда оно точно предвидит, каковы будут последствия двух разных курсов действий для конкретных людей, оно тем самым делает выбор между различными целями. Если мы хотим создать новые, открытые для всех возможности, которые люди смогут использовать по своему усмотрению, то мы не можем в точности предсказать последствия наших действий. Поэтому нужны общие правила, подлинные законы (в отличие от конкретных распоряжений), действующие в обстоятельствах, которые нельзя предугадать в деталях и чье влияние на конкретные цели и конкретных людей не может поэтому быть известно заранее. В этом, и только в этом смысле

законодатель может быть беспристрастным. Быть беспристрастным — значит не давать ответа на вопросы того типа, которые мы обычно решаем, подбрасывая монетку. В мире, где все было бы заранее предreshено — даже то, какой стороной упадет монетка, — правительство не могло бы пошевелить пальцем и остаться при этом беспристрастным. Но там, где известно, как результаты правительственной политики повлияют на определенных граждан, где эти результаты составляют непосредственную цель правительства — оно *обязано* быть пристрастным. Оно по необходимости обязано принимать чью-то сторону, навязывать народу свои оценки и критерии и, вместо того, чтобы способствовать осуществлению людьми своих собственных целей, оно обязано выбирать цели за них. Как только в момент принятия закона можно предвидеть его конкретные последствия, закон этот перестает быть орудием для человеческого пользования и превращается в орудие воли законодателя, обращенное против людей в его, законодателя, целях. Государство перестает быть утилитарным механизмом, помогающим индивидууму как можно полнее раскрыть свою индивидуальность, и превращается в „моральный институт” — причем слово „моральный” здесь употреблено не как противоположность аморальному, а для обозначения социального института, навязывающего своим членам собственные взгляды по всем вопросам морали (неважно, высоко нравственные или глубоко аморальные). В этом смысле нацистское или любое другое коллективистское государство „морально”, тогда как либеральное государство — нет.

Нам могут сказать, что все это не составляет серьезной проблемы, ибо, учитывая, какие вопросы придется решать экономисту-плановику, он сможет опираться на общепринятые суждения о разумном и справедливом, и ему вовсе не придется руководствоваться своими личными предвзятыми мнениями. Такова обычно точка зрения тех, кто, занимаясь планированием в какой-то отдельной области, обнаружил, что прийти к справедливому с точки зрения всех непосредственно заинтересованных лиц решению не составляет особой трудности. Однако это ничего не доказывает,

по той причине, что планирование, ограниченное какой-то конкретной областью, предполагает предварительную „селекцию по интересам” лиц, участвующих в принятии решения. Люди, кровно заинтересованные в решении конкретного вопроса, не всегда оказываются лучшими судьями интересов общества в целом. Достаточно привести лишь наиболее характерный пример: когда представители труда и капитала в какой-то отрасли промышленности договариваются о политике ограничений, грабя таким образом потребителя, „добычу” обычно нетрудно поделить пропорционально текущим заработкам или по иному аналогичному принципу. Потери, которые распределяются между тысячами и миллионами, обычно либо просто не принимаются в расчет, либо учитываются неадекватно. Чтобы проверить полезность „принципа справедливости” в решении проблем, встающих в связи с экономическим планированием, достаточно приложить этот принцип к какому-то вопросу, где одинаково четко видны плюсы и минусы. Легко увидеть, что в таких случаях никакой общий принцип, вроде „принципа справедливости”, не может подсказать ответа. Когда приходится выбирать между повышением зарплаты врачам и медсестрам, с одной стороны, и дополнительными услугами для больных, или между работой для безработных и повышением зарплаты работающим, ответ может дать лишь полная и завершенная система ценностей, в которой отводится четкое место каждой потребности каждого отдельного лица или группы лиц.

На практике с расширением планирования становится необходимо систематически и все более часто вносить в положения закона оговорки, со ссылками на „справедливость” или „разумность”, т. е. фактически все в большей степени оставлять решение конкретных дел на усмотрение соответствующего судьи или органа власти. Можно было бы написать историю упадка правозаконности, исчезновения правового государства (*Rechtsstaat*), описывая исключительно процесс постепенного просачивания этих расплывчатых формулировок в законодательство и юриспруденцию, растущий произвол, ненадежность и изменчивость законодательства и судопроизводства, а отсюда и растущее не-

уважение к ним, которое в этих обстоятельствах неизбежно становится политическим орудием. В этой связи важно еще раз отметить, что этот процесс упадка законности неуклонно шел в Германии еще до прихода Гитлера к власти и что правительственная политика, весьма продвинувшаяся по пути к тотальному планированию, начала многое из того, что было довершено Гитлером.

Не подлежит сомнению, что планирование влечет за собой сознательную дискриминацию по отношению к нуждам разных людей, выражающуюся на практике в том, что одному человеку разрешается делать то, что другому запрещено. Планирование законодательным путем устанавливает, насколько материально обеспечены будут те или иные люди, что им позволено делать и что иметь. Практически это означает возврат к системе, где определяющую роль играл социальный статус, поворот вспять того поступательного движения, о котором говорится в знаменитой фразе Генри Мэйна: „Развитие передовых обществ до настоящего времени всегда шло от господства статуса к господству договора”. Действительно, с этой точки зрения государство, построенное на правозаконности, с еще большим правом можно рассматривать как подлинную противоположность государству, где все права и обязанности определялись социальным статусом, чем государство, ставящее во главу угла договорные отношения. Именно правовое государство, где верховным авторитетом является формальное право и отсутствуют юридические привилегии для отдельных, назначенных властями лиц, гарантирует равенство перед законом, представляющее собой противоположность деспотическому правлению.

* * *

Из всего сказанного вытекает необходимое, хотя на первый взгляд и парадоксальное, следствие: формальное равенство перед законом несовместимо с какими бы то ни было действиями правительства, направленными на достижение материального или материально-правового равенства между

различными людьми; более того, любой политический курс, ставящий своей целью добиться идеально справедливого распределения, неизбежно ведет к уничтожению правозаконности. Чтобы получить один и тот же результат для разных людей, нужно обходиться с ними по-разному. Дать людям одинаковые объективные возможности — не значит дать им одинаковые субъективные шансы. Нельзя отрицать, что правовое государство порождает экономическое неравенство; единственное, что можно сказать в его защиту — что неравенство это не задумано так, чтобы затрагивать тех или иных конкретных людей заранее известным образом. Весьма показательны, что социалисты (как и нацисты) всегда протестовали против „чисто формального” правосудия, что они всегда возражали против законодательства, не предусматривающего, каков должен быть уровень материального благосостояния частных лиц,³ и всегда требовали „социализации права”, атакуя на принцип независимости судей, и в то же время поддерживали все те направления в правоведении, которые, подобно Freirechtsschule,⁴ подрывали основы принципа правозаконности.

Можно даже сказать, что для эффективности принципа правозаконности сам факт наличия правила, применяемого всегда, без исключений, важнее того, в чем это правило состоит. Часто суть правила не имеет особого значения, лишь бы оно проводилось в жизнь всегда и для всех. Вернемся к уже приводившемуся примеру: неважно, по какой стороне улицы мы все ездим — по левой или по правой, главное — чтобы мы все поступали одинаково. Правило позволяет нам правильно предсказывать поведение других, а для этого необходимо, чтобы оно применялось всегда — пусть даже в каком-то конкретном случае оно может показаться несправедливым.

Противоречием между формальным правосудием и формальным равенством перед законом, с одной стороны, и попытками реально осуществить различные идеалы справедливости и равенства с помощью решений „по существу дела” — с другой, объясняется общераспространенная путаница, связанная с термином „привилегия”, и постоянное зло-

употребление им. Как важнейший пример такого злоупотребления назовем лишь применение этого термина к собственности как таковой. Собственность действительно была бы привилегией, если бы земельная собственность, например, была, как в прошлом, достоянием исключительно тех, кто принадлежал к дворянскому сословию. И она действительно является привилегией, если право производить или продавать те или иные продукты оказывается, как в наше время, исключительно достоянием конкретных, назначенных властями людей. Но называть привилегией частную собственность вообще, которую любой может приобрести по установленным правилам, только из-за того, что приобрести ее могут не все, значит лишить термин „привилегия” всякого смысла.

Непредсказуемость конкретных результатов, являющаяся главной отличительной чертой формальных законов либерального строя, важна также тем, что помогает прояснить и другую путаницу, опровергнув убеждение, что либеральный строй характеризуется бездейтельностью государства. Вопрос о том, должно ли государство „действовать”, или „вмешиваться”, ставит нас перед совершенно ложной альтернативой, а сам термин *laissez-faire* — весьма двусмысленное и вводящее в заблуждение определение принципов либеральной политики. Разумеется, любое государство должно действовать, и каждое его действие есть вмешательство во что-то. Но вопрос не в этом, а в том, может ли индивидуум предвидеть действия государства и учитывать их при формировании собственных планов. Если да, то государство не может контролировать путей применения своего аппарата, зато индивидуум точно знает, гарантирована ли ему защита от постороннего вмешательства и может ли государство сорвать его планы. Государство, контролирующее систему мер и весов (или любым другим образом предотвращающее обман и мошенничество), безусловно, действует, тогда как государство допускающее применение насилия, например, забастовочными пикетами, бездействует. Однако не во втором, а именно в первом случае государство соблюдает либеральные принципы. Сказанное относится и к большинству общих, постоянно действующих правил, устанавливаемых государ-

ством, таких как строительные нормы или заводские правила техники безопасности: в каждом отдельном случае они могут быть разумными или неразумными, но пока они рассчитаны на постоянное действие и не употребляются ни на пользу, ни во вред отдельным людям, они не противоречат либеральным принципам. Конечно, и они, кроме непредсказуемых долгосрочных результатов, повлекут за собой также непосредственные и вполне поддающиеся прогнозированию последствия для отдельных людей; но при этом типе законов непосредственные результаты не ставятся (или во всяком случае не должны ставиться) во главу угла. Но когда эти непосредственные и предсказуемые результаты становятся важнее долгосрочных, мы приближаемся к демаркационной линии, где различие это, каким бы ясным оно ни было в теории, на практике начинает стираться.

* * *

Концепция правозаконности была сознательно развита лишь в либеральную эпоху и является одним из величайших ее достижений, не только как гарантия свободы, но и как юридическое ее воплощение. По словам Иммануила Канта (а до него это почти теми же словами выразил Вольтер), „человек свободен, когда обязан повиноваться не людям, а одним лишь законам”. Однако в качестве туманного идеала она существует по крайней мере со времен Древнего Рима, и за последние несколько столетий никогда еще не находилась под такой серьезной угрозой, как ныне. Представление о том, что власть законодателя безгранична, — в определенной степени результат верховной власти народа и демократического правления. Это мнение еще больше укрепилось благодаря вере в то, что правозаконность не нарушается, пока все действия государства должным образом санкционируются законодательством. Однако такое понимание принципа правозаконности совершенно неверно. Этот принцип не имеет ничего общего с вопросом, являются ли действия правительства законными в юридическом смысле этого слова. Они вполне могут быть таковыми и тем

не менее не соответствовать принципу правозаконности. Тот факт, что кто-то обладает всеми юридическими полномочиями поступать так, как он поступает, не дает ответа на вопрос, предоставляет ли ему закон право чинить произвол, или же недвусмысленно *предписывает*, как именно он должен поступать. Пусть Гитлер получил неограниченную власть строго конституционным путем, и, следовательно, все, что он делает, в юридическом смысле законно. Но кто осмелится на этом основании утверждать, что в Германии по-прежнему царит правозаконность?

Таким образом, говоря, что в планируемом обществе принцип правозаконности не сохранится, мы не имеем в виду ни что действия правительства в нем будут незаконными, ни что само оно непременно будет незаконным. Это означает только, что применение правительственного аппарата насилия в нем больше не будет ограничено и обусловлено заранее установленными правилами. Для осуществления централизованного руководства экономикой можно, и даже необходимо, юридически узаконить то, что фактически остается произволом. Если закон гласит, что такое-то министерство или комитет могут делать что им заблагорассудится, то все, предпринимаемое этим министерством или комитетом, законно — но при этом действия его, безусловно, не соответствуют принципу правозаконности. Предоставив правительству неограниченную власть, можно юридически узаконить любое, самое произвольное установление, и потому демократия может в результате породить самый законченный деспотизм, который только можно себе представить.⁵

Однако если закон обеспечивает властям возможность осуществлять руководство экономической жизнью, то он должен предоставить им полномочия принимать решения и проводить их в жизнь в обстоятельствах, которые нельзя предсказать, и исходя из принципов, не поддающихся формулированию в общем виде. Вследствие этого, по мере расширения масштабов планирования постоянно расширяется практика передачи законодательных полномочий различным министерствам и другим исполнительным органам. Когда перед прошлой войной, разбирая дело, к которому недавно

привлек внимание покойный лорд Хьюарт, судья Дарлинг заявил, что „согласно прошлогоднему постановлению парламента, высшие должностные лица Министерства сельского хозяйства не могут быть привлечены к ответственности за рассматриваемые здесь действия — во всяком случае, не более, чем члены самого парламента”, заявление это тогда еще звучало непривычно. Теперь же подобная практика превратилась в почти повседневное явление. Широчайшие полномочия непрерывно предоставляются все новым и новым исполнительным органам, которые, не будучи связаны жесткими правилами, регулируют различные отрасли человеческой деятельности по своему усмотрению.

Итак, правозаконность подразумевает ограничение подлежащей законодательству сферы общими правилами, свод которых известен под именем формального права; тем самым она исключает законодательство, либо прямо направленное в адрес конкретных людей, либо позволяющее кому-то использовать для такого рода дискриминации государственный аппарат принуждения. Таким образом, вовсе не все регулируется законом, скорее наоборот: государственный аппарат принуждения пускается в ход только в случаях, заранее оговоренных законом, причем так, что способы его применения можно заранее предвидеть. Следовательно, могут существовать законодательные акты, нарушающие принцип правозаконности. Всякий, кто возьмется это отрицать, утверждает тем самым, что вопрос о господстве правозаконности в сегодняшней Германии, Италии или России определяется тем, достигли ли тамошные диктаторы абсолютной власти конституционным путем.⁶

* * *

Неважно, как выражены основные принципы правозаконности: изложены ли они, как в некоторых странах, в виде Билля о правах или Конституции, или же просто являются твердой и непреложной традицией. Однако легко видеть, что такое признание ограниченности законодательных полномочий, какую бы форму оно ни принимало, уже подразуме-

вает признание неотчуждаемых прав личности, нерушимых прав человека.

Трогательным, но показательным примером тупика, в который завела многих наших интеллектуалов вера в несовместимые идеалы, является пылкая защита прав человека таким ведущим пропагандистом тотального централизованного планирования как Герберт Уэллс. Права личности, которые г-н Уэллс надеется сохранить в неприкосновенности, неизбежно окажутся препятствием на пути к планированию, о котором он так мечтает. Он как будто и сам в какой-то мере осознает эту дилемму: не случайно положения созданной им „Декларации прав человека” настолько испещрены оговорками, что теряют всякий смысл. Например, в ней заявляется, что каждый человек „имеет право покупать и продавать без всяких дискриминационных ограничений все, что можно покупать и продавать согласно закону”. Казалось бы, превосходно; однако он тут же зачеркивает это положение, добавляя, что оно применимо к купле и продаже только „в том количестве и с теми оговорками, которых требует общее благо”. А поскольку любые налагающиеся на куплю и продажу ограничения всегда необходимы в интересах „общего блага”, положение это не может гарантировать никаких прав личности. В другом положении „Декларации” заявляется, что каждый человек „может выбирать любую законную профессию” и „имеет право на оплаченный труд и на свободный выбор любой открытой перед ним возможности работы”. Однако здесь не сказано, кто будет решать, „открыта” ли та или иная возможность работы перед тем или иным человеком; дополнительное же условие, согласно которому „человек может предложить свою кандидатуру для определенной должности и имеет право на то, чтобы его заявление было публично рассмотрено, принято или отклонено”, показывает, что г-н Уэллс мыслит в категориях некоего авторитетного органа, который решает, „имеет ли право” человек на ту или иную должность — что, без сомнения, прямо противоположно свободному выбору профессии. Что же касается того, как обеспечить в планируемом мире „свободу путешествий и передвижений”, когда

контролируются не только средства сообщения и валютный обмен, но и размещение промышленных предприятий, или как сохранить свободу печати, когда бумагоснабжение и все каналы распространения печатных изданий контролируются плановыми органами — то все эти вопросы г-н Уэллс, как и прочие сторонники планирования, оставляет без ответа.

В этом отношении гораздо последовательнее те многочисленные сторонники реформ, которые с первых дней социалистического движения нападают на „метафизическую” идею прав личности, утверждая, что в разумно устроенном мире у личности прав не будет, а будут только обязанности. Эта позиция широко распространена теперь среди наших так называемых прогрессистов, и ничем скорее не вызовешь упрека в реакционности, чем протестом против какой-либо меры на основании того, что она нарушает права личности. Даже такой либеральный журнал как *Экономист* несколько лет назад приводил в пример — кого бы вы думали? француз! — ибо те на собственном опыте поняли,

„что демократическое правительство должно всегда (*sic!*) иметь полномочия *in posse*⁷ не меньше диктаторских, не жертвуя при этом своим демократическим и представительным характером. В административных вопросах не существует никакой демаркационной полосы, отграничивающей права личности, неприкосновенность которой правительство было бы обязано соблюдать всегда и независимо от любых обстоятельств. Нет пределов власти, которой может и должно обладать правительство, свободно избранное народом и свободно и открыто критикуемое оппозицией”.

Такое может оказаться неизбежным в военное время, когда приходится ограничивать даже свободную и открытую критику. Но слово „всегда” в процитированном утверждении говорит о том, что *Экономист* считает это не просто печальной необходимостью военного времени. Однако в качестве постоянно действующего принципа такое положение, безусловно, несовместимо с сохранением правозаконности и ведет прямо к тоталитарному государству. А ведь именно так считают все, кто хочет, чтобы правительство руководило экономикой.

Опыт самых разных стран Центральной и Восточной Европы ярко показал, что даже формальное признание прав личности, как и прав национальных меньшинств, теряет смысл в государстве, вступающем на путь полного контроля над экономикой. На их примере видно, что можно проводить политику безжалостной дискриминации национальных меньшинств, используя вполне легальные экономические методы и ни разу не нарушив буквы закона, охраняющего права этих меньшинств. Угнетение при помощи определенной экономической политики сильно облегчалось тем, что определенные отрасли промышленности и виды деятельности были в большой степени сосредоточены в руках национального меньшинства, поэтому многие меры, направленные якобы против той или иной отрасли промышленности или класса общества, на деле были направлены против этого меньшинства. Тем самым почти безграничные возможности дискриминации и угнетения, предоставляемые такими, на первый взгляд, невинными принципами как „правительственный контроль развития промышленности”, были полностью продемонстрированы всем, кто желал увидеть, как выглядят на практике политические последствия планирования.

Глава 7

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ТОТАЛИТАРИЗМ

Контроль производства материальных благ
есть контроль всей человеческой жизни.

Хилэр Беллок

Те сторонники планирования, которые серьезно изучили практические аспекты стоящей перед ними задачи, в большинстве своем пришли к убеждению, что руководство планируемой экономикой должно осуществляться более или менее диктаторским путем. Если вообще можно направленно руководить сложной совокупностью взаимосвязанных видов деятельности, то это должен делать единый коллектив экспертов, а верховная власть должна находиться в руках главнокомандующего. Все это настолько очевидно вытекает из основных принципов централизованного планирования, что встречается с полным пониманием. В утешение нам говорится, что такое авторитарное руководство будет распространяться „только” на экономику. Например, один из виднейших американских сторонников планирования Стюарт Чейз уверяет, что в плановом обществе „политическая демократия сможет по-прежнему существовать, если будет распространяться на все, кроме экономики”. Такого рода заверения обычно сопровождаются намеками на то, что отказ от

свободы в менее важных, или считающихся таковыми, областях жизни даст нам большую свободу в сфере высших устремлений. На этом основании люди, питающие отвращение к самой идее политической диктатуры, зачастую во всеуслышание требуют диктатора в области экономики.

Вышеприведенные аргументы вызывают к нашим лучшим побуждениям и, случается, привлекают на свою сторону самые блестящие умы. Если бы планирование действительно освобождало нас от мелких забот, разделяя таким образом нашу жизнь на повседневный быт и высокие устремления, кто бы выступал против этого идеала? Если бы наша экономическая деятельность действительно затрагивала лишь низкие, даже грязные стороны жизни, то мы, конечно, должны были бы пойти на все, чтобы избавиться от чрезмерной поглощенности материальными заботами, передоверить их какому-нибудь специальному органу и высвободить свой дух для высоких материй.

К сожалению, вера в то, что власть над экономикой — вещь второстепенная, вера, позволяющая людям легко смотреть на угрозу свободе наших экономических начинаний, совершенно необоснованна. Она вытекает из ошибочного представления, согласно которому имеются некие чисто экономические задачи, существующие отдельно от других жизненных задач. Однако, за исключением случаев патологической скупости и стяжательства, такого не бывает. Конечные цели деятельности разумных существ никогда не бывают экономическими. Строго говоря, не существует „экономических мотивов”: существуют лишь экономические факторы, обуславливающие наши возможности в достижении иных целей. То, что в быту носит обманчивое название „экономических мотивов” — это просто стремление приобрести самые широкие возможности, желание обладать средствами для достижения каких-то заранее не установленных целей.¹ Мы хотим иметь деньги потому, что они обеспечивают нам широчайший выбор при пользовании плодами наших трудов. Поскольку в современном обществе все еще налагаемые на нас относительной бедностью узы острее всего ощущаются именно через ограниченность дохода, многие возненавидели

деньги как символ этих уз. Но они принимают за причину способ проявления определенных сил. Гораздо правильнее было бы сказать, что деньги — одно из величайших орудий обретения свободы, придуманных человеком. В существующем обществе именно деньги открывают перед бедняком гораздо большие возможности выбора, чем несколько поколений назад открывались перед богачом. Понять важность этой функции денег легче, представив себе, что произойдет, если, как предлагают многие социалисты, заменить „материальные мотивы” „внеэкономическими стимулами”. Если вознаграждение будет предлагаться не в деньгах, а в общественных отличиях и привилегиях, в виде должностей, дающих власть над другими, лучших жилищных условий и лучшего питания, возможности путешествовать или получить хорошее образование, то это будет означать, что получателю просто больше не предоставляется выбора и что не только размеры вознаграждения, но и конкретная его форма устанавливается теми, кто его выдает.

* * *

Как только мы осознаем, что чисто экономических мотивов не существует, и что доход и убыток — это всего лишь приобретение или потеря каких-то возможностей (до тех пор, пока в нашей власти самим решать, на осуществлении каких наших потребностей или желаний они отразятся), мы сразу увидим большую долю истины в общепринятом мнении, что экономические вопросы затрагивают лишь второстепенные жизненные задачи, и поймем, почему „чисто” экономические соображения часто вызывают такое презрение. В условиях свободной рыночной экономики это мнение в каком-то смысле оправдано — но только в этих условиях. Пока мы можем свободно распоряжаться своими доходами и имуществом, экономический ущерб лишает нас только одного: возможности удовлетворить наименее важные из наших желаний. При „чисто” экономическом ущербе мы по крайней мере можем сделать так, чтобы он отразился лишь на второстепенных наших нуждах; говоря же, что ценность

чего-то нами потерянного гораздо выше его экономической ценности или что ее вообще нельзя оценить экономически, мы хотим сказать, что этот ущерб нельзя перевести из одной сферы в другую. Точно так же обстоит дело и с чисто экономическим выигрышем. Колебания нашей экономической ситуации обычно влияют только на периферию сферы наших потребностей. Есть вещи, которые гораздо важнее всего того, на чем сказываются экономические приобретения или убытки, и мы ставим их выше жизненного комфорта и даже многих предметов первой необходимости. В сравнении с этими ценностями „презренный металл”, или вопрос о повышении или понижении уровня нашего материального благосостояния, представляется маловажным. Поэтому многие считают, что экономическое планирование, затрагивающее лишь наши экономические интересы, не может серьезно угрожать основным жизненным ценностям.

Однако такое заключение ошибочно. Экономические ценности второстепенны именно потому, что мы свободны решать, что для нас более важно, а что менее. Другими словами, в современном обществе мы *сами решаем* свои экономические проблемы. Контроль наших экономических дел фактически означает контроль каждого нашего шага, если только мы не объявим заранее, какую именно цель преследуем. Но мало объявить о своей цели — нужно еще, чтобы она получила соответствующую санкцию вышестоящих органов. Таким образом, нас действительно будут контролировать во всем.

Поэтому вопрос, встающий в связи с экономическим планированием, заключается не в том, сможем ли мы удовлетворять более или менее важные для нас потребности так, как нам заблагорассудится. Вопрос в том, *кто* будет решать, что более важно, а что менее: мы или плановые органы. Экономическое планирование будет затрагивать не только второстепенные нужды, презрительно именуемые чисто экономическими: у нас как личностей будет отнято право самим решать, что считать второстепенным, а что нет.

Органы власти, управляющие всей экономической жизнью, будут контролировать не только „прозаические” сторо-

ны жизни; они будут ведасть распределением лимитированных средств достижения всех наших целей. Органы, контролирующие всю экономическую деятельность, контролируют тем самым и средства достижения всех целей, а потому именно им надлежит решать, какие из этих целей преследовать, а какие — нет. В этом-то и заключается вся суть проблемы. Экономический контроль — это не просто контроль одной из областей человеческой жизни, никак не связанной с остальными: это контроль над средствами достижения *всех* наших целей. Но ведь тот, в чьих руках сосредоточена власть над средствами, должен решать, каким целям служить, какие ценности выше, а какие ниже — словом, во что верить и к чему стремиться. Централизованное планирование означает, что экономические вопросы будут решаться не индивидуумом, а обществом; но тогда именно общество, или, вернее, его представители, должны устанавливать иерархию важности тех или иных нужд.

Так называемая экономическая свобода, которую нам сулят сторонники планирования, именно и означает, что нас освободят от необходимости самим решать экономические задачи, и что зачастую связанный с этим нелегкий выбор будет делаться за нас. Поскольку в современных условиях мы почти во всем зависим от средств, которыми нас обеспечивают другие люди, экономическое планирование означает руководство практически всей нашей жизнью. Едва ли хоть один ее аспект, от первоочередных нужд до семейных и дружеских отношений, от характера работы до проведения досуга, не подвергнется „направленному контролю”² плановых органов.

* * *

Если планирующие органы по какой-то причине откажутся от использования прямого контроля над потреблением, их власть над нашей частной жизнью не станет от этого меньше. Вероятно, в планируемом обществе и будет в какой-то степени применяться нормирование продуктов и товаров или иные подобные механизмы, но власть планирующих

органов над нашей жизнью основана не на этом, и ее эффективность не уменьшится, если потребителю будет предоставлено номинальное право тратить свои доходы по своему усмотрению. Подлинным источником власти правящих органов над потребителем в плановом обществе будет контроль производства.

Свобода выбора в конкурентном обществе зиждется на том, что если одно лицо отказывается удовлетворить наши желания, мы можем обратиться к другому. При столкновении же с монополистом мы оказываемся в его власти. А ведь органы, руководящие всей экономикой, будут самым могущественным монополистом, которого только можно себе представить. По всей вероятности, мы можем не опасаться того, что они будут использовать свою власть точно таким же образом, как частный монополист, поскольку вряд ли в их цели будет входить извлечение максимальной прибыли с помощью введения грабительских цен; и все же только от них будет целиком зависеть, что мы получим и на каких условиях. Они будут не только решать, какие товары и услуги будут нам доступны, и в каких количествах, но и руководить их распределением среди различных регионов и групп населения, осуществляя при желании дискриминацию в любых масштабах. Если вспомнить, почему большинство людей высказывается за планирование, можно ли усомниться, что эту власть обратят на достижение целей, одобряемых руководящими органами, и запрет целей, ими не одобряемых?

Власть, даваемая контролем над производством и ценами, почти безгранична. В конкурентном обществе цена, которую приходится платить за товар, то есть обменный курс, по которому можно получить одну вещь в обмен на другую, зависит от множества других товаров, приобретая один из которых, мы отнимем его у других членов общества. Цена эта не обусловлена ничьей сознательной волей; к тому же, если один способ достижения цели окажется слишком дорогостоящим, ничто не мешает нам попробовать другие. Препятствия у нас на пути вызваны не чьим-то неодобрением наших целей, а тем, что те же средства требуются кому-то другому. В управляемой сверху экономике, где цели конт-

ролируются правительством, это последнее, несомненно, будет своей властью способствовать реализации одних целей и мешать осуществлению других. Не наше собственное, а чье-то чужое мнение будет определять, что для нас желательно, а что нет, а в конечном итоге и то, что мы получим. А поскольку во власти руководящих органов будет пресечь любые попытки уклониться от выполнения их директив, они будут регулировать потребление не менее эффективно, чем прямо указывая, как нам тратить свои доходы.

* * *

И все же мы окажемся под властью правящих органов, организующих и „направляющих” нашу повседневную жизнь, не только, и даже не столько, в качестве потребителей. Еще большее давление будет оказываться на нас как на производителей. Два эти аспекта нашей жизни неотделимы друг от друга; а если учесть, что большинство из нас проводит на работе большую часть жизни и именно работа обычно определяет, где и среди каких людей мы живем, то ясно, что свобода в выборе работы, возможно, еще важнее для нашего благополучия, чем свобода тратить в часы досуга то, что мы заработали.

Несомненно, даже в лучшем из миров свобода выбора занятия, приносящего доход, будет весьма ограниченной. Лишь немногие располагают в этом отношении обширными возможностями. Но важно то, что какой-то выбор у нас есть, что мы не привязаны намертво к определенной работе, выбранной нами или за нас; что если одно место станет совершенно невыносимым или если мы всем сердцем стремимся перейти на другое, это почти всегда можно осуществить, чем-то пожертвовав. Нет ничего ужасней сознания, что никакие твои усилия не могут ничего изменить; и если даже у нас никогда не хватит духу принести требуемую жертву, уже само сознание того, что мы *могли бы* это сделать, если бы очень захотели, позволяет примириться с ситуациями, которые иначе были бы совершенно невыносимыми.

Я не хочу этим сказать, что в этом отношении все идеаль-

но сейчас или было идеально в самом что ни на есть либеральном прошлом, и что нельзя расширить открытые перед людьми возможности выбора. Здесь, как и в других областях жизни, государство может многое сделать — например, обеспечивая распространение информации или помогая людям при смене места жительства. Но действительно расширить человеческие возможности могут лишь государственные меры, прямо противоположные столь пропагандируемому ныне „планированию”. Правда, его сторонники обещают, что в „новом плановом мире” свободный выбор занятия полностью сохранится, а то и расширится. Но они обещают больше, чем сумеют выполнить. Тот, кто берется за планирование, должен регулировать либо количество людей, выбирающих ту или иную профессию, либо условия оплаты их труда, либо и то, и другое. Почти во всех известных случаях планирования одним из первых шагов было введение подобного рода предписаний и ограничений. Не нужно слишком богатого воображения, чтобы представить себе, во что превратится обещанная „свобода выбора занятия” в условиях надзора единого планового органа. Эта „свобода выбора” станет чистой фикцией и сведется к пустому обещанию не проводить дискриминации там, где она органически присуща самой системе. Единственное, на что еще можно будет надеяться — что хоть отбор кандидатов будет проводиться в соответствии с какими-то твердо установленными критериями (которые сами власти считают „объективными”).

Если плановые органы ограничатся выработкой твердых условий труда и заработной платы и будут регулировать численность работников путем изменения этих условий, результат будет практически тот же. Определенная, предписанная правительством заработная плата преградит целым группам людей доступ ко многим профессиям не менее эффективно, чем фактический запрет. В конкурентном обществе некрасивая девушка, страстно мечтающая стать продавщицей, физически слабый юноша, стремящийся получить работу, на которой его слабость является препятствием, как и вообще люди, на первый взгляд менее способные или менее подходящие, не обязательно исключаются;

если они достаточно высоко ценят какую-то должность, то зачастую могут сделать первые шаги, чем-то пожертвовав в финансовом отношении, а позднее — продвигаться благодаря не бросающимся в глаза достоинствам. Но когда власти устанавливают заработную плату для целой категории, и отбор кандидатов производится при помощи объективного теста или анкеты, то стремление таких людей получить именно эту работу учитываться не будет. Человек с нестандартными квалификациями или необычным складом характера не сможет более прийти к договоренности с тем работодателем, который, быть может, в данном случае даже был бы склонен согласиться с необычными запросами. В результате человек, предпочитающий ненормированный рабочий день или даже беспечное существование с небольшим и, возможно, не гарантированным доходом ежедневной рутине, лишится выбора. Условия всегда и всюду будут такими, какими они неизбежно в какой-то мере являются в большой организации — а может быть и худшими, поскольку мы не сможем даже надеяться, что в другом месте все будет по-другому. Мы лишимся права действовать рационально или эффективно только там и тогда, когда считаем нужным; нам всем придется подлаживаться под стандарты, которые вынуждены будут установить плановые органы для упрощения своей задачи. Чтобы справиться с этой гигантской задачей, им придется свести все многообразие человеческих способностей и склонностей к нескольким взаимозаменяемым категориям и сознательно игнорировать „менее важные” различия между людьми. Цель планирования якобы заключается в том, чтобы человек перестал быть простым средством; на деле же план не может учитывать личные симпатии и антипатии, и поэтому личность превратится в голое орудие, используемое властями для служения разного рода абстракциям, таким как „всеобщее благо” или „общественное благосостояние”.

В конкурентном обществе можно иметь все (или почти все), если заплатить за это достаточно высокую цену — хотя зачастую эта цена оказывается невысказанно высокой. Принципиальное значение этого факта трудно переоценить. Альтернативой этой ситуации является, однако, вовсе не

полная свобода выбора, а приказы и запреты, которым мы должны повиноваться, или, в крайнем случае, благосклонность и даже покровительство власть имущих.

Альтернатива эта осознается далеко не всеми, и многие окончательно запутались во всех этих вопросах. Вот один весьма показательный пример: тот факт, что в конкурентном обществе можно иметь почти все, если достаточно дорого за это заплатить, теперь стало принято причислять к порокам этого общества. Рассмотрим эту точку зрения подробнее. Итак, когда мы утверждаем, что в альтернативном, плановом обществе будет множество вещей, которые *нельзя* будет иметь ни за какие деньги, а это лишает нас возможности жертвовать своими менее важными потребностями во имя высших ценностей (поскольку выбор того, какие ценности важнее, будет делаться за нас), то наши оппоненты заявляют в ответ, что нельзя включать высшие ценности в систему „денежных расчетов”, как в приведенном выше рассуждении, поскольку эти ценности не измеряются в деньгах; следовательно, то общество, где „все продается”, безнравственно; следовательно, в справедливом обществе все должно быть именно так, как описывает выше автор, пытающийся нас запугать. Признаться, такое желание выглядит довольно странно и вряд ли свидетельствует о большом уважении к достоинству личности. Да, часто жизнь и здоровье, красоту и добродетель, честь и спокойствие духа можно сохранить только ценой значительных материальных затрат, и кто-то при этом должен делать выбор — все это так же неоспоримо, как и то, что мы не всегда готовы идти на материальные жертвы, необходимые для того, чтобы оградить эти высшие ценности от любого ущерба. К примеру, мы бесспорно могли бы свести число несчастных случаев на дорогах к нулю, если бы согласились заплатить за это определенную цену (в данном случае, если уж ничего иного нельзя было бы придумать, можно было бы попросту уничтожить все автомобили). Можно привести сотни других примеров того, как мы постоянно рискуем жизнью, здоровьем и всеми высшими духовными ценностями — и собственными, и чужими — ради того самого, столь презираемого нами материального ком-

форта. Да иначе и быть не может, ибо для достижения всех наших целей мы располагаем лишь ограниченным набором тех же самых средств: осуществляя одну из них, мы всегда делаем это в ущерб прочим целям и ценностям. Поэтому мы не могли бы стремиться ни к чему иному, кроме абсолютных ценностей, если бы ими ни при каких обстоятельствах нельзя было рисковать во имя чего-то другого.

Нет ничего удивительного в том, что люди хотят избавиться от нелегкого выбора, часто навязываемого им суровой действительностью. Но немногие согласны просто переложить этот выбор на кого-то другого; все, чего они хотели бы — чтобы вообще отпала необходимость делать выбор. При этом люди слишком склонны верить, что эта необходимость в действительности вовсе не является такой уж неизбежной, а лишь навязана нам конкретной экономической системой, в которой мы живем. На самом же деле то, чего люди не хотят терпеть — это нехватка материальных благ.

Желание верить, что с нехваткой материальных благ (или, выражаясь более абстрактно, с экономическими трудностями) покончено раз и навсегда, подкрепляется безответственными разговорами о „потенциальном изобилии” — которое, если бы было реальным фактом, действительно означало бы исчезновение экономических трудностей, обуславливающих неизбежность стоящего перед нами выбора. Но эта приманка, под разными именами служившая социалистической пропаганде столько, сколько существует социализм — такая же вопиющая ложь сегодня, как и сто лет назад. За все это время ни один из тех, кто ею пользовался, не выступил с конкретным планом — как практически добиться увеличения объема выпускаемой продукции настолько, чтобы ликвидировать бедность (вернее, то что у нас считается бедностью) хотя бы только в Западной Европе, не говоря уже обо всем мире. Читатель может быть уверен, что всякий, кто толкует о потенциальном изобилии, либо недобросовестен, либо не знает, о чем говорит.³ И все же именно эта иллюзорная надежда, как ничто иное, толкает нас на путь к планированию.

Хотя массовое движение все еще продолжает питаться

подобными иллюзиями, все большее число исследователей, занимавшихся этой проблемой, отказывается от взгляда, что плановая экономика позволит добиться значительно более высокой производительности труда, чем конкурентная. Даже многие экономисты социалистического толка, серьезно изучавшие вопросы централизованного планирования, довольствуются теперь надеждой на то, что экономическая эффективность планового общества будет не меньше, чем у конкурентного; теперь они стоят за планирование не потому, что оно принесет повышение производительности, а потому, что оно обеспечит более справедливое и беспристрастное распределение материальных благ. Это единственный довод в пользу планирования, на котором действительно можно настаивать. Бесспорно, если мы хотим распределять блага в соответствии с какими-то заранее установленными нормами, если мы хотим сознательно решать, кому что причитается, мы должны планировать всю экономику. Однако ценой, которую придется заплатить за осуществление чьего-то идеала справедливости, может оказаться такое угнетение и недовольство населения, к которому никогда бы не могла привести столь поносимая ныне „свободная игра экономических сил”.

* * *

Было бы серьезным самообманом, если бы в ответ на высказанные опасения мы начали успокаивать себя тем, что централизованное планирование означает просто возврат, после краткого междуцарствия свободной экономики, к ограничениям и предписаниям, управлявшим экономической деятельностью в течение многих веков, а потому личная свобода будет нарушаться при нем не больше, чем до эпохи *laissez-faire*. Это опасная иллюзия. Даже в периоды самой строжайшей регламентации экономики в европейской истории регламентация эта сводилась к созданию общего и практически неизменного свода правил, рамки которого предусматривали широкое поле деятельности, где индивидуум сохранял полную свободу. Тогдашний аппарат

контроля годился для проведения в жизнь лишь директив весьма общего характера. И даже там, где контроль этот был наиболее строгим, он распространялся только на те виды деятельности, через посредство которых человек участвовал в общественном разделении труда. В гораздо более обширной сфере, где он жил тем, что производил сам, он был волен делать все, что хотел.

Ныне положение в корне изменилось. На протяжении эпохи либерализма процесс общественного разделения труда зашел так далеко, что теперь почти любой из видов нашей деятельности представляет собой часть этого процесса. Повернуть назад мы не можем, ибо только благодаря обобществлению труда можно поддерживать более или менее приличный, по нашим теперешним стандартам, уровень жизни в условиях огромного роста населения. И именно по этой же причине замена конкуренции планированием потребует гораздо более широкого централизованного руководства всеми сторонами нашей жизни, чем когда бы то ни было в истории. Руководство это нельзя будет ограничить чисто экономической сферой, так как теперь почти все стороны нашей жизни зависят от чьей-то экономической деятельности.⁴ Страсть к „коллективному удовлетворению потребностей“, при помощи которой наши социалисты так хорошо расчистили путь тоталитаризму и которая требует, чтобы мы занимались и делом, и удовольствием в положенное время и в положенной форме, разумеется, в какой-то степени предназначена для целей политического воспитания. Но в то же время — это и результат особенностей самой системы экономического планирования, состоящий в том, что нас лишают выбора, давая взамен то, что больше всего подходит для плана, и притом в предписанный планом момент.

Часто говорят, что политическая свобода — ничто без свободы экономической. Это верно, но в смысле, почти противоположном тому, который вкладывают в это утверждение сторонники планирования. Свобода экономическая, являющаяся предпосылкой всякой другой, не может быть свободой от экономических забот, которую нам обещают

социалисты и которой можно достичь, только одновременно избавив человека от необходимости и от *возможности* выбора; это свобода экономической деятельности, неизбежно влекущая за собой риск и ответственность, связанные с правом выбора.

Глава 8

КТО КОГО ?

Лучшая из дарованных миру возможностей
пропала втуне из-за страсти к равенству,
погубившей всякую надежду на свободу.

Лорд Актон

Показательно, что наиболее часто против конкуренции возражают на том основании, что она „слепа”. Нелишне напомнить, что древние изображали богиню правосудия с завязанными глазами, что служило символом ее беспристрастия и справедливости. У конкуренции, быть может, немного общего со справедливостью, но одно общее достоинство у них есть: и та, и другая „не взирают на лица”. Правовые нормы, не позволяющие заранее предсказать, кто от их применения выиграет, а кто проиграет, бесспорно, важны; но не менее важно и то, что в условиях конкурентной системы неизвестно заранее, кому повезет, а кому нет, а „поощрения” и „наказания” распределяются не в зависимости от чьего-то личного мнения о том, кому что полагается, а от способностей и удачливости самих людей. Это важно еще и потому, что при наличии конкуренции случай и везение зачастую играют столь же существенную роль, как способности, мастерство или дар предвидения.

Неверно думать, что выбор, перед которым мы стоим — это выбор между системой, где каждый получает по заслугам в соответствии с некими абсолютными и универсальными критериями, и системой, где судьба человека в какой-то мере определяется случайностью или везением. В действительности это выбор между системой, при которой решать, кому что причитается, будут несколько человек, и системой, при которой это зависит, хотя бы отчасти, от способностей и предприимчивости самого человека, а отчасти — от непредсказуемых обстоятельств. То, что в мире свободного предпринимательства шансы неравны, ибо сам этот мир по природе своей зиждется на частной собственности и (быть может, с меньшей неизбежностью) на праве наследования, дела не меняет. Факты говорят о том, что вполне возможно уменьшить это неравенство в той мере, в какой позволяют врожденные различия, сохранив безличный характер конкуренции, при которой каждый может попытаться счастья и ниши взгляды на то, что было бы правильным или желательным, не являются обязательными для всех.

В конкурентном обществе у бедных гораздо более ограниченные возможности, чем у богатых, и тем не менее, бедняк в таком обществе намного свободнее человека с гораздо лучшим материальным положением в обществе другого типа. При конкуренции у человека, начинающего карьеру в бедности, гораздо меньше шансов достичь богатства, чем у человека, унаследовавшего собственность; однако это не только возможно, но более того, конкурентный строй — единственный, где человек зависит лишь от самого себя, а не от милости сильных мира сего, и где никто не может помешать его попыткам достигнуть намеченной им цели. Люди забыли, что такое несвобода; поэтому они часто упускают из виду тот очевидный факт, что низкооплачиваемый неквалифицированный рабочий в Англии — практически в гораздо большей степени хозяин своей судьбы, чем мелкий предприниматель в Германии или высокооплачиваемый инженер или директор — в России. О чем бы ни шла речь — о перемене работы или места жительства, о выражении собственных взглядов или о проведении досуга — ему, возможно, при-

дется заплатить за следование своим склонностям дорогой, для многих даже слишком дорогой ценой, но перед ним нет никаких абсолютных препятствий, он не рискует физической безопасностью и свободой, и ничто не привязывает его насильно к работе, месту жительства или социальному окружению, которые отведены ему властями.

В большинстве своем социалисты будут считать свой идеал достигнутым, если чисто нетрудовые доходы от собственности будут упразднены, а различия между трудовыми доходами останутся такими же, как сейчас.¹ Но они забывают, что с передачей всех средств производства в руки государства от его действий будут фактически зависеть все иные доходы. Тем самым государству дается огромная власть, и в этих обстоятельствах требование, чтобы оно использовало ее для целей „планирования”, означает, что оно должно пользоваться этой властью, полностью отдавая себе отчет во всех возможных последствиях своих действий.

Ошибкой было бы считать, что власть, которой таким образом облачается государство, просто переходит из одних рук в другие. На деле это новый вид власти, которым в конкурентном обществе не обладает никто. Пока собственность раздроблена между множеством владельцев, ни один из них не обладает исключительной властью определять размер личных доходов и общественное положение отдельных граждан — вся его власть над людьми состоит лишь в том, что он может предложить им лучшие условия, чем кто-либо другой.

Наше поколение забыло, что система частной собственности — важнейшая гарантия свободы не только для владельцев собственности, но и для тех, у кого ее нет. Только благодаря тому, что контроль над средствами производства распределен между множеством независимых друг от друга людей, никто не имеет над нами абсолютной власти, и мы сами можем решать, чем мы будем заниматься. Если же все средства производства окажутся в одних руках, то их владелец — будь то номинальное „общество” или диктатор — получит над нами неограниченную власть. Можно ли усомниться, что представитель расового или религиозного мень-

шинства, не имеющий собственности, фактически обладает большей свободой, пока его соплеменники или единоверцы владеют частной собственностью и, таким образом, могут нанять его на работу, чем в том случае, когда частная собственность будет уничтожена, а он станет обладателем номинального „пая” в собственности общественной? Или что у мультимиллионера, оказавшегося моим соседом, а может быть, и работодателем, надо мной гораздо меньше власти, чем у ничтожнейшего чиновника, в чьих руках государственный аппарат насилия и от чьей прихоти зависит, позволено ли мне будет жить и работать? И кто возьмется отрицать, что общество, в котором власть в руках богатых, все равно лучше общества, в котором богатыми могут стать только те, в чьих руках власть?

Следить за тем, как эту истину открывает для себя такой известный старый коммунист как Макс Истмэн — грустное, но в то же время обнадеживающее зрелище:

„Теперь мне ясно (пишет он в недавно опубликованной статье) — хотя, должен признаться, я долго шел к этому выводу — что институт частной собственности — один из важнейших столпов той ограниченной свободы и равенства, которые Маркс надеялся безгранично расширить, уничтожив этот институт. Как ни странно, первым это понял сам Маркс. Именно он, оглянувшись назад, заметил, что предпосылкой для возникновения и развития всех наших демократических свобод было возникновение частного капитала и свободной торговли. Но ему так и не пришлось в голову посмотреть вперед и сообразить, что в таком случае с уничтожением свободной торговли эти свободы также могут исчезнуть”.²

* * *

Иногда в ответ на такого рода опасения говорят, что планирующим органам совершенно незначим устанавливать размеры личных доходов. Определение части национального дохода, приходящейся на долю той или иной категории людей, связано с настолько очевидными социально-политическими

трудностями, что даже закоренелый сторонник планирования трижды подумает, прежде чем возложить на кого-либо эту задачу. Вероятно, каждый, кто понимает, чем это чревато, предпочел бы ограничить планирование производственной сферой и применять его только для „рациональной организации производства”, оставив сферу распределения, насколько возможно, во власти безличных сил. Разумеется, нельзя, руководя производством, не оказывать какого-то влияния на распределение, и никакие планирующие органы не захотят всецело отдать распределение на волю стихийных сил рыночной экономики. Вероятно, все они предпочли бы просто следить за тем, чтобы распределение соответствовало неким общим нормам справедливости и беспристрастия, избегать крайностей и поддерживать справедливое соотношение между вознаграждением основных классов общества, не беря на себя ответственности за положение конкретных людей внутри классов и за градации между небольшими группами и отдельными людьми.

Как мы уже видели, тесная взаимосвязь всех экономических явлений затрудняет ограничение сферы планирования рамками, выбираемыми по нашему желанию, и когда мероприятия, тормозящие свободное функционирование рынка, превысят какой-то определенный предел, планирующим органам придется расширять контроль до тех пор, пока он не станет всеобъемлющим. Экономические причины, делающие невозможным прекращение сознательного контроля там, где мы того пожелаем, подкрепляются определенными общественно-политическими тенденциями, усиливающимися по мере расширения сферы планирования.

Как только постепенное осознание новой ситуации превращается во всеобщую уверенность, что теперь социальное положение человека определяется не безличными силами, а сознательными решениями властей, отношение людей к своему социальному положению неизбежно меняется. Неравенство, кажущееся несправедливым тем, кто от него страдает, разочарования, представляющиеся незаслуженными, и неудачи, ничем не вызванные, будут существовать всегда. Но когда такое случается в сознательно управляемом

сверху обществе, люди реагируют на это совсем иначе. Неравенство, обусловленное безличными силами, переносится легче и затрагивает человеческое достоинство в гораздо меньшей степени, чем неравенство намеренное. Если в конкурентном обществе какая-то фирма сообщает человеку, что не нуждается в его услугах или не может ему предложить лучшей работы, в этом нет никакого неуважения, никакого оскорбления достоинства. Правда, продолжительная массовая безработица может действовать на людей аналогичным образом, но для борьбы с этим бичом нашего общества существуют иные, и лучшие, методы, чем централизованное руководство. Однако безработица или потеря дохода, выпадающие на чью-то долю в любом обществе, безусловно, менее унижительны, если являются результатом неудачи, а не навязаны властями. Каким бы горьким ни был этот опыт, в планируемом обществе он окажется еще горше. Там придется решать вопрос не о том, нужен ли человек для определенной работы, а о том, нужен ли он вообще, и если нужен, то в какой степени. Его место в жизни и в обществе будет определяться решением властей.

Люди покорно переносят страдания, которые могут выпасть на долю любого, но им гораздо труднее покориться страданиям, вызванным постановлением властей. Плохо быть винтиком в безличном механизме, но в тысячу раз хуже, когда ты не можешь его покинуть, когда ты намертво прикреплен к месту и начальнику, выбранным кем-то за тебя. Всеобщее недовольство своей участью неизбежно растет с сознанием, что участь эта сознательно кем-то предрешена.

Вступив на путь планирования, чтобы достичь справедливости, правительство не может снять с себя ответственности за судьбу и социальное положение каждого человека. В планируемом обществе все будут знать, что им живется лучше или хуже, чем другим, не из-за непредвиденных и никому неподвластных обстоятельств, а потому, что так хочет какой-нибудь правящий орган. Поэтому старания улучшить свое положение сведутся не к тому, чтобы предусмотреть эти обстоятельства и к ним подготовиться, а к попыткам добиться расположения власть имущих. Кошмар английских

политических мыслителей девятнадцатого века — государство, в котором „не будет иного пути к богатству и почету, чем путь через коридоры власти”³ — осуществится с полнотой, какой они не могли в то время и вообразить — но ставшей вполне привычным делом в некоторых странах, с тех пор уже пришедших к тоталитаризму.

* * *

Как только государство берет на себя планирование всей экономики, центральным политическим вопросом становится вопрос о надлежащем общественном положении отдельных лиц и социальных групп. Поскольку государство единолично и в принудительном порядке решает, кому что причитается, единственной формой власти, имеющей какую-то ценность, оказывается участие в принятии и проведении в жизнь такого рода решений. Все экономические и общественные вопросы превращаются, таким образом, в политические, в том смысле, что решение их зависит исключительно от того, в чьих руках находится аппарат насилия, от того, чьи взгляды будут всегда одерживать верх.

Кажется, знаменитую фразу „Кто кого?”, олицетворяющую в первые годы советской власти основной вопрос, стоявший перед социалистическим обществом, ввел в употребление сам Ленин.⁴ Этот вопрос не сводится к простейшей дилемме непримиримой борьбы за власть — кто кого одолеет, „мы — их, или они — нас”, по выражению того же Ленина. Он в максимально сжатом виде заключает в себе принципиальнейший вопрос о том, кто будет субъектом, а кто — объектом действий, определяющих условия жизни каждого человека при социализме. Кто будет планировать и кого это планирование будет обязывать что-то делать? Кто будет руководить и кого будут заставлять подчиняться? Кто определяет социальное положение других людей и кто вынужден получать лишь то, что ему выделено другими? Все это неизбежно превращается в главные вопросы, которые может решить только верховная власть.

Не так давно один американский политолог расширил

ленинскую фразу и заявил, что основной проблемой, стоящей перед каждым правительством, является вопрос, „кто получает что, когда и на каких условиях”. В каком-то смысле это верно. Любое правительство оказывает влияние на социальное положение различных людей по отношению друг к другу, и при любой системе практически нет таких сторон жизни, которых не может затронуть никакое правительственное мероприятие. Пока правительство хоть что-то делает, его действия всегда будут как-то влиять на то, „кто получает что, когда и на каких условиях”.

Однако здесь надо провести два фундаментальных различия. Во-первых, те или иные конкретные меры можно принимать, не имея представления о том, как они повлияют на конкретных лиц, и не имея в виду этих конкретных последствий. Это мы уже рассмотрели. Во-вторых, вопрос о том, определяется ли решением правительства *все*, что *всегда* получает *каждый* человек, или только *некоторые* вещи, которые *иногда* получают *некоторые* люди, на *некоторых* условиях, зависит от пределов власти, которой располагает правительство. Именно в этом и заключается разница между свободным строем и тоталитаризмом.

Контраст между либеральным и полностью планируемым обществом находит свое характерное выражение в общих жалобах нацистов и социалистов на „искусственное отделение политики от экономики”, и столь же едином требовании главенства политики над экономикой. Вся эта фразеология означает, по-видимому, что сейчас экономическим силам не только позволено работать на цели, не являющиеся частью правительственной политики, но что их можно использовать безотносительно от правительственного руководства и в целях, не одобряемых правительством. Альтернатива подобной ситуации — это не просто единая власть, ибо правящая верхушка в этом случае будет контролировать все цели отдельных граждан и, в частности, полностью определять место, отведенное каждому в обществе.

* * *

Итак, не подлежит сомнению, что правительству, взявшему на себя руководство экономикой, придется употребить свою власть на осуществление чьего-то идеала справедливого распределения. Но как за это взяться, согласно каким принципам? Существует ли точный ответ на неминуемые бесчисленные вопросы об относительных правах и заслугах, которые придется решать? Существует ли приемлемая для всех разумных людей шкала ценностей, оправдывающая новую общественную иерархию и удовлетворяющая требованиям справедливости?

Четкий ответ на все эти вопросы мог бы дать лишь один принцип, одно простое правило: равенство, полное и абсолютное, во всех областях жизни, контролируемых человеком. Если бы все стремились именно к этому (не будем вдаваться в обсуждение того, осуществимо ли это, т. е. можно ли при этом обеспечить адекватное стимулирование), то туманная идея справедливого распределения стала бы четкой и ясной, и у плановых органов появился бы четкий ориентир. Но совершенно неверно думать, что люди действительно хотят такого механического равенства. Ни одно социалистическое движение, стремившееся к полному равенству, никогда не пользовалось серьезной поддержкой. Социализм обещал не абсолютно равное, а более справедливое и *более равное* распределение. Единственной всерьез поставленной целью является не равенство в абсолютном смысле, а „большее равенство”.

Эти идеалы, как будто столь близкие, в интересующем нас отношении далеки как небо и земля. Абсолютное равенство ставит перед планирующими органами четкую задачу, тогда как стремление к большему равенству — является чисто негативным и выражает всего лишь неудовлетворенность нынешним положением вещей. И пока мы не готовы признать желательными любые шаги, ведущие к полному равенству, идея „большого равенства” не даст ответа ни на один из вопросов, которые придется решать плановым органам.

Все это не просто игра словами: перед нами вопрос, решающая важность которого затемнена сходством терми-

нов. Принятие принципа полного равенства немедленно разрешило бы все проблемы относительно того, кто чего заслуживает, тогда как формула „большее равенство” практически не решает ни одной из них. Она так же неопределенна, как фразы „общественное благо” и „всеобщее благосостояние”. Она не освобождает от необходимости в каждом конкретном случае делать выбор между различными людьми и социальными группами и ни в чем этот выбор не облегчает. Единственное, что она нам говорит — что нужно как можно больше забрать у богатых. Но когда дело доходит до „дележа добычи”, полученной в результате экспроприации, проблема выглядит так же, как если бы принципа „большого равенства” никогда не было и в помине.

* * *

Большинству людей трудно признать, что у нас нет моральных критериев, позволяющих решить эти вопросы раз и навсегда — если не идеально, то по крайней мере лучше, чем при конкуренции. Разве у каждого из нас нет определенного представления о „справедливой цене” или „справедливой заработной плате”? Разве не можем мы положиться на человеческое чувство справедливости? И даже если в данный момент невозможно достичь соглашения относительно того, что в том или ином конкретном случае справедливо, а что нет — разве из общих представлений не выработаются более четкие нормы вскоре после того, как люди увидят свои идеалы воплощенными в жизнь?

К сожалению, надеяться на это нет оснований. Те нормы, какие у нас есть, созданы конкурентным строем, при котором мы живем, и с исчезновением конкуренции неизбежно также вскоре исчезнут. Под „справедливой ценой”, или „справедливой заработной платой”, мы подразумеваем либо цены и зарплаты, установленные обычаем, т. е. то, чего можно ждать по опыту, либо цены и зарплаты, которые возникли бы при отсутствии монополистической эксплуатации. Единственным важным исключением из этого правила является требование, чтобы рабочие полностью получали „продукт

своего труда”, к которому восходит столь многое в социалистическом учении. Однако ныне лишь немногие социалисты верят в то, что в социалистическом обществе вся продукция каждой отрасли промышленности будет полностью распределяться на паях между рабочими, занятыми в этой отрасли. Действительно, это означало бы, что у работников, занятых в капиталоемких отраслях промышленности, доход окажется гораздо больше, чем у работников отраслей, требующих невысоких капиталовложений, что большинство социалистов сочло бы весьма несправедливым. Помимо того, сегодня практически все согласны, что это конкретное требование основывалось на ошибочном толковании фактов. Но и после того, как отдельному рабочему отказано в праве на получение его „доли” общего продукта, а прибыль от капитала предназначается для раздела между всеми трудящимися, остается открытым все тот же основополагающий вопрос: как ее разделить.

В принципе можно было бы объективно установить „справедливую цену” того или иного *конкретного* товара, как и „справедливое” вознаграждение за ту или иную *конкретную* услугу, если бы было заранее твердо известно требуемое количество товаров или услуг. Если бы это количество указывалось безотносительно к себестоимости, плановые организации могли бы попытаться выяснить, установление какого уровня цен и объема заработной платы позволило бы удовлетворить существующий спрос. Но при этом они должны также решить, сколько нужно выпустить товаров *каждого* вида: только таким образом можно определить умеренную цену или справедливую заработную плату. Если планирующие органы решат, что требуется меньше архитекторов или часовщиков, и что существующая потребность в них может быть удовлетворена при помощи лишь тех, кто согласен продолжать выполнять свою работу за меньшее вознаграждение, то размеры „справедливой” заработной платы понизятся. Устанавливая иерархию приоритетов для различных целей, планирующие органы тем самым устанавливают также, интересы каких социальных групп и отдельных людей важнее, а какими можно пренебречь. По-

сколько предполагается, что они не рассматривают людей просто как орудия для осуществления поставленных целей, они должны будут учитывать последствия принимаемых решений для человеческих судеб и сознательно выбирать, что важнее — конкретные цели или последствия принятых решений. Но это как раз и означает, что планирующие органы по необходимости будут осуществлять прямой контроль над условиями жизни отдельных людей.

Все сказанное относится к положению не только отдельных лиц, но и профессиональных групп. Мы вообще слишком склонны считать доходы различных представителей какой-либо свободной профессии или ремесла более или менее единообразными. А между тем разрыв между доходами преуспевающего врача или архитектора, писателя или киноактера, боксера или жокея (точно так же, как и водопроводчика или садовника, бакалейщика или портного) и его менее удачливого коллеги — не меньше, чем между доходами класса собственников и класса неимущих. И хотя, несомненно, последуют какие-то попытки стандартизации путем создания категорий, необходимость установить различия между людьми останется в силе, как бы ее ни осуществлять: устанавливая размеры их доходов или разделяя их на категории.

Вряд ли стоит продолжать разговор о вероятности того, что люди, живущие в свободном обществе, будут поставлены под подобный контроль — или о возможности, что они останутся при этом свободными. Все, что можно сказать по этому поводу, уже было сказано Джоном Стюартом Миллем почти столетие назад; время лишь подтвердило правоту этих слов:

„Люди, может быть, и согласились бы, пусть неохотно, на раз навсегда установленный закон, например, о равенстве, так же как на игру случая или внешней необходимости; но чтобы кучка людей взвешивала всех остальных на весах и давала одним больше, другим меньше по своей прихоти и по своему усмотрению — такое можно вынести только от существ, обладающих, по всеобщему убеждению, сверхчеловеческими качествами и опирающихся на невообразимые ужасы”.⁵

* * *

Все эти трудности не обязательно ведут к конфликтам, пока социализм остается мечтой ограниченной и сравнительно однородной группы. Они всплывают на поверхность только при попытке осуществить социализм на практике, заручившись поддержкой множества различных социальных групп, вместе составляющих большинство населения страны. Тогда встает единственный жгучий вопрос: какой из множества идеалов подчинит себе остальные, поставит себе на службу все ресурсы страны? Для успешного планирования требуется выработать общую точку зрения на основные ценности: вот почему ограничения свободы в материальной сфере непосредственно затрагивают свободу духовную.

Социалисты, эти хорошо воспитанные родители „несознательного” отпрыска, не желающего признавать никаких втолковываемых ему норм, по традиции надеются решить эту задачу при помощи „воспитания социалистической сознательности”. Но что значит в данном случае воспитание, просвещение, искоренение пережитков в сознании масс и т. д.? Всем давно известно, что знания не могут создать новых этических ценностей, что никаким объемом эрудиции не выработать у людей одинаковых мнений по вопросам морали, возникающим при сознательном упорядочении всех социальных отношений. Для оправдания того или иного конкретного плана требуется не рационально обоснованная убежденность, а приятие символа веры. И действительно, социалисты повсюду первыми признали, что поставленная ими задача требует всеобщего единого мировоззрения, единой системы ценностей. Именно социалисты, в своих стараниях породить массовое движение, опирающееся на единую идеологию, и создали те идеологические средства внушения, которыми так успешно воспользовались нацисты и фашисты.

В Германии и Италии нацистам и фашистам практически не потребовалось изобретать ничего нового. Обычаи и ритуалы новых политических движений, пропитывающие все стороны жизни, были введены в употребление социалистами. Идею политической партии, охватывающей все стороны жизни человека от колыбели до могилы, стремящейся руководить всеми его взглядами и обожающей превращать любые

вопросы в партийно-идеологические, впервые на практике осуществили социалисты. Один австрийский социалистический публицист, говоря о социалистическом движении у себя на родине, с гордостью сообщает, что „его характерной чертой было создание специализированных организаций в каждой области деятельности рабочих и служащих”.⁶ Австрийские социалисты, возможно, пошли в этом отношении дальше других, но и в остальных странах дело обстоит почти точно так же. Не фашисты, а социалисты начали вовлекать детей с младенческого возраста в политические организации, чтобы они вырастали хорошими пролетариями. Не фашисты, а социалисты впервые придумали устраивать занятия спортом и организованные экскурсии в рамках партийных клубов, члены которых таким образом не могли бы заразиться чуждыми взглядами. Именно социалисты первыми стали требовать, чтобы члены партии отличались от прочих формой приветствия и обращения. Именно они со своими „ячейками” и постоянным надзором над личной жизнью создали прототип тоталитарной партии. „Балилла” и „Гитлер-югенд”, „Дополоворо” и „Крафт дурх Фроиде”,⁷ унифицированная форма одежды и военизированные „штурмовые отряды” — все это не более чем имитация того, что уже задолго до этого было изобретено социалистами.⁸

* * *

Пока социалистическое движение в стране тесно связано с интересами какой-то конкретной группы, — обычно высококвалифицированных промышленных рабочих, — проблема выработки единого мнения относительно желательного социального статуса тех или иных членов общества сравнительно проста. Движение непосредственно заинтересовано в статусе одной определенной группы, и цель его — повысить этот статус относительно всех других групп. Однако характер проблемы меняется, когда в ходе постепенного движения к социализму каждому становится все яснее, что его доход и положение определяются государственным аппаратом насилия, что он может сохранить свое положение или улучшить

его только в качестве члена организованной группы, способной влиять на государственную машину или даже ее контролировать. В возникающем на этой стадии „перетягивании каната” группами, представляющими различные интересы, вовсе необязательно побеждают интересы беднейших и наиболее многочисленных групп. Да и старые социалистические партии, открыто представляющие интересы какой-то конкретной группы, необязательно извлекают для себя какие-то преимущества из того факта, что они первыми начали борьбу и что вся их идеология была направлена на то, чтобы привлечь на свою сторону промышленный рабочий класс. Самый их успех, как и то, что они требуют принятия всей своей идеологии в целом, непременно вызовет мощное контрдвижение — не капиталистов, а тех многочисленных и тоже лишенных собственности классов, чей относительный статус окажется под угрозой в связи с наступлением элиты промышленных рабочих.

Социалистическая теория и тактика, даже если в ней не господствует марксистская догма, повсюду была основана на идее разделения общества на два класса, интересы которых лежат в одной области, но являются антагонистическими: класс капиталистов и класс промышленных рабочих. Социализм рассчитывал на быстрое исчезновение прежнего „среднего сословия” и совершенно не принимал во внимание рост нового „среднего класса”:⁹ бесчисленной армии конторских служащих и машинисток, администраторов и учителей, торговцев и мелких чиновников, а также представителей низших разрядов свободных профессий. В течение какого-то периода лидеры рабочего движения нередко были выходцами из этого класса. Но по мере того как все яснее становилось, что положение указанных слоев ухудшается по сравнению с положением промышленных рабочих, идеалы рабочего класса утратили свою привлекательность для представителей прочих средних и низших слоев городского населения. Правда, все они оставались социалистически настроенными — в том смысле, например, что были недовольны капиталистической системой и выступали за распределение материальных благ между всеми слоями населения

в соответствии с собственными представлениями о справедливости; но представления эти оказались совсем иными, чем те, что нашли отражение в практике старых социалистических партий.

Средство, успешно применявшееся старыми социалистическими партиями для обеспечения поддержки какой-то одной профессиональной группы — повышение ее уровня экономического благосостояния по сравнению с другими — невозможно использовать для того, чтобы заручиться поддержкой всех социальных слоев. В результате должны неизбежно возникнуть конкурирующие социалистические партии и движения, апеллирующие к тем, чье экономическое положение по сравнению с другими ухудшилось. В часто повторяемом утверждении, что фашизм и национал-социализм — это нечто вроде социализма для среднего класса, много правды, за исключением того, что группы, поддерживавшие эти новые движения в Италии и Германии, экономически уже перестали быть средним классом. В значительной степени это был бунт лишенного привилегий нового класса против рабочей аристократии, порожденной промышленным профсоюзным движением. Нет сомнения, что ни один экономический фактор так не способствовал этим движениям, как зависть далеко не преуспевающего представителя свободной профессии, какого-нибудь инженера или адвоката с университетским образованием, и всего „пролетариата умственного труда” в целом, к машинисту, наборщику и прочим членам сильнейших профсоюзов, чьи доходы превышали их собственные во много раз. Не может быть сомнения и в том, что с точки зрения денежного дохода рядовой член нацистского движения в первые его годы был беднее, чем средний тред-юнионист или член социалистической партии — обстоятельство тем более мучительное, что первый зачастую знал лучшие времена и нередко все еще жил в обстановке, напоминавшей ему о прошлом. Выражение „классовая борьба навыворот”, ходившее в Италии в период роста фашистского движения, указывает на очень важный аспект этого движения. Конфликт между фашистской (или национал-социалистской) партией и старыми социалистическими партиями нужно рассматривать в значи-

тельной мере как неизбежный конфликт между соперничающими социалистическими фракциями. Они не расходились в вопросе о том, что именно воля государства должна определять место каждого человека в обществе. Но между ними были, и всегда будут, глубочайшие расхождения в вопросе о том, какое место должны занимать конкретные классы и социальные группы.

* * *

Старым социалистическим вождям, всегда считавшим свои партии естественным передовым отрядом будущего всеобщего движения к социализму, трудно понять, почему каждое расширение области применения социалистических методов восстанавливает против них широкие классы бедного населения. Но дело тут в том, что старые соцпартии, как и профсоюзы в отдельных областях промышленности, обычно без особого труда договаривались о совместных действиях с работодателями в своих отраслях, тогда как весьма широкие слои общества оставались ни с чем. Поэтому последним казалось — и не без оснований — что представители наиболее мощных и процветающих отрядов рабочего движения принадлежат скорее к эксплуатирующему, нежели к эксплуатируемому классу.¹⁰

Недовольство низов среднего класса, откуда вышло столько сторонников фашизма и национал-социализма, еще более усиливалось тем фактом, что уровень образования и профессиональная подготовка, которой зачастую обладали представители этих слоев, побуждал их стремиться к руководящим постам и считать, что они вполне достойны стать членами правящей элиты. Младшее поколение, взращенное на социалистической теории с ее презрением к „торгашеству” и „погоне за прибылью”, отвергало путь независимого предпринимательства, связанный с риском, и во все большем количестве вливалось в армию служащих, предпочитая твердый оклад и гарантированное будущее. При этом они требовали доходов и власти, на которые им, по их мнению, давало право образование. Они верили в организованное общество и рассчитывали в этом обществе совсем не на такое место,

которое им могла бы предложить система, организованная в соответствии с идеалами, провозглашавшимися лидерами рабочего движения. Они были вполне готовы перенять методы „классического” социалистического движения, поставив их на службу другому классу. Новое движение привлекало всех тех, кто соглашался с необходимостью поставить под контроль государства всю экономическую жизнь, но не был согласен с целями, во имя которых использовала свою политическую мощь аристократия промышленных рабочих.

Новое социалистическое движение с самого начала обладало несколькими тактическими преимуществами. Социализм рабочего класса вырос в демократическом и либеральном мире, приспособивая к нему свою тактику и перенимая многие идеалы либерализма. Его главные деятели все еще верили в то, что построение социализма решит все проблемы. С другой стороны, фашизм и национал-социализм выросли на основе все более регулируемого общества, начавшего осознавать, что демократический и интернационалистический социализм стремится к несовместимым идеалам. Их тактика вырабатывалась в мире, где *уже господствовал* социалистический политический курс и вызываемые им трудности. У них не было иллюзий относительно возможности демократического решения вопросов, требующего от людей большего единодушия, чем можно ожидать. У них не было иллюзий ни по поводу способности разума решить неизбежно встающую в связи с планированием проблему относительных человеческих потребностей, ни по поводу того, что ответ дается принципом равенства. Они знали, что сильнейшая группировка, которая соберет достаточно сторонников нового иерархического общественного порядка и прямо пообещает классам, к которым апеллирует, определенные привилегии, имеет больше всего шансов на поддержку со стороны тех, кто испытал разочарование, когда обещанное равенство превратилось в содействие интересам определенного класса. Главная причина успеха фашизма и национал-социализма заключалась в том, что эти движения предложили теорию (или мировоззрение), которая, казалось, со всей очевидностью доказывала справедливость и зашуженность привилегий, обещанных тем, кто их поддержит.

Глава 9

СВОБОДА И МАТЕРИАЛЬНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ

Все общество превратится в единое учреждение, единую фабрику с равным трудом и равной оплатой.

В. И. Ленин, 1917 г.

В стране, где единственным работодателем является государство, оппозиция означает медленную голодную смерть. Старый принцип – кто не работает, тот не ест – заменяется новым: кто не повинуется, тот не ест.

Л. Д. Троцкий, 1937 г.

Кроме мнимой „экономической свободы”, необходимым условием подлинной свободы часто, и с большим основанием, изображаются гарантии материальной обеспеченности.¹ В каком-то смысле это и верно, и важно. Независимость мышления и сила духа редко проявляются теми, кто не уверен, что пробьется собственными силами. Однако понятие гарантий материальной обеспеченности столь же расплывчато и двусмысленно, как большинство терминов в этой области; поэтому всеобщая поддержка, оказываемая требованию подобных гарантий, может оказаться чреватой опасностью для

свободы. Более того, если выражение „материальная обеспеченность” понимается в чересчур абсолютном смысле, то всеобщее стремление к ней не только не увеличивает шансов на свободу, но становится для нее серьезнейшей угрозой.

Для начала полезно сопоставить два противоположных вида обеспеченности: ограниченную, которая может быть достигнута для всех и потому является не привилегией, а законным предметом устремлений; и абсолютную, гарантированную при любых обстоятельствах, которую всем в свободном обществе обеспечить невозможно и которая не должна предоставляться в качестве привилегии (за исключением нескольких особых случаев, как, например, для судей, полная и абсолютная независимость которых — дело первостепенной важности).

К первому виду относится ситуация, когда каждый человек может быть уверен, что он застрахован от тяжелых физических лишений — другими словами, когда *всем* гарантирован определенный *минимум средств к существованию*; ко второму — гарантирование определенного *жизненного уровня* или же положения в обществе, которое характеризует *данное* лицо или социальную группу по сравнению с другими. Выражаясь более кратко, речь идет о гарантированном минимальном доходе — и о гарантиях определенного уровня доходов, который считается для того или иного лица „заслуженным” или „положенным”. Как мы увидим ниже, различие это в основном совпадает с различием между гарантиями обеспеченности, которые могут быть предоставлены всем членам общества помимо и в дополнение к рынку — и гарантиями, которые могут быть обеспечены лишь для некоторых граждан, и только с помощью контроля или уничтожения рыночной экономики.

В обществе, достигшем такого уровня благосостояния, как наше, гарантии первого типа вполне можно обеспечить, не ставя под угрозу свободу. При этом возникают сложные вопросы, например, о том, какой конкретный минимальный жизненный уровень следует гарантировать; особенно важен вопрос, можно ли позволить лицам, находящимся на общественном иждивении, неограниченное пользование теми же

свободами, что и прочим.² Опрометчивость в решении этих вопросов может привести к серьезным, даже опасным политическим последствиям, но не подлежит сомнению, что какой-то минимальный жизненный уровень (пища, жилье и одежда), достаточный для сохранения здоровья и способности трудиться, может быть гарантирован для всех. Более того, для значительной части населения Англии гарантированная обеспеченность этого типа давно стала реальностью.

Точно также государство вполне может гарантировать частным лицам обеспечение на случай вероятных, но не поддающихся предвидению событий, связанных с опасностью для здоровья или жизни человека. Хотя каждый знает, что подобные несчастья возможны, лишь немногие в состоянии полностью застраховать себя от их последствий. Когда оказываемая помощь не уменьшает ни желания избежать опасной ситуации, ни стремления преодолеть ее последствия (как, например, болезни или несчастного случая), то есть, короче говоря, когда мы имеем дело с подлинным „страхуемым риском”, — многое говорит в пользу государственного содействия организации всеобъемлющей системы социального страхования. Разумеется, между сторонниками конкуренции и ее противниками непременно возникнут разногласия по поводу деталей такой системы, и нетрудно, прикрываясь именем социального страхования, ввести меры, практически сводящие эффективность конкуренции к нулю. Но в принципе такого рода социальное страхование вполне совместимо с личной свободой. К этой же категории относится оказание государством помощи жертвам стихийных бедствий, таких как наводнения и землетрясения. В случаях, когда общественные меры могут облегчить бедствия, которых человек не в силах ни предусмотреть, ни избежать, ни подготовиться к ним, принимать такие меры, несомненно, следует.

Наконец, в высшей степени важна проблема борьбы с последствиями периодических спадов общей экономической активности и сопровождающим депрессию ростом массовой безработицы. Это, бесспорно, одна из серьезнейших и самых насущных проблем нашего времени. Решение ее требует интенсивного использования планирования в хорошем

смысле этого слова — но отнюдь не требует (или, по крайней мере, необязательно требует) того особого вида планирования, которому, по мнению его сторонников, суждено прийти на смену рынку. Некоторые экономисты надеются, что окончательное средство от безработицы лежит в сфере кредитно-денежной политики, что вполне совместимо даже с либерализмом девятнадцатого века. Правда, другие считают, что реального успеха можно ожидать только от осуществляемых в широком масштабе и в точно рассчитанный момент общественных работ. Это может привести к гораздо более серьезным ограничениям сферы действия конкуренции, и при экспериментах в этом направлении нужно быть очень осторожными, иначе вся экономика станет зависимой от объема и направленности правительственных затрат. Однако это не единственный и, на мой взгляд, не самый обещающий путь борьбы с этой серьезнейшей угрозой экономической обеспеченности граждан и их уверенности в завтрашнем дне. Во всяком случае, наиболее необходимые мероприятия, направленные на то, чтобы обезопасить людей от последствий экономического спада, вовсе не вынуждают нас использовать тот вид планирования, который представляет такую опасность для нашей свободы.

* * *

Планирование, предательски подкапывающееся под самые основы свободы, ставит своей целью обеспечение застрахованности совсем иного рода, а именно — застрахованности отдельных людей или групп от уменьшения их дохода, уменьшения, пусть даже совершенно незаслуженного, но ежечасно случающегося в конкурентном обществе; застрахованности от потерь, приносящих суровые лишения, ничем морально не оправданных, но неотделимых от свободной конкуренции. Таким образом, требование застрахованности такого рода есть не что иное как видоизмененное требование, чтобы вознаграждение было справедливым, т. е. соответствовало не объективным результатам личных усилий, а субъективным достоинствам. Но такого рода

застрахованность или справедливость несовместимы со свободой выбора оплачиваемого занятия.

В любой системе, при которой распределение людей по роду их занятий опирается на их собственный выбор, вознаграждение за труд непременно должно определяться пользой, приносимой ими другим членам общества, даже если польза эта не имеет никакого отношения к их субъективным усилиям или достоинствам. Часто достигаемые результаты соответствуют затраченным усилиям, но в любом обществе это происходит не всегда, в особенности когда полезность для общества какой-либо профессии или квалификации падает в связи с непредвиденными обстоятельствами. Каждому понятна трагедия профессионала, чье приобретенное долгой выучкой мастерство внезапно обесценивается каким-нибудь изобретением, приносящим несомненную и значительную пользу обществу. История последнего столетия полна примеров такого рода, затрагивающих иногда сотни тысяч людей.

Разумеется, когда у кого-то резко падает доход и все надежды идут прахом не по его вине, несмотря на упорный труд и исключительные профессиональные достоинства, это оскорбляет наше чувство справедливости. Когда пострадавшие требуют от государства вмешательства с тем, чтобы оно гарантировало их законные притязания на „положенный” им уровень дохода, они всегда найдут всеобщее сочувствие и поддержку. Широкое одобрение такого рода требований привело к тому, что правительства повсюду не только приняли меры по обеспечению тех, кто оказался в подобной ситуации, минимальными средствами к существованию, но и гарантировали, что они будут по-прежнему получать свой прежний доход — то есть полностью обезопасили их от превратностей экономической жизни.³

Однако если мы хотим сохранить хоть какую-то свободу выбора занятия, невозможно гарантировать всем какой-то определенный доход. Если же обеспечить таким доходом лишь некоторых, он превращается в привилегию за счет других, чья относительная застрахованность тем самым понижается. Легко показать, что неизменный доход для

всех можно гарантировать только при отмене всякой свободы в выборе оплачиваемого занятия. И хотя подобные гарантии законных прав и притязаний, распространяющиеся на всех граждан, часто считают идеалом, к которому надо стремиться, на деле происходит совсем иное. На деле постоянно предпринимаются попытки дать эти гарантии по частям, то одной, то другой группе, в результате чего неуверенность в завтрашнем дне тех, кто остался ни с чем, постоянно возрастает. Неудивительно, что вследствие этого непрерывно растет также ценность такого рода гарантий-привилегий, их требуют все настоятельнее, пока, наконец, не начинают стремиться к ним любой ценой, даже ценой свободы.

* * *

Если начать компенсировать незаслуженные убытки тем, чья полезность для общества уменьшилась в связи с обстоятельствами, которых они не могли ни предвидеть, ни контролировать, и точно так же ограничивать незаслуженные доходы тех, чья полезность возросла, то вскоре вознаграждение потеряет всякую связь с реальной пользой для общества. Оно будет определяться мнением какого-нибудь авторитетного органа относительно того, что тот или иной человек мог бы сделать, что он должен был бы предусмотреть, и хороши или дурны были его намерения. Такие решения не могут не быть в значительной мере произвольными. Применение этого принципа неизбежно приведет к тому, что люди, выполняющие одинаковую работу, будут получать различное вознаграждение. При этом разница в оплате не только перестанет служить стимулом, заставляющим людей как-то перестраиваться, приспособляясь к потребностям общества, но и лишит тех, чьи интересы это затрагивает, даже возможности судить, стоит ли какая-то конкретная перестройка связанных с нею хлопот.

Но если перетекание людей из одной профессии в другую, необходимое в любом обществе, нельзя стимулировать денежными „поощрениями” и „взысканиями” (которые

вовсе необязательно зависят от личных достоинств), его придется осуществлять с помощью прямых приказаний. При гарантированном доходе человеку нельзя позволить ни остаться на данной работе просто потому, что он ее любит, ни самому решить, какую работу он хотел бы взамен прежней. Поскольку не он сам материально выигрывает или проигрывает, переходя на другую работу или оставаясь на прежней, то и выбор должны делать за него те, кто контролирует распределение имеющихся фондов заработной платы.

Возникающий в связи с этим вопрос о наиболее действенных стимулах обсуждается обычно так, как будто речь идет лишь о том, как заставить людей *хотеть* работать как можно лучше. Но в этом не вся проблема, и даже не самый важный ее аспект. Дело не только в том, что для того, чтобы люди работали с полной отдачей, нужно, чтобы им было для чего работать. Гораздо важнее другое: если мы хотим оставить за ними выбор, позволить им самим решать, чем заняться, то необходимо дать им какое-то простое и наглядное мерило относительной социальной важности и полезности различных занятий. При самом большом желании никто не сможет разумно выбрать одну из многообразных возможностей, если связанные с ними преимущества никак не соотносятся с их общественной полезностью. Чтобы человек мог решить, следует ли ему в результате каких-то внешних перемен сменить работу и среду, к которым он привык и которые полюбил, необходимо, чтобы изменившаяся относительная полезность для общества этих занятий нашла свое отражение в вознаграждении, которое им соответствует.

В сущности, вопрос еще серьезнее, ибо в мире, каков он есть, люди могут долго отдавать работе все силы только при личной заинтересованности. Если не на всех, то на очень многих, чтобы они старались, нужно оказывать какое-то давление извне. В этом смысле вопрос о стимулах — вопрос весьма насущный, как в сфере живого труда, так и в административно-управленческой деятельности. Применение методов инженерного проектирования к целой нации — а планирование означает именно это — „связано с трудно-разрешимыми проблемами дисциплины”, хорошо описан-

ными одним американским инженером с большим опытом правительственного планирования. Он ясно увидел суть проблемы и столь же ясно ее изложил:

„Чтобы успешно выполнять какое-то инженерно-техническое задание, необходимо, чтобы вокруг существовала сравнительно обширная зона непланируемой экономической деятельности. Необходим резервуар, из которого можно черпать работников, необходимо, чтобы уволенный работник исчезал не только с работы, но и из платежной ведомости. При отсутствии такого резервуара дисциплину можно поддерживать только телесными наказаниями, как при рабском труде”.⁴

В сфере административной работы вопрос о санкциях за халатность стоит иначе, но не менее серьезно. Можно сказать, что если при конкурентной экономике последним средством является судебный исполнитель, то при плановой экономике — палач.⁵ Директор завода будет наделен значительными полномочиями и при плановой экономике. Но, как и в случае с рабочим, доход и положение директора в плановом обществе не зависят от успешности работы под его руководством. Поскольку ни риск, ни прибыль не являются его личным риском и его личной прибылью, все решает не его личное мнение, что следовало бы предпринять, а вопрос, делает ли он то, что ему положено делать в соответствии с некими заранее установленными правилами. Ошибка, которой он „должен был” избежать — не его личное дело, а преступление против общества, и должна рассматриваться как таковое. Пока он следует по протоптанному пути объективно установленных обязанностей, он может быть больше уверен в своих доходах, чем капиталист-предприниматель; зато в случае серьезного провала ему угрожают последствия, гораздо более опасные, чем банкротство. Он может быть уверен в завтрашнем дне до тех пор, пока удовлетворяет своих начальников, но эта уверенность куплена им ценой свободы и физической безопасности.

Итак, перед нами неразрешимый конфликт между двумя несовместимыми типами общественного устройства, которые часто называют, по наиболее характерным их проявле-

ниям, обществом коммерческого типа и обществом военизированного типа. Термины эти, возможно, неудачны, т. к. подчеркивают не самые существенные стороны и мешают увидеть, что мы имеем дело с реальной альтернативой и третьего пути нет. Либо на плечи человека ложится и выбор, и риск, либо его освобождают и от того, и от другого. Действительно, армия во многих отношениях являет собой наиболее знакомый нам вариант второго типа организации, где и работу, и работников распределяет высшее начальство, и где в случае скудости имеющихся ресурсов все переводятся на одинаково скудный паек. Это единственная система, при которой индивидууму можно гарантировать полную экономическую застрахованность, и при распространении ее на все общество такой застрахованности можно достичь для всех членов общества. Однако такая застрахованность неотделима от ограничений свободы и от иерархического устройства, связанного с армейским образом жизни. Это застрахованность казармы.

Конечно, организовать по этому принципу отдельные секторы свободного общества вполне возможно, и нет оснований делать этот образ жизни, с его обязательным стеснением свободы, недоступным для тех, кто его предпочитает. Более того, какой-то вид добровольной трудовой службы, организованной по военному образцу — это, вероятно, лучший путь, каким государство может обеспечить всем работу и минимальный доход. Если в прошлом такого рода предложения оказывались малопримлемыми, то причина этого — в том, что люди, согласные пожертвовать свободой ради уверенности в завтрашнем дне, всегда требуют лишить свободы также и тех, кто на это не согласен, а это уже оправдать трудно.

Однако организация военного или военизированного типа, какой мы ее знаем, дает лишь очень слабое представление о том, что будет, если распространить ее на все общество. Пока по-военному устроена лишь часть общества, несвобода тех, кто охвачен военизированной сферой, смягчается наличием свободной сферы, куда они могут переместиться, если ограничения начнут им слишком докучать. Чтобы пред-

ставить себе общество, устроенное (согласно идеалу стольких социалистов) как одна громадная фабрика, надо обратить взор к древней Спарте или к современной Германии, которая, двигаясь в этом направлении в течение жизни уже двух или трех поколений, теперь почти достигла цели.

* * *

В обществе, привыкшем к свободе, вряд ли многие сознательно пойдут на то, чтобы приобрести уверенность в завтрашнем дне такой ценой. И тем не менее политический курс, которым ныне повсюду следуют правительства, предоставляя привилегии, гарантирующие материальную обеспеченность, то одной, то другой социальной или профессиональной группе, быстро создает условия, при которых стремление к обеспеченности становится сильнее свободолюбия. Причина этого — в том, что, с получением каждой новой группой гарантий застрахованности от превратностей экономической жизни прочие неизбежно испытывают возрастающую неуверенность в завтрашнем дне. Если кому-то гарантируется неизменная доля непрерывно меняющегося размера пирога, то, соответственно, количество, остающееся на долю остальных, будет колебаться в большей степени, чем величина целого. При этом все более обесценивается основная предлагаемая конкурентной системой гарантия, позволяющая человеку уверенно смотреть в завтрашний день: громадное многообразие возможностей.

В рамках рыночной экономики гарантировать обеспеченность отдельным группам можно только с помощью методов планирования, известных под названием рестрикций⁶ (однако, именно к этим методам сводится почти все планирование, осуществляемое в настоящее время!). „Контроль”, то есть ограничение производства с тем, чтобы „надлежащая” прибыль обеспечивалась путем установления соответствующих цен — вот единственный способ, позволяющий в условиях рыночной экономики гарантировать производителям определенный уровень дохода. Но такая практика неизбежно влечет за собой сокращение возможностей, откры-

тых для всех остальных. Если производитель — неважно, рабочий или предприниматель — будет застрахован от последствий деятельности аутсайдеров,⁷ предлагающих тот же товар или услугу по более низкой цене, это означает, что другие, находящиеся в худшем положении, не допускаются к относительно большему благополучию, достигнутому в контролируемых отраслях промышленности. Любое ограничение беспрепятственной свободы доступа новых компаний в данную отрасль уменьшает уверенность в завтрашнем дне всех, кто остается при этом за бортом. А по мере роста числа людей, доход которых гарантируется таким образом, падает число других возможностей, открытых для каждого, кто лишился дохода; у тех же, на ком какие-то изменения отразились неблагоприятно, соответственно уменьшаются шансы избежать пагубного понижения дохода. И если, как это все чаще случается, с улучшением условий в каждой очередной отрасли промышленности занятые в ней лица будут иметь возможность исключить остальных, чтобы сохранить за собой весь доход (будь то в виде прибылей или более высокой зарплаты), то представителям отраслей, где спрос упал, некуда будет податься; поэтому каждое изменение конъюнктуры вызывает волну безработицы. Именно вследствие господствовавшего все последние десятилетия стремления гарантировать себе обеспеченность подобными методами столь выросла безработица, а с ней — неуверенность широких слоев населения в завтрашнем дне.

В Англии такие рестрикции, особенно те, что затрагивают промежуточные слои общества, лишь сравнительно недавно приняли серьезные размеры, и мы еще не успели ощутить их последствия. Осознать полную безнадежность положения людей, которые в таком разделенном непроницаемыми перегородками обществе оказались лишенными доступа к занятиям, обеспечивающим гарантированное будущее, осознать всю глубину пропасти, отделяющей их от счастливых обладателей подобной работы (которые настолько защищены от конкуренции, что и не подумают потесниться и дать место другим) — сумеют только те, кто это испытал. Конечно, никто не говорит о том, что счастливицы должны

уступать свои места; но они должны нести на своих плечах какую-то долю общих невзгод — в виде некоторого понижения доходов, а часто даже просто отказа от дальнейшего улучшения своей ситуации. Однако это исключается мерами по сохранению их „уровня жизни”, „справедливой зарплаты” и „профессионального дохода”, на которые они, по их мнению, имеют право, и в обеспечении которых им содействует государство. Вследствие этого резким колебаниям теперь подвержены не цены, заработки и личные доходы, а производство и занятость. Мир не знал худшей эксплуатации, чем эксплуатация неокрепших или неудачливых производителей производителями, прочно стоящими на ногах — то есть эксплуатации, ставшей возможной благодаря „регулируванню” конкуренции. И немногие модные идеи причинили больше вреда, чем идея „стабилизации” тех или иных цен (или заработков), ибо такая „стабилизация”, гарантируя доход одних, делает положение других все более и более непрочным.

Таким образом, чем больше мы пытаемся обеспечить прочность экономического положения людей, вмешиваясь в рыночную экономику, тем более непрочным оно становится, а главное, тем резче становится контраст между положением тех, кому эта прочность даруется в качестве привилегии, и возрастающей неуверенностью в завтрашнем дне тех, кто этой привилегии лишен. А чем большей привилегией становится прочное экономическое положение и чем большая опасность грозит тем, у кого его нет, тем выше ценится экономическая обеспеченность и застрахованность от случайностей. По мере роста числа привилегированных и усиления контраста между их положением и положением остальных, возникает совершенно новая система социальных ценностей. Репутация и социальный статус начинают определяться не независимостью, а застрахованностью, завидность жениха — не уверенностью в том, что он далеко пойдет, а его правом на пенсию; непрочность же положения вызывает ужас, превращается в состояние парии, в котором обречены пребывать всю жизнь люди, не допущенные в молодости в гавань твердого оклада.

Всеобщие старания добиться экономической обеспеченности путем рестрикционных мер, допускаемых или поддерживаемых государством, с течением времени привели к постепенному перерождению общества, в котором, как и во многом другом, Германия была впереди, а другие страны за ней следовали. Этот процесс ускорился благодаря еще одному результату социалистического воспитания: сознательному принижению всякой деятельности, связанной с экономическим риском, и моральным осуждением высоких доходов, оправдывающих принимаемый риск, но являющихся уделом лишь немногих, кому улыбнулась удача. Мы не можем порицать молодых людей за то, что они предпочитают риску предпринимательства обеспеченное положение с твердой зарплатой: ведь с ранней юности оно преподносилось им как нечто высшее и более бескорыстное. Нынешняя молодежь выросла в мире, где школа и печать изображают дух коммерческого предпринимательства позорным, а получение прибылей аморальным, где нанять сотню людей на работу — это эксплуатация, а руководить тем же числом — почетно. Людям старшего возраста это, возможно, покажется преувеличением, но повседневный опыт университетского преподавателя не оставляет сомнений в том, что в результате антикапиталистической пропаганды человеческие ценности уже изменились, задолго до изменения общественных институтов, с целью удовлетворения новых требований, к невольному уничтожению тех ценностей, которые мы по-прежнему считаем высшими.

Лучше всего сдвиги в структуре общества, вызванные победой идеала обеспеченности над идеалом независимости, можно проиллюстрировать путем сопоставления английского и германского общества десяти-двадцатилетней давности. Как бы велико ни было влияние армии в Германии, неверно приписывать целиком этому влиянию то, что англичанам представляется „военизованностью” германского общества. Исходя из этого, нельзя объяснить глубины различий; к тому же особые черты германского общества про-

являлись не только в кругах, находившихся под сильным влиянием милитаризма, но и в кругах, где это влияние было ничтожным. Дело не в том, что практически в каждый данный момент гораздо большая, чем в иных странах, часть немецкого народа была организована для целей войны, то есть была включена в военную машину, а в том, что один и тот же тип организации использовался для множества целей. Именно это и придавало немецкому обществу его особый характер. Дело в том, что в Германии было сознательно организовано сверху донизу, по военному образцу, больше сторон гражданской жизни, чем в любой другой стране, и большая часть нации считала себя не независимыми гражданами, а назначенными сверху чиновниками. Как хвастались сами немцы, Германия уже давно превратилась в *Beamtenstaat*,⁸ в котором доход и положение в обществе устанавливаются и гарантируются властями не только на государственной службе, но почти во всех областях жизни.

Вероятно, дух свободы нельзя где бы то ни было искоренить силой, но вряд ли кто-нибудь смог бы успешно противостоять медленному ее удушению, происходившему в Германии. Там, где отличия и положение в обществе достигаются почти исключительно на государственной службе, там, где исполнение обязанностей похвальнее, чем выбор собственного пути, там, где все занятия, не дающие признанного места в официальной иерархии или твердого дохода, считаются второсортными и даже сомнительными, трудно ожидать, что многие предпочтут свободу обеспеченности. Если же альтернативой зависимому и прочному положению является положение самое шаткое, когда тебя одинаково презирают и в случае успеха, и в случае неудачи, немногие устоят против искушения выбрать прочность и обеспеченность, пожертвовав свободой. А когда все зашло уже так далеко, свобода действительно превращается почти в издевательство, ибо ее можно получить, только пожертвовав большинством земных благ. В этой ситуации неудивительно, что все больше людей должны считать, что свобода без прочной экономической базы „ничего не стоит”, и быть готовы ею пожертвовать ради уверенности в завтрашнем дне. Но

когда профессор Гарольд Ласки использует в Англии те же самые доводы, которые побудили немецкий народ пожертвовать своей свободой, это не может не вызывать тревоги.⁹

Безусловно, надлежащие гарантии на случай тяжелых лишений, а также меры по предотвращению обстоятельств, приводящих к тому, что люди неверно направляют свои усилия и в результате оказываются обманутыми в своих ожиданиях, должны будут стать одной из главных задач политики правительства. Но чтобы эти меры увенчались успехом и не уничтожили личной свободы, такие гарантии нужно предоставлять вне сферы рыночной экономики, силам же конкуренции необходимо дать действовать беспрепятственно. Какие-то экономические гарантии необходимы даже в целях сохранения свободы, так как большинство людей согласны на неизбежно связанный со свободой риск, только если он не слишком велик. Но хотя об этом ни в коем случае нельзя забывать, нет ничего страшнее модной сейчас среди интеллектуалов тенденции к восхвалению обеспеченности в ущерб свободе. Необходимо вновь научиться без страха признавать, что за свободу надо платить и что мы как личности должны быть готовы для сохранения свободы идти на серьезные материальные жертвы. Если мы хотим ее сохранить, необходимо снова проникнуться убеждением, на котором основано правление свободы в англо-саксонских странах и которое выразил Бенджамин Франклин в словах, применимых не только к странам, но и к отдельным людям: „Те, кто отказываются от свободы в главном ради временной безопасности, не заслуживают ни безопасности, ни свободы”.

Глава 10

ПОЧЕМУ У ВЛАСТИ ОКАЗЫВАЮТСЯ ХУДШИЕ

Всякая власть развращает, но абсолютная
власть развращает абсолютно.

Лорд Актон

Рассмотрим теперь одно распространенное убеждение, в котором черпают утешение те, кто считает приход тоталитаризма неизбежным, и которое значительно ослабляет волю к борьбе многих других, кто сопротивлялся бы изо всех сил, если бы полностью осознал, в чем заключается суть тоталитаризма. Убеждение это сводится к тому, что наиболее отталкивающими своими чертами тоталитарные режимы обязаны исторической случайности: ведь их устанавливали бандиты и мерзавцы. Пусть в Германии тоталитарный строй привел к власти Штрейхеров и Киллингеров, Леев и Хайнсов, Гиммлеров и Гейдрихов:¹ это, убеждают нас, свидетельствует о порочности немецкого национального характера, а вовсе не о том, что возвышение таких людей является неизбежным следствием тоталитарного строя. Разве не могут оказаться во главе такой системы (если она необходима для достижения грандиозных целей) порядочные люди, которые будут управлять в интересах всего общества?

Не надо обманывать себя: не все хорошие люди — непременно демократы, и не все они непременно захотят участвовать в управлении государством. Многие с удовольствием возложили бы эту обязанность на кого-нибудь, кого они считают более компетентным. Может быть, это неразумно, но нет ничего плохого и непорядочного в том, чтобы одобрять диктатуру хороших людей. Мы уже как будто слышим, как нам объясняют, что тоталитаризм одинаково может творить и добро, и зло, а на какие цели его направить — зависит исключительно от того, кто будет диктатором. Люди, полагающие, что бояться надо не системы, а дурных людей у ее кормила, возможно, даже соблазнятся шансом предотвратить опасность, заранее позаботившись о том, чтобы у кормила оказались люди хорошие.

Разумеется, фашистский или аналогичный ему режим в Англии сильно отличался бы от немецкой и итальянской модели, и если бы переход к нему произошел ненасильственным путем, мы могли бы ожидать лучшего, чем у них, типа лидера. Если бы мне пришлось жить при фашистском режиме, я без всякого сомнения предпочел бы английский фашизм любому другому. Однако это не означает, что, исходя из наших нынешних норм, британский фашизм окажется в конечном счете резко отличающимся от своих предшественников или менее невыносимым. Есть веские основания полагать, что худшие черты существующих тоталитарных режимов — это не случайные побочные явления, а неизбежные следствия тоталитаризма, которые рано или поздно обязательно проявятся. Как демократическому государственному деятелю, занявшемуся планированием экономики, вскоре придется либо возложить на себя диктаторские полномочия, либо отказаться от своих планов, точно так же тоталитарному диктатору вскоре придется выбирать между отказом от привычных моральных устоев и неминуемым крахом. Вот почему в обществе, тяготеющем к тоталитаризму, больше шансов на успех имеют люди без моральных устоев и без совести. Тот, кто этого не понимает, еще не полностью осознал, какая пропасть отделяет тоталитаризм от либерального строя, насколько вся моральная

атмосфера при коллективизме иная, чем в исконно индивидуалистической западной цивилизации.

Разумеется, проблема „моральных устоев коллективизма” уже неоднократно обсуждалась в прошлом; но нас здесь будут интересовать не его исходные моральные идеалы, а те результаты в области морали, к которым он приведет. Обычно обсуждение этических аспектов коллективизма сосредотачивается на вопросе, требуют ли введения коллективизма существующие моральные принципы, или же на том, каковы будут моральные убеждения, необходимые для того, чтобы коллективизм принес ожидаемые результаты. Мы же здесь, наоборот, задаемся вопросом о том, какие моральные принципы породит коллективистское общество и какими принципами оно будет руководствоваться. Взаимодействие нравственности с общественными институтами вполне может привести к тому, что этические нормы, порожденные коллективизмом, окажутся совершенно иными, чем нравственные идеалы, побуждающие людей требовать коллективизма. Мы склонны полагать, что, поскольку стремление к коллективизму вытекает из высоких нравственных мотивов, подобная система окажется благодатной почвой для процветания самых высших добродетелей. Однако, ниоткуда не следует, что при каком бы то ни было режиме должны развиваться и совершенствоваться те качества, которые лучше всего служат провозглашаемым этим режимом целям. Какие моральные принципы будут господствовать в коллективистском или тоталитарном обществе — зависит частично от того, обладание какими качествами будет залогом успеха в этом обществе, а частично — от потребностей аппарата тоталитарной власти.

* * *

Здесь нам придется ненадолго вернуться к ситуации, предшествующей подавлению демократических институтов и установлению тоталитарного режима. На этой стадии доминирующим фактором является всеобщее недовольство медлительностью и громоздкостью демократической про-

цедуры, превращающейся в самоцель. Все считают, что так больше продолжаться не может; все требуют от правительства быстрых и решительных действий. В этот момент наиболее привлекательным для масс оказывается политический деятель (или партия), выглядящий достаточно сильным и решительным, чтобы „довести дело до конца”. „Сильный” лидер или партия — вовсе не означает здесь „располагающий численным большинством”: ведь недовольство вызывает именно бездействие парламентского большинства. Люди ищут лидера, обладающего настолько прочной поддержкой, что это внушает уверенность: да, такой наверняка сумеет осуществить все, что захочет. Тут-то и наступает черед партии нового типа, устроенного по военному образцу.

Жителей стран Центральной Европы давно приучили к политическим организациям полувоенного характера, поглощающим львиную долю личной жизни своих членов. Сделали это социалистические партии. Для того, чтобы одной из таких групп получить неограниченную власть, требовалось лишь пойти немного дальше, т. е. черпать силу не в обеспеченных голосах значительных масс своих сторонников во время нечастых выборов, а в полной и безоговорочной поддержке небольшой, но прекрасно организованной группы. Шансы навязать тоталитарный режим целой нации зависят от того, сможет ли лидер окружить себя людьми, готовыми добровольно подчиниться тоталитарной дисциплине, которую они затем будут силой навязывать остальным.

Социалистические партии были очень сильны и могли бы добиться чего угодно, применив силу, но этого-то они и не хотели. Сами того не зная, они ставили перед собой задачу, которую могут осуществить только люди безжалостные и способные смести преграды общепринятой этики.

Социализм можно осуществить на практике только методами, не одобряемыми большинством социалистов: вот урок, усвоенный многими социальными реформаторами прошлого. Старым социалистическим партиям мешали их демократические идеалы, у них не было безжалостности, необходимой для выполнения взваленной ими на себя задачи. Показательно, что и в Германии, и в Италии успеху

фашизма предшествовал отказ социалистических партий взять на себя ответственность за управление страной. Им не хотелось применять методы, к которым они сами указали путь. Они все еще надеялись на чудо, верили, что большинство договорится и выработает конкретный план переустройства общества; а другие между тем уже поняли, что в плановом обществе вопрос не в том, чтобы большинство о чем-то договорилось, а в том, какова самая большая группа, достаточно сплоченная для осуществления единого руководства всеми областями жизни; если же такой группы не существует — в том, как ее создать и кому это удастся.

Есть три веских причины полагать, что подобная сильная и многочисленная группа, состоящая из лиц с довольно однородными взглядами, скорее всего будет сформирована не из лучших, а их худших элементов любого общества. Если исходить из наших моральных норм, принципы отбора членов такой группы будут почти исключительно негативными. Во-первых, чем выше умственные способности и уровень образования отдельных индивидуумов, тем резче разнятся их вкусы и взгляды и тем меньше шансов, что они единодушно примут какую-то конкретную иерархию ценностей. Отсюда логически вытекает, что тот, кто ищет единства взглядов, должен спуститься в сферы, где доминируют более низкий моральный и интеллектуальный уровень, более примитивные и грубые вкусы и инстинкты. Это не значит, что у большинства людей низкий моральный уровень; это означает лишь, что крупнейшая группировка людей с очень схожими ценностями неизбежно состоит из лиц невысокого уровня. Можно сказать, что наибольшее число людей может объединить только наименьший общий знаменатель. Многочисленная группа, достаточно сильная, чтобы навязать свои взгляды на основные жизненные ценности и на все прочее, всем остальным, никогда не будет состоять из людей с развитыми, резко индивидуальными вкусами: только люди, образующие „массу” в уничижительном смысле слова, наименее оригинальные и независимые, сумеют подкрепить свои идеалы численностью.

Однако потенциальный диктатор не может рассчитывать

только на людей с примитивными, и обычно весьма схожими, инстинктами: их будет слишком мало для осуществления поставленной задачи. Ему придется увеличивать численность последователей, обращая в свою несложную веру все новых людей. И здесь в дело вступает второй негативный принцип отбора: ведь всего проще заручиться поддержкой людей легковверных и склонных к послушанию, людей без твердых убеждений, которые охотно примут готовую систему ценностей, если им достаточно часто и громко ее вдалбливать. Таким образом, ряды партии будут пополняться за счет людей с неустойчивыми, легко меняющимися взглядами и легко возбудимыми эмоциями.

Далее, искусный демагог всегда будет стремиться сплотить своих сторонников в единую и спаянную группу — и тут начинает работать третий и, быть может, важнейший негативный фактор отбора. Дело в том, что людям свойственно — и это почти закон человеческой природы — быстрее и легче сходить на негативной программе, на ненависти к врагам, на зависти к тем, кому лучше живется, чем на какой бы то ни было положительной, конструктивной задаче. Необходимым элементом любого учения, любой веры, способной прочно сплотить людей для совместных действий, является контраст между „нами” и „ими”, общая борьба против чужаков. Этим всегда пользуются те, кому нужна не просто поддержка той или иной политики, а безоговорочная преданность широких масс. С их точки зрения негативная платформа обладает тем преимуществом, что предоставляет гораздо большую свободу действий, чем любая позитивная программа. Враг, — неважно, внутренний (например, „еврей” или „кулак”) или внешний, — является неотъемлемой частью арсенала тоталитаристского лидера.

Тот факт, что в Германии врагом было „еврейство” (пока его место не заняла „плутократия”), является не меньшим показателем антикапиталистических настроений, чем выбор для этой цели „кулачества” в России. В Германии и Австрии на евреев привыкли смотреть как на представителей капитализма, ибо традиционная неприязнь широких масс населения к коммерции сделала эту отрасль более доступной для

группы населения, которая практически была лишена возможности выбирать себе более респектабельные занятия. Перед нами все та же старая история: представителей чуждой расы допускают только к наименее уважаемым профессиям, а затем еще более презирают и ненавидят за принадлежность к ним. Немецкий антисемитизм и антикапитализм берут начало из одного источника: факт крайне важный для понимания всего случившегося в Германии, но редко осознаваемый иностранными наблюдателями.

* * *

Считать, что повсеместная тенденция коллективистской политики к превращению в националистическую вызвана исключительно необходимостью безоговорочной поддержки—значит упускать из виду другой, не менее важный фактор. Дело в том, что вообще трудно представить себе реально коллективистскую программу, не поставленную на службу ограниченной группе. Похоже, что коллективизм вряд ли может существовать иначе, чем в виде какого-нибудь сепаратизма, будь то национализм, расизм, или какой-нибудь иной „изм”. По-видимому, вера в общность задач и интересов со своими братьями (например, „братьями по классу”) предполагает большее сходство во взглядах и образе мышления, чем существует между людьми просто как человеческими существами. Если невозможно лично знать остальных членов своей группы, то по крайней мере необходимо, чтобы они ничем не отличались от тех, кто тебя окружает, думали и разговаривали так же и о том же: тогда можно будет себя с ними отождествить. Коллективизм во всемирном масштабе мыслим, по-видимому, только при условии, что его поставят на службу небольшой правящей элите. А это, несомненно, приведет к трудностям не только практическим, но прежде всего — моральным, а этого-то и не хотят видеть наши социалисты. Если английскому пролетарию причитается равная доля доходов от английского капитала, а также право голоса относительно его использования, ибо капитал этот есть результат эксплуатации, то, исходя из этого же самого

принципа, и то, и другое причитается всем индусам. Но какие социалисты всерьез думают о равном распределении существующих капитальных ресурсов среди народов мира? Все они рассматривают капитал как собственность страны, а не человечества, — причем даже внутри страны немногие осмелятся выступить за то, чтобы более богатые районы отдали часть „своего” капитального оборудования беднейшим районам. То, что социалисты объявляют долгом по отношению к своим согражданам в существующих государствах, они отнюдь не собираются распространять на иностранцев. С последовательно коллективистской точки зрения, требование нового передела мира, выдвигаемое „неимущими нациями”, совершенно оправдано — хотя, если его столь же последовательно осуществлять на практике, те, кто громче всего этого требует, пострадают почти в такой же степени, как наиболее богатые страны. Поэтому они в своих притязаниях тщательно избегают упоминать о равноправии, и напирают на свои якобы исключительные способности в деле организации жизни других народов.

Одно из внутренних противоречий коллективизма заключается в том, что, строясь на выработанной индивидуализмом гуманистической этике, он практически осуществим только внутри относительно малой группы людей. Пока социализм остается теорией, он интернационалистичен, но как только его начинают осуществлять на практике, будь то в России или в Германии, он становится оголтело националистическим. В этом одна из причин того, что „либеральный” социализм, как его представляет себе большинство жителей западных стран — феномен чисто теоретический; практический же социализм повсюду оказывается тоталитаристским.² В коллективизме нет места широкому либеральному гуманизму: он порождает лишь узкий сепаратизм.

Если „общество” или государство поставлено выше личности, если оно преследует собственные, внеличностные или надличностные, цели, то членами общества могут считаться только те, кто стремится к осуществлению тех же целей. Из этого неизбежно следует, что человек уважается только как член группы, то есть постольку, поскольку он стремится

к общепризнанным совместным целям и полагает все свое достоинство в том, чтобы быть прежде всего членом группы, а не просто человеком. Более того, само понятие человечества, а потому и любая форма интернационализма, являются всецело плодом индивидуалистического взгляда на человека, и им нет места в коллективистском мышлении.³

Помимо того, что коллективистская общность может существовать лишь там, где существует (или может быть выработано) единство цели индивидуумов, тяготение коллективизма к замкнутости и обособленности усиливается и некоторыми дополнительными факторами. Важнейший из них сводится к тому, что стремление индивидуума отождествить себя с группой зачастую вытекает из сознания собственной неполноценности, а потому его потребности будут удовлетворены, только если членство в группе даст ему какое-то превосходство над теми, кто в нее не входит. Похоже на то, что иногда дополнительным стимулом к росту личности в коллективе становится сама возможность в совместной борьбе против чужаков дать выход агрессивным инстинктам, которые в рамках своей группы человек вынужден сдерживать. Заголовок книги Р. Нибура *Нравственный человек и безнравственное общество* выражает глубочайшую истину — хотя мы никак не можем согласиться с выводами, которые он делает из своего исходного положения. Он абсолютно прав, когда пишет в другом месте, что „современный человек все чаще считает себя высокоморальным просто потому, что он переносит свои пороки на все большие группы”.⁴ По-видимому, действуя от лица группы, люди избавляются от множества моральных ограничений, которыми они же руководствуются как индивидуумы внутри группы.

Нескрываемо враждебное отношение большинства сторонников планирования к интернационализму объясняется еще и тем, что в существующем мире всякие внешние контакты некой целостной группы препятствуют эффективному планированию в той сфере, где такие контакты могут иметь место. Не случайно поэтому, что, как обнаружил к своему глубокому прискорбию редактор одного из наиболее пол-

ных коллективных трудов по планированию, „большинство сторонников планирования – воинствующие националисты”.⁵

Националистические и империалистические пристрастия социалистов, встречающиеся гораздо чаще, чем кажется, не всегда проявляются настолько вопиюще, как у Уэббов и некоторых других ранних фабианцев,⁶ у которых, что весьма показательно, бурное восхищение планированием сочеталось с благоговением перед крупными и мощными политическими объединениями и с презрением к малым странам. Историк Эли Галеви, вспоминая, какими он впервые увидел Уэббов сорок лет назад, пишет:

„... их социализм был глубоко антилиберален. Они не испытывали ненависти к тори, более того, были к ним на удивление снисходительны, но не щадили либерализма гладстоновского толка. То было время англо-бурской войны, когда либералы, как и люди, из которых впоследствии сформировалась лейбористская партия, благородно встали на сторону буров против британского империализма, во имя свободы и человечности. Но Уэббы вместе со своим другом Бернардом Шоу стояли особняком. Они были настроены вызывающе империалистически. Независимость малых стран была важна для либерал-индивидуалиста, но для подобных им коллективистов она не значила ничего. У меня до сих пор звучит в ушах, как Сидней Уэбб объясняет мне, что будущее за крупными странами с административной организацией, где управляют чиновники, а порядок поддерживается полицией”.

В другом месте Галеви приводит слова Бернарда Шоу: „... миром, естественно, владеют большие и сильные государства, малым же лучше не вылезать из своих границ, иначе их раздавят”.⁷

Эти высказывания, никого бы не удивившие в устах немецких предшественников национал-социализма, цитируются здесь так развернуто в качестве характерного примера того почитания власти, которое так легко приводит от социализма к национализму и так глубоко влияет на этические взгляды всех коллективистов. В отношении прав малых наций Маркс и Энгельс были ничем не лучше

многих других последовательных коллективистов, и их периодические высказывания о чехах и поляках весьма схожи с аналогичными высказываниями нынешних национал-социалистов.⁸

* * *

Если великим социальным философам-индивидуалистам девятнадцатого века, от лорда Актона и Якоба Бурхардта до современных социалистов, унаследовавших либеральную традицию (таких как Бертран Расселл), власть всегда представлялась величайшим злом, то для коллективиста в строгом смысле слова она является целью в себе. Дело не в том только, что, по удачному определению Расселла, само желание построить общество по единому плану проистекает от стремления к власти.⁹ Причина лежит глубже: коллективистам для достижения своих целей требуется власть — власть одних людей над другими — невиданных прежде масштабов, и успех их зависит от того, достигнут ли они такой власти и в какой степени.

Истина эта остается истиной вопреки трагической иллюзии, определяющей действия многих социалистов: они полагают, что лишить частных лиц власти, которой они обладают при индивидуалистическом строе, и передать эту власть обществу — значит уничтожить власть как таковую. Однако те, кто так думает, упускают из виду, что власть, сконцентрированная и поставленная на службу единому плану, не просто переходит из одних рук в другие, но многократно усиливается; что передача единому органу полномочий, ранее распределенных между множеством независимых частных лиц, порождает власть, бесконечно бóльшую, чем когда-либо существовала в истории. Эта власть настолько беспредельна, что практически переходит в совершенно новое качество. Совершенно неверно утверждать, что власть гипотетического Центрального совета по делам планирования будет „не большей, чем власть, коллективно осуществляемая советами директоров частных компаний“.¹⁰ Во-первых, в конкурентном обществе ни у кого нет даже сотой доли той власти,

какой будет обладать социалистический Совет по делам планирования, а во-вторых, если никто не в состоянии сознательно и целенаправленно эту власть применить, то утверждать, что она принадлежит всем капиталистам вместе взятым — значит просто злоупотреблять терминами.¹¹ Смешно говорить о „коллективной власти советов директоров частных компаний”, если эти правления не объединяют своей власти для проведения совместных действий — что, разумеется, означало бы конец конкуренции и появление планируемой экономики. Для уменьшения размеров власти, сосредоточенной в одних руках, необходимо дробить ее или децентрализовать, и конкурентный строй — единственный, предназначенный именно для того, чтобы путем децентрализации свести власть человека над человеком к минимуму.

Как мы уже видели, разделение экономических и политических целей является главной гарантией свободы личности; поэтому именно оно подвергается нападкам коллективистов. Добавим к этому, что столь частый ныне лозунг „политическая власть вместо экономической” неизбежно означает замену власти ограниченной властью тотальной. Так называемая экономическая власть, возможно, и является орудием принуждения, но в руках частных лиц она никогда не будет ни единственной, ни полной, никогда не станет властью над всей жизнью человека. Если же ее централизовать и превратить в орудие политической власти, она порождает зависимость, едва ли отличающуюся от рабства.

* * *

Из двух главных особенностей каждой коллективистской системы — системы коллективных целей, разделяемых всеми членами данной группы, и стремления получить максимальную власть для достижения этих целей — вырастает своего рода этика, в некоторых пунктах совпадающая с нашей, а в некоторых резко от нее отличающаяся. Непонятно, правда, можно ли ее назвать этикой: ведь она не только не позволяет индивидуальному сознанию вырабатывать собственные правила, но и не знает никаких общих правил, кото-

рые индивидууму разрешается или предписывается соблюдать во всех обстоятельствах. А это настолько отлично от известной нам этики, что в коллективистской этике трудно обнаружить какую бы то ни было основу (которая тем не менее существует).

Здесь перед нами практически то же самое основополагающее различие, которое мы уже рассматривали в связи с принципом правозаконности. Подобно формальному праву, законы индивидуалистической этики, какими бы неточными они ни были, являются всеобщими и абсолютными; они предписывают или запрещают какие-то действия, независимо от того, хороша или дурна их конечная цель в каждом отдельном случае. Красть и лгать, причинять боль и предавать — дурно, независимо от того, приносит это в данном случае какой-либо вред или нет. Пусть даже именно в данном случае никто от этого не пострадает, пусть это делается ради высокой цели — все это сути дела не меняет: сам поступок остается дурным. Иногда мы вынуждены выбирать из нескольких зол меньшее, но от этого оно не перестает быть злом. Принцип, гласящий, что цель оправдывает средства, в индивидуалистической этике считается отрицанием всякой этики. В коллективистской этике он неизбежно становится верховным принципом: не существует буквально ничего, чего последовательный коллективист не сделает, если это нужно для „блага коллектива”, ибо „благо коллектива” для него — единственный критерий того, что можно, а чего нельзя. *Raison d'état*,¹² в котором коллективистская этика нашла свою самую неприкрытую формулировку, не останавливается ни перед чем, исходя только из целесообразности, т. е. необходимости того или иного действия для достижения поставленной цели. А то, к чему сводится принцип *raison d'état* в межгосударственных отношениях, применимо также и к отношениям между людьми в коллективистском государстве. Нет черты, которой гражданин такого государства не может преступить, нет поступка, которого ему не позволит совершить совесть, если это необходимо для достижения целей, поставленных перед ним обществом или непосредственным начальством.

Отсутствие абсолютных формальных правил в коллективистской этике не означает, конечно, что в коллективистском обществе не будут поощряться полезные привычки индивидуумов и наказываться вредные. Наоборот, в нем привычки и образ жизни каждого отдельного человека будут привлекать гораздо больше внимания, чем в индивидуалистическом обществе. Чтобы быть полезным членом коллективистского общества, требуются строго определенные качества, оттачиваемые постоянной тренировкой. Мы называем эти качества „полезными привычками”, а не моральными достоинствами потому, что индивидууму никогда не позволят поставить эти нормы выше четких приказаний начальства или целей общества. Они служат как бы для заполнения пустот, оставленных прямыми приказами и конкретными целями, но никогда не могут оправдать нарушение воли властей.

Разница между теми достоинствами, которые при коллективистском строе будут пользоваться уважением, и теми, которые исчезнут, станет ясно видна, если сравнить типично немецкие, или, скорее, „типично прусские”, признаваемые даже врагами достоинства, со свойствами, которых немцам, по общему мнению, не хватает и которыми, отчасти справедливо, гордятся англичане. Мало кто возьмется отрицать, что немцы в целом — народ трудолюбивый и дисциплинированный, добросовестный и энергичный до безжалостности, честный и тщательно выполняющий любое дело, что у немцев сильно развиты любовь к порядку, чувство долга и повиновение властям, и что они часто готовы на большие личные жертвы и выказывают незаурядное мужество в случае опасности. Благодаря всему этому, немцы — прекрасное орудие для выполнения любой поставленной задачи, и именно в этом духе их воспитывало как старое прусское государство, так и новый Рейх, где целиком господствует прусский дух. Чего же, как принято думать, „типичному немцу”, не хватает? Индивидуалистических достоинств: терпимости и уважения к другим людям и их взглядам; независимости

мышления, силы духа и той способности отстаивать свои убеждения перед вышестоящими, которую немцы, ощущающие за собой этот недостаток, называют „гражданским мужеством” (Zivilcourage); бережности по отношению к слабым и немощным, а главное — здорового презрения и нелюбви к власти, порождаемых лишь долгой традицией личной свободы. Кроме того, им не хватает массы мелких, но важных достоинств, так облегчающих общение между людьми в свободном обществе: доброты и чувства юмора, уважения к частной жизни соседа и веры в его добрые намерения.

После всего сказанного никого не удивит, что эти индивидуалистические достоинства являются также выдающимися общественными достоинствами, облегчающими социальные контакты, уменьшающими необходимость контроля свыше и одновременно его затрудняющими. Достоинства эти расцветают там, где доминирующим типом общественного устройства стала индивидуалистская система (коммерческого типа), и отсутствуют там, где господствует общество коллективистского, или военного, типа. Именно этим отличаются (или отличались) друг от друга различные области Германии — и не в меньшей степени, чем отличаются теперь взгляды, господствующие в Германии, и взгляды, характерные для западной цивилизации. Интересно, что общие моральные нормы (по крайней мере, до последнего времени) были гораздо ближе к западным, чем к тем, что господствуют ныне в гитлеровском Рейхе, как раз в тех областях Германии, которые дольше всего испытывали на себе цивилизующее влияние торговли — то есть в южно-, западно- и северногерманских (ганзейских) старых торговых городах.

Однако было бы крайне несправедливо считать, что массы в тоталитарных государствах лишены нравственного запала, исходя лишь из того факта, что они оказывают безграничную поддержку системе, представляющейся нам отрицанием всех моральных ценностей. С большинством из них дело, вероятно, обстоит наоборот: и национал-социализм, и коммунизм по силе положенных в их основу нравственных эмоций можно сравнить только с великими истори-

ческими религиозными движениями. Но как только мы соглашаемся, что личность представляет собой лишь средство для служения целям высшей общности, называемой обществом или нацией, то ужасающие нас черты тоталитарных режимов начинают проступать с роковой неизбежностью. С коллективистской точки зрения, нетерпимость и грубое подавление инакомыслия, полное пренебрежение к жизни и счастью отдельного человека — необходимые следствия этой главной предпосылки, и коллективист может, признавая это, одновременно заявлять, что его строй „выше” строя, при котором „эгоистическим” интересам человека дозволяется стоять на пути осуществления целей, преследуемых обществом. Немецкие философы, неустанно изображающие стремление к личному счастью как нечто изначально безнравственное, совершенно искренни, как ни трудно это понять людям, воспитанным в других традициях.

Там, где существует одна общая, всеподавляющая цель, не остается места ни для каких общих правил и этических норм. Мы сами до некоторой степени испытываем это в ходе теперешней войны. Но даже война и величайшая опасность привели в Англии лишь к очень умеренному приближению к тоталитаризму, и мы лишь в очень незначительной степени пренебрегаем всеми иными ценностями во имя главной цели. Однако там, где все общество поставлено на службу нескольким конкретным целям, неизбежно, что жестокость становится в какой-то момент долгом, что действия, возмущающие душу, — например, расстрел заложников или убийство стариков и больных, — начинают казаться простой целесообразностью, что насильственное вырывание с насиженных мест сотен тысяч людей превращается в политическую необходимость, одобряемую всеми, кроме жертв, и всерьез могут рассматриваться идеи вроде „набора женщин в армию для целей размножения”. Для коллективиста всегда существует высшая цель, которой эти действия служат и которая их оправдывает, ибо никакие права и ценности индивидуума не должны служить препятствием к ее достижению.

Но если массы в тоталитарном государстве зачастую одобряют такие действия, и даже совершают их, из бескорыстной

преданности идеалу, пусть для нас отвратительному, то главнейшим извинением быть не может. Чтобы участвовать в управлении тоталитарным государством, недостаточно быть готовым принять на веру благовидные оправдания неблагоприятных поступков: человек должен быть способен сам, по собственной инициативе, преступить любую моральную норму, которую он когда-либо знал, если это необходимо для достижения поставленной цели. Поскольку цели устанавливает единолично верховный вождь, то у его орудий не может быть собственных моральных убеждений. Первое, что от них требуется — это безоговорочная преданность вождю; второе — полная беспринципность и в буквальном смысле слова способность на все. У них не должно быть собственных идей, к осуществлению которых они бы стремились, не должно быть соображений о том, что хорошо и что плохо, которые могли бы помешать намерениям вождя. Поэтому высокие посты мало чем могут привлечь людей, по-прежнему придерживающихся тех моральных убеждений, которыми руководствовались в прошлом народы Европы, мало чем могут скомпенсировать отвратительность множества конкретных задач, и удовлетворить идеалистические стремления, мало чем могут вознаградить за безусловный риск и за неизбежный отказ от радостей личной жизни и личной независимости. Единственное удовлетворяемое в данном случае желание — это желание власти как таковой, удовольствие от того, что тебе повинуются, и от сознания, что ты составляешь часть слаженного, невообразимо мощного механизма, перед которым ничто не может устоять.

Однако если людей, по нашим стандартам хороших, руководящие посты в аппарате тоталитарной власти скорее всего оттолкнут, то людям жестоким и неразборчивым в средствах представится редкая возможность. Возникнет необходимость браться за дела, которые всеми признаются сами по себе „грязными“, но безусловно необходимые для некоторой „высшей цели“, и эти дела должны будут выполняться столь же четко и профессионально, как любые другие. А поскольку будет существовать потребность в подобного рода „грязной работе“, на которую неохотно будут соглашаться те, что еще

не до конца преодолели в сознании пережитки традиционной морали, то готовность к ее выполнению откроет дорогу к продвижению и власти. В тоталитарном обществе много постов, на которых необходимо применять жестокость и запугивание, заниматься сознательным обманом и шпионажем. Ни гестапо, ни администрация концлагеря, ни Министерство пропаганды, ни СА, ни СС (как и их итальянские и советские аналоги) не годятся для проявлений гуманности. А ведь именно через них проходит путь к высочайшим постам в тоталитарном государстве. Выдающийся американский экономист совершенно прав, когда, подобным же образом кратко перечислив обязанности властей в коллективистском государстве, заключает:

„... им придется все это делать, хотя бы они того или не хотят; а вероятность того, что у власти окажутся люди, не любящие власти, равна вероятности назначения человека, известного своим мягкосердечием, надсмотрщиком на плантации, где трудятся рабы”¹³

Однако этим данная тема не исчерпывается. Вопрос отбора лидеров тесно переплетается с более широким вопросом отбора в соответствии со взглядами, или скорее — с готовностью человека приспособиться к беспрестанно меняющемуся набору доктрин. А это подводит нас к одной из наиболее характерных особенностей тоталитаризма: к его обращению с правдой и со всем связанным с этим понятием кругом идей и ценностей. Тема эта настолько обширна, что требует отдельной главы.

Глава 11

КОНЕЦ ПРАВДЫ

Показательно, что обобществление мысли повсюду шло *pari passu*¹ с обобществлением средств производства.

Э. Карр

Для того, чтобы все служили единой системе целей, определенных единым социальным планом, лучше всего сделать так, чтобы все в эту систему целей поверили. Для эффективного функционирования тоталитарного строя мало заставить людей работать во имя единой цели: надо чтобы эта цель стала их собственной. Убеждения, пусть выбранные без их участия и им навязанные, должны стать их собственными убеждениями, общепризнанным верованием, в возможно большей степени побуждающим членов общества поступать так, как требуется властям. Если в тоталитарных странах угнетение обычно ощущается совсем не так остро, как представляется жителям свободных стран, то именно благодаря тому, что тоталитарным правительствам в большой мере удается заставить людей думать так, как это нужно правящей верхушке.

Достигается это, конечно, пропагандой в разных видах. Методы ее уже настолько хорошо известны, что о них неза-

чем распространяться. Необходимо лишь подчеркнуть, что ни пропаганда как таковая, ни ее приемы не являются специфическими особенностями тоталитаризма. Совершенно особый характер и влияние пропаганды в тоталитарных государствах объясняются тем, что вся пропаганда служит одной и той же цели, а каждое из ее орудий и весь аппарат организовывается так, чтобы координированным образом влиять на людей в одном направлении и в конечном счете достичь полной унификации (*Gleichschaltung*²) всех умов. В результате воздействие пропаганды в тоталитарных государствах не только количественно, но и качественно отличается от тех последствий, к которым приводит некоординированная пропаганда, проводящаяся в различных целях независимыми и конкурирующими между собой организациями. Когда все источники информации находятся в одних руках, вопрос уже не просто в том, чтобы убедить людей поступать так или иначе: власть искусного пропагандиста так велика, что он может придать человеческому мышлению любую требуемую форму, и даже самые развитые, самые независимые в своих взглядах люди не могут целиком избежать этого влияния, если их надолго изолировать от всех других источников информации.

Благодаря тому месту, которое отводится пропаганде в тоталитарных странах, она обладает уникальной властью над умами; однако ее специфическое воздействие на нравственность обусловлено не методами, а целью и размахом. Если бы она просто внушала людям целостную систему ценностей, на достижение которых направлены усилия общества, это было бы всего лишь частное проявление уже рассмотренных нами особенностей коллективистской этики. Если бы целью ее было просто дать людям четкий и всеобъемлющий моральный кодекс, то весь вопрос был бы в том, хорош этот моральный кодекс или плох. Как мы уже видели, моральный кодекс тоталитарного общества нас вряд ли может прельстить: стремление к равенству путем экономического планирования может привести лишь к навязываемому сверху неравенству, т. е. волюнтаристскому определению того места, которое должен занимать каждый отдельный

человек в рамках новой иерархической структуры. При этом большинство гуманистических элементов нашей этики — например, уважение к человеческой жизни, к более слабым и к личности вообще — по-просту исчезнут. Как ни отвратительно это большинству людей, и с какими бы изменениями в моральных нормах это ни было связано, такой кодекс обязательно будет полным отрицанием всякой морали. Некоторые его особенности могут показаться суровым моралистам консервативного толка даже более привлекательными, чем слишком гибкие и снисходительные моральные нормы либерального общества.

Однако те моральные последствия тоталитарной пропаганды, которые мы сейчас рассмотрим, гораздо более серьезны и глубоки. Они разрушительны для любой моральной системы, поскольку подрывают одну из основ, на которых покоится всякая этика — чувство правды и уважение к ней. По самому характеру своей задачи тоталитарная пропаганда не может ограничиться теми ценностями, взглядами и моральными убеждениями, в которых человек и так всегда более или менее соотносится с общепринятыми взглядами: она должна распространяться и на область фактов, где человеческим сознанием руководят иные законы. Это происходит по двум причинам. Во-первых, для того, чтобы люди приняли официальную систему ценностей, эти ценности нужно оправдать, то есть продемонстрировать их связь с ценностями уже принятыми, а для этого обычно требуется использовать утверждения о причинно-следственных связях между средствами и целью. Во-вторых, разница между целью и средствами, между поставленной задачей и методами ее достижения, на деле никогда не бывает столь четкой и определенной, как в теоретических дискуссиях, а поэтому людей надо не только убедить в правильности самих конечных целей, но и добиться, чтобы они согласились также с предлагаемой властями оценкой фактов и возможностей, положенной в основу конкретных правительственных мероприятий.

* * *

Как мы уже видели, в свободном мире единого свода этических норм (иначе говоря, всеобъемлющей системы ценностей, неявно содержащейся в экономическом плане) не существует: его приходится создавать. Это необязательно означает, что планирующие органы, берясь за свою задачу, будут осознавать такую необходимость; а если даже и будут — то неизвестно еще, удастся ли создать такой всеобъемлющий кодекс заранее. В ходе планирования будут лишь обнаруживаться противоречия между различными потребностями, и властям придется принимать решения по мере возникновения нужды в этом. Свод ценностей, на которые опираются эти решения, не существует *in abstracto*,³ до того, как требуется принимать решения; он возникает постепенно, по мере их принятия. Мы уже столкнулись с тем, как невозможность отделить общую проблему ценностей от конкретных решений становится для демократических органов непреодолимым препятствием, когда дело доходит до принятия конкретного экономического плана: они не в состоянии договориться о частных деталях — и еще должны при этом прийти к соглашению относительно того, какими ценностями этот план будет руководствоваться.

Однако планирующим органам придется не только решать каждый возникающий вопрос „по существу дела” (то есть давать фактам какую-то оценку, не опираясь при этом на твердые правила формализованной этической системы, поскольку таковой просто не существует) — но и обосновывать свои решения или, по крайней мере, как-то убеждать людей в их правильности. Пусть даже лица, принявшие решение, руководствовались при этом абсолютно ни на чем не основанным мнением, — все равно, если они хотят, чтобы общество не просто пассивно подчинилось этой мере, но активно ее поддержало, необходимо публично представить какой-то руководящий принцип, из которого они якобы исходили. Необходимость подвести рациональную базу под симпатии и антипатии, которыми, за неимением ничего лучшего, вынуждены руководствоваться планирующие органы, а также необходимость представить свои доводы в такой форме, чтобы они были приняты как можно боль-

шим числом людей, будет заставляя власти *строить теории*, то есть системы утверждений, устанавливающих связи между фактами, которые затем превращаются в неотъемлемую часть правящей доктрины. Этот процесс создания „мифа” с целью оправдания своих действий вовсе не обязательно должен осуществляться сознательно. Тоталитарный вождь может руководствоваться просто инстинктивным отвращением к сегодняшнему положению дел и желанием создать новый иерархический порядок, лучше согласующийся с его представлениями о том, кто чего заслуживает. Допустим, он не любит евреев, которые, по всей видимости, столь благополучно процветают в рамках той системы, где для него самого не нашлось достойного места, и восхищается высоким белокурый человеком, „аристократическим” персонажем романов, читанных в юности. Поэтому он с готовностью примет теории, дающие „рациональное” обоснование предрассудков, разделяемых им со своими многочисленными собратьями. Таким образом псевдонаучная теория становится составной частью официального учения, направляющего в большей или меньшей степени деятельность всех и каждого. Или, например, широко распространенная неприязнь к промышленной цивилизации и романтическая тоска по сельской жизни, вместе с уверенностью (скорее всего ошибочной), что из деревенских жителей получаются лучшие солдаты, ложится в основу другого мифа: „кровь и почва” (*Blut und Boden*⁴). Миф этот выражает не просто первичные ценности, но целую систему представлений о причинно-следственных связях между фактами. Стоит этим представлениям превратиться в идеалы, направляющие жизнь всего общества, как они уже более не могут подвергаться сомнению.

Необходимость такой официальной доктрины для руководства людьми и их сплочения ясно предвидели многие теоретики тоталитаризма. Платоновская „возвышенная ложь” и сорелевские „мифы” служат той же цели, что расовое учение нацистов и муссолиниевская теория корпоративного государства.⁵ Все они основаны на конкретных взглядах на факты, которые затем, расширяясь и перерабатываясь,

превращаются в научные теории, оправдывающие предвзятое мнение.

* * *

Легче всего убедить людей в подлинности ценностей, которым их заставляют служить, если объяснить им, что это те самые ценности, в которые они (или во всяком случае лучшие из них) всегда верили: просто раньше эти ценности понимались неправильно. Людей вынуждают низвергнуть старых богов и начать поклоняться новым под тем предлогом, что новые боги воплощают все, что люди и прежде смутно ощущали, во что всегда инстинктивно верили. Наиболее эффективный для этой цели прием — употребление прежних слов, но с измененным смыслом. В этом, пожалуй, самая непонятная для поверхностного наблюдателя и в то же время самая характерная особенность всей интеллектуальной атмосферы тоталитарных стран: полное извращение языка, подмена смысла слов, призванных выражать идеалы нового строя.

Хуже всего в этом отношении, конечно, слову „свобода”. Слово это употребляется в тоталитарных странах не реже, чем в прочих. Можно даже сказать — и пусть это послужит предостережением против любых искусителей, предлагающих „Новые свободы вместо старых”⁶ — что там, где свобода в нашем понимании была уничтожена, это почти всегда происходило во имя какой-то новой, обещанной людям свободы. Есть и среди нас сторонники „планирования во имя свободы”, сулящие нам „коллективную свободу для объединенных людей”; что это за свобода, можно догадаться из того, что ее глашатай счел необходимым заверить нас, что „приход планируемой свободы, разумеется, не означает, что все (sic!) прежние виды свободы должны быть уничтожены”. Доктор Карл Маннгейм, из чьего труда⁷ взяты вышеприведенные фразы, по крайней мере предупреждает, что „концепция свободы по образцу прошлого века является препятствием для какого бы то ни было реального понимания этой проблемы”. Но в его устах слово „свобода” не менее обман-

чиво, чем в устах тоталитаристских политиков. Предлагаемая им „коллективная свобода”, как и та, которую предлагают они — это не свобода для членов общества, а неограниченная свобода плановых органов, свобода делать с обществом все, что им заблагорассудится.⁸ Здесь смешение свободы с властью доведено до крайнего предела.

В данном конкретном случае извращение смысла слова „свобода” было, разумеется, хорошо подготовлено вереницей немецких философов, и не в последнюю очередь — многими теоретиками социализма. Однако „свобода” — далеко не единственное слово, получившее прямо противоположный смысл и тем самым превратившееся в орудие тоталитарной пропаганды. Как мы уже видели, то же самое происходит со словами „справедливость” и „законность”, „право” и „равенство”; этот список можно расширить за счет почти всей общепотребительной морально-этической и политической терминологии.

Если человек не испытал этого процесса на собственном опыте, то ему трудно вообразить себе размеры этого пережизнения семантики слов и путаницу, к которой оно приводит, а также понять, насколько все эти семантические сдвиги делают невозможной любую рациональную дискуссию. Нужно видеть своими глазами, как становится невозможным всякое подлинное общение между двумя братьями, которые начинают говорить на двух разных языках уже вскоре после того, как один из них переходит в новую веру. Путаница эта усиливается еще и потому, что подмена смысла слов, обозначающих политические идеалы, происходит не в один прекрасный момент — это непрерывный процесс, используемая осознанно или бессознательно методика руководства человеческими массами. В ходе этого процесса весь язык постепенно оказывается выхолощенным, слова превращаются в пустые, лишённые смысла скорлупки, способные обозначать и прежнее понятие, и его полную противоположность, и употребляющиеся только в силу все еще связанных с ними эмоциональных ассоциаций.

* * *

Подавляющее большинство людей нетрудно лишить независимости мышления. Но необходимо заставить замолчать и меньшинство, склонное ко всему относиться критически. Мы уже видели, почему принуждение нельзя ограничить лишь одобрением и принятием морального кодекса, положенного в основу плана, который призван направлять всю общественную жизнь. Поскольку многие элементы этого кодекса никогда не будут сформулированы открыто, поскольку многие деления этой всеобъемлющей шкалы ценностей будут существовать в неявном виде лишь в самом плане — то сам план, во всех его мельчайших деталях (а фактически — каждое действие правительства) должен превратиться в нечто священное, не подлежащее никакой критике. Чтобы без колебаний поддерживать общие установки, люди должны быть убеждены в верности не только целей, но и избранных средств. Поэтому в официальную систему верований, приверженцами которой необходимо сделать всех, войдут и все взгляды и оценки фактов, положенные в основу плана. Открытая критика, или даже выражение сомнений, должны быть подавлены, т. к. ослабляют общественную поддержку. Как сообщают Уэббы, на каждом советском предприятии „пока идет работа, всякое публичное выражение сомнения, или даже опасения, что план не будет выполнен или не принесет ожидаемых результатов, есть проявление нелояльности или даже неблагонадежности, ибо может плохо повлиять на усердие остальных работников”.⁹ Если же сомнение или опасение относятся не к какому-то конкретному предприятию, а ко всему социальному плану, они тем более рассматриваются как саботаж.

Итак, факты и теории должны будут стать предметом официальной доктрины в той же мере, как и взгляды на вопросы морали. Весь аппарат распространения знаний — школы и печать, радио и кино — будет применяться для распространения только тех взглядов (неважно, истинных или ложных), которые усиливают веру в правильность принятых властями решений, тогда как всякая информация, способная вызвать колебания или сомнения, будет утаиваться. Каждый раз, когда будет решаться, как поступить с какой-то кон-

кретной информацией — опубликовать или запретить — единственным критерием станет вопрос о том, как она повлияет на лояльность населения по отношению к существующему режиму. Ситуация в тоталитарном государстве всегда и во всех областях такова, как в других странах бывает во время войны, да и то лишь в некоторых отношениях. Все, что может вызвать недовольство или сомнение в мудрости правительства, от народа скрывается. Основания для неблагоприятного сравнения с условиями жизни в других странах, сведения о иных возможных курсах действий, отличных от принятого в стране, информация, наводящая на мысль о том, что правительство не выполняет своих обещаний или не использует имеющихся возможностей улучшения условий — все это замалчивается. Следовательно, нет сферы, в которой информация систематически не контролировалась бы, в которой не навязывались бы унифицированные взгляды.

Это относится даже к областям, как будто наиболее удаленным от всяких политических интересов: в частности, ко всем, даже самым абстрактным, отраслям знания. Легко понять (и это неоднократно подтверждалось на опыте), что в дисциплинах, непосредственно занимающихся человеческим обществом, а потому прямо затрагивающих политические взгляды, — например, в области истории, экономики или права, — тоталитарный строй не может допустить бескорыстного стремления к истине, и единственной задачей гуманитарных наук становится подтверждение официальных взглядов. Действительно, эти дисциплины во всех тоталитарных странах превратились в фабрики официальных мифов, при помощи которых правители руководят умами и устремлениями своих подданных. Неудивительно, что в этих областях никто даже не делает вида, что пребывает в поисках истины, а что публиковать и какие доктрины преподавать — решают непосредственно власти.

Однако тоталитарный контроль распространяется и на предметы, на первый взгляд политического значения не имеющие. Иногда трудно объяснить, почему одни теории подвергаются официальному осуждению, а другие поднимаются на щит; кстати, любопытно, что в своих симпатиях

и антипатиях различные тоталитарные режимы довольно схожи. В частности, все они почему-то испытывают резкую неприязнь к абстрактным формам мышления — неприязнь, выказываемую и многими коллективистами среди наших ученых. Нападают ли они на теорию относительности как на „семитское подрывание основ христианской и нордической физики” или выступают против нее, т. к. она „противоречит диалектическому материализму и марксистскому учению” — все это дела, в общем, не меняет. Так же точно неважно, чем обосновываются нападки на некоторые положения математической статистики: тем, что они „являются частью классовой борьбы и продуктом исторической роли „математики как служанки буржуазии”, или же тем, что „нет гарантии, что эта отрасль науки будет служить интересам народа”. Повидимому, жертвой является не только прикладная, но и чистая математика: некоторые теории о природе непрерывности относят к „буржуазным предрассудкам”. По словам Уэббов, страницы журнала *За марксистско-ленинское естествознание* пестрят лозунгами типа „За партийность в математике” или „За чистоту марксистско-ленинской теории в хирургии”. Положение в Германии мало чем отличается от описанного Уэббами: *Журнал национал-социалистской ассоциации математиков* полон „партийности в математике”, а один из известнейших немецких физиков, лауреат Нобелевской премии Леннард, подытожил труд всей своей жизни в работе под названием *Германская физика в четырех томах!*

Осуждение любой деятельности, не имеющей практической цели, вполне в духе тоталитаризма. Чистая наука, чистое искусство одинаково ненавистны нацистам, коммунистам и нашим интеллектуалам-социалистам. *Всякая* деятельность должна иметь сознательную социальную направленность. Не должно существовать спонтанной, ненаправленной деятельности, ибо она может принести непредсказуемые и не предусмотренные планом результаты. Она может создать что-то новое, „что и не снилось нашим мудрецам” из планирующих органов. Пусть читатель сам догадается, в Германии или в России шахматистов официаль-

но призвали „раз и навсегда покончить с нейтральностью шахмат” и обязали „бесповоротно осудить „шахматы для шахмат”, как и „искусство для искусства”.”

При всей кажущейся невероятности этих извращений, мы не можем отбросить их как случайные побочные продукты, не имеющие никакого отношения к основам планового или тоталитарного строя. Они не случайны. Они являются прямым следствием стремления во всем исходить из „единой концепции целого”, желания любой ценой утвердить взгляды, ради которых людям приходится непрерывно идти на жертвы, и представления о человеческих знаниях и убеждениях как об орудиях, которые надо поставить на службу единой цели. Как только наука начинает служить не интересам истины, а интересам класса, общества или государства, единственной целью споров и обсуждений становится защита и дальнейшее распространение направляющих общество убеждений. Как объяснил нацистский министр юстиции, каждая новая научная теория должна прежде всего поставить перед собой вопрос: „Служу ли я национал-социализму на благо всего общества?”

Само слово „истина” постепенно теряет прежний смысл. Раньше оно означало нечто, что требовалось найти, причем единственным судьей того, достаточно ли вески представленные доказательства (или авторитет того, кто провозглашает что-то истинным) являлось человеческое сознание: теперь оно означает нечто, что устанавливают органы власти, во что необходимо верить в интересах единства и что можно изменить, если того требуют общественные задачи.

Порождаемая подобной ситуацией общая интеллектуальная атмосфера, полнейший цинизм в отношении правды, потеря чувства правды и даже смысла слова „истина”, исчезновение независимого исследовательского духа и веры в силу рациональных убеждений, превращение различия во взглядах в любой области знаний в политический вопрос, решаемый властями, — все это надо испытать на себе; ни одно описание не может передать масштабов происходящего. Но, может быть, всего тревожней то, что презрение к интеллектуальной свободе появляется не только с установлением

тоталитарного строя: его можно встретить повсюду среди интеллектуалов, перешедших в коллективистскую веру и провозглашаемых интеллектуальными лидерами даже в странах, где еще сохраняется либеральный строй. Мало того, что люди, притязающие на право говорить от имени ученых либеральных стран, во имя социализма оправдывают даже самое худшее угнетение и открыто пропагандируют тоталитарный строй: они во всеуслышание восхваляют нетерпимость. Разве не читали мы недавно английского популяризатора науки, защищающего инквизицию, которая, по его мнению, „полезна для науки, когда служит интересам восходящего класса“?¹⁰ Такой взгляд на вещи практически ничем не отличается от взглядов, приведших нацистов к преследованию ученых, сожжению научных книг и систематическому искоренению ума и совести покоренной нации — ее интеллигенции.

* * *

Стремление навязать людям систему верований, которая, как предполагается, должна стать для них спасительной, разумеется, не ново и присуще отнюдь не только нашему времени. Новы аргументы, которыми наши интеллектуалы пытаются его оправдать. В нашем обществе, по их словам, нет подлинной свободы мысли, ибо мнения и вкусы масс формируются пропагандой, рекламой, примером высших классов и другими внешними факторами, неизбежно заставляющими человеческое мышление двигаться по проторенной дорожке. Отсюда делается вывод, что, поскольку вкусы и идеалы подавляющего большинства все равно определяются обстоятельствами, подвластными контролю человека, мы должны сознательно использовать эту власть, направив мысли людей в русло, представляющееся нам желательным.

Возможно, подавляющее большинство действительно нечасто способно мыслить независимо; возможно, по множеству вопросов люди действительно придерживаются общепринятых взглядов, и им одинаково уютно в любой системе

верований – как в той, которую им вдалбливали с рождения, так и в новой, куда их заманили лестью и посулами. В любом обществе свобода мысли, вероятно, будет реально важна лишь для ничтожного меньшинства. Но это отнюдь не означает, что кто-то полномочен производить отбор тех, за кем эта свобода сохранится, или должен быть наделен такой властью. Это не означает, что кто-то, один человек или группа, может притязать на право определять, что люди должны думать и во что верить. Утверждение, что поскольку при каждом режиме большинство людей следует чьему-то примеру, то ничего не изменится, если одному и тому же примеру последуют *все*, свидетельствует о полной интеллектуальной несостоятельности и смешении элементарных понятий. Приносить ценность интеллектуальной свободы на том основании, что она никогда не предоставит всем одинаковых способностей независимо мыслить – значит совершенно не понимать, чем так ценна интеллектуальная свобода. Она в состоянии выполнять функцию *primum mobile*¹¹ интеллектуального прогресса не в том случае, когда каждый способен что-нибудь придумать или написать, а когда любую идею или вопрос можно подвергнуть обсуждению. Пока инакомыслие не подавляется, всегда найдется кто-нибудь, кто подвергнет сомнению идеи, господствующие в умах его современников, и начнет на свой страх и риск обсуждать и пропагандировать новые.

Именно такое взаимодействие различных людей, обладающих различными знаниями и различными взглядами, и составляет суть интеллектуальной жизни. Развитие человеческого разума есть социальный процесс, основанный на существовании подобных различий. В том-то и состоит его суть, что мы не можем предсказать результаты этого процесса, не знаем, какие взгляды способствуют этому развитию, а какие – нет. Короче говоря, направлять этот процесс, исходя из наших сегодняшних представлений – значит ему мешать. „Планирование” или „организация” духовного развития, как, кстати, и прогресса вообще – это противоречие в терминах. Те, кто полагают, что человеческий разум должен „сознательно” управлять процессом собственного

развития, просто смешивают разум отдельного человека, который только и может чем-либо „сознательно управлять”, и межличностный, коллективный процесс, обуславливающий это развитие. Пытаясь им управлять, пытаясь регулировать и контролировать этот процесс, мы лишь создаем на его пути препоны, которые рано или поздно приведут к застою мысли и деградации разума.

Трагедия коллективистской мысли в том, что, начав с признания верховной власти разума, она кончает его уничтожением, ибо неверно понимает процесс, от которого зависит развитие разума. Можно даже сказать, что перед нами парадокс всякой коллективистской доктрины с ее требованием „сознательного” контроля или „сознательного” планирования: и то, и другое неизбежно приводит к требованию верховной власти для какого-нибудь отдельного человека — тогда как в действительности только индивидуалистический подход к социальным явлениям позволяет нам признать определяющую роль надличностных сил, направляющих развитие разума. Таким образом, индивидуализм характеризуется смирением перед не зависящим от нас социальным процессом и терпимостью по отношению к чужим взглядам. Словом, он представляет собой полную противоположность той интеллектуальной гордыне, которая лежит в основе требования единого и всеобъемлющего руководства интеллектуальным развитием общества.

Глава 12

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ КОРНИ НАЦИЗМА

Все антилиберальные силы объединяются
против всего либерального.

А. Меллер ван ден Брук

Широко распространено представление о национал-социализме как о бунте против разума, как об иррациональном движении без интеллектуальной основы. Если бы это было так, нацизм был бы гораздо менее опасен; но нет ничего обманчивее такого представления. Национал-социалистское учение — венец длительной эволюции философской мысли, чье влияние было громадным не только в Германии, но и далеко за ее пределами. Как бы ни смотреть на исходные посылки нового учения, невозможно отрицать, что его творцы были сильными мыслителями, оставившими отпечаток на всей европейской философии. Свою систему они строили с безжалостной последовательностью. Стоит человеку согласиться с ее исходными посылками, и он уже не может вырваться из когтей их логики. Это голый коллективизм, очищенный от всяких примесей индивидуалистической традиции, способной помешать его претворению в жизнь.

Немецкие мыслители были отнюдь не единственными начинателями этого пути развития. Труды Томаса Карлейля

и Хьюстона Стюарта Чемберлена, Огюста Конта и Жоржа Сореля — такая же неотъемлемая часть этого философского направления, как и работы немцев. Эволюцию его в самой Германии хорошо показал Р. Д. Батлер в своем исследовании *Корни национал-социализма*. Прослеженная им живучесть этой линии, ее периодическое возрождение в почти неизменном виде на протяжении ста пятидесяти лет выглядит зловеще; и тем не менее значение ее в Германии до 1914 г. легко преувеличить. Это было лишь одно из философских направлений в стране, отличавшейся тогда, вероятно, самым большим разнообразием взглядов в мире. Да к тому же идеи эти разделялись лишь незначительным меньшинством, а у большинства немцев вызывали не меньшее презрение, чем у всех остальных.

Но в таком случае почему же эти взгляды реакционного меньшинства в конце концов завоевали поддержку подавляющего большинства немцев и практически всей немецкой молодежи? Успех их вызван не только поражением в войне и связанными с ним страданиями, не только взрывом национализма, и уж отнюдь не капиталистической реакцией на надвигающийся социализм, как многим хочется думать. Наоборот, поддержка, приведшая эти идеи к власти, исходила как раз из социалистического лагеря. Им помогла не буржуазия, а, наоборот, отсутствие сильной буржуазии.

Теории, которыми руководствовались политики, находившиеся у власти в период Веймарской республики, были направлены не против социалистического в марксизме, а против сохранившихся в нем остатков либерализма в виде интернационализма и демократичности, и по мере того, как все ясней становилось, что именно эти элементы мешают претворению в жизнь социализма, левые социалисты начали все теснее сближаться с социалистами правого толка. Именно союз правых и левых антикапиталистических сил, слияние радикального социализма с консервативным, и привело к вытеснению из Германии всех либеральных сил.

Между социализмом и национализмом в Германии с самого начала существовала тесная связь. Показательно, что все крупнейшие предшественники национал-социализма —

Фихте, Родбертус и Лассаль — являются в то же время общепризнанными творцами социализма. Пока немецкое рабочее движение направлялось теоретическим социализмом в его марксистской форме, авторитарные и националистические его элементы оставались на заднем плане. Но это продолжалось недолго.¹ Начиная с 1914 г., из рядов социалистов марксистского толка начали один за другим выдвигаться проповедники, обращавшие в национал-социалистскую веру не консерваторов и реакционеров, а тружеников и идеалистически настроенную молодежь. Только после этого национал-социализм стал играть первостепенную роль и быстро перерос в гитлеризм. Началом развития, породившего национал-социализм, была военная истерия 1914 г., от которой Германия из-за своего поражения никогда полностью не оправилась, и в этот период росту национал-социализма значительно способствовали бывшие социалисты.

* * *

Первым, и в некотором отношении наиболее характерным представителем этого пути развития является ныне покойный профессор Вернер Зомбарт, чья на шумевшая книга *Händler und Helden* („Торгаши и герои“) вышла в свет в 1915 году. Зомбарт начинал как социалист марксистского толка и еще в 1909 г. с гордостью писал, что посвятил большую часть жизни борьбе за распространение идей Карла Маркса. Он действительно больше любого другого сделал для пропаганды в Германии всякого рода социалистических идей и недовольства капитализмом; и если немецкая философская мысль была пропитана марксистскими элементами как никакая другая (до Русской революции), то это в значительной мере — заслуга Зомбарта. Одно время он считался выдающимся представителем преследуемой социалистической интеллигенции и из-за своих радикальных взглядов не мог получить кафедры в университете. Даже после конца прошлой войны его исторические работы, оставшиеся марксистскими по подходу, хотя в области политики он давно отошел от марксизма, продолжали оказывать широкое влияние как

в Германии, так и за ее пределами. Особенно это влияние чувствуется в трудах многих английских и американских сторонников планирования.

В своей книге времен войны этот старый социалист приветствует „германскую войну” как неизбежное столкновение торгашеской цивилизации Англии с героической германской культурой. Его презрение к „торгашеским” взглядам английского народа, утеравшего всякие воинственные инстинкты, не имеет границ. Для него нет ничего отвратительнее всеобщего стремления к личному счастью; руководящий, как он считает, принцип английской этики — „да будет у тебя все благополучно и да продлятся твои дни на земле” — для него „самый мерзкий из принципов, порожденных торгашеским духом”. Согласно „немецкой идее государственности”, сформулированной Фихте, Лассалем и Родбертусом, государство основано и сформировано не отдельными лицами, не является совокупностью отдельных лиц, и цель его — не в том, чтобы служить интересам личности. Это Volksgemeinschaft,² в котором у индивидуума нет прав, а есть только обязанности. Притязания индивидуума — всегда плод торгашеского духа. „Идеи Французской Революции 1789 г.” — Свобода, Равенство, Братство — идеалы торгашеские, единственная цель которых — обеспечить определенные преимущества для частных лиц.

До 1914 г. всем подлинно германским идеалам героической жизни угрожала смертельная опасность со стороны непрерывно наступавших английских торгашеских идеалов, английского комфорта и английского спорта. Английский народ не только разложился сам (каждый тред-юнионист погряз в „трясине комфорта”), но и начал заражать другие народы. Только война напомнила немцам, что они нация воинов, у которых всякая деятельность, в том числе и экономическая, была всегда подчинена военным задачам. Зомбарт знает, что другие народы презирают немцев за то, что для них война священна — но сам он этим только гордится. Отношение к войне как к чему-то бесчеловечному и бессмысленному — порождение торгашеских взглядов. Есть жизнь, высшая, чем жизнь индивидуума: жизнь нации

и государства, и цель индивидуума — жертвовать собой ради этой высшей жизни. Война для Зомбарта — воплощение героического отношения к жизни, а война с Англией — это война против противоположного идеала — торгашеского идеала личной свободы — и английского комфорта, худшим выражением которого он считает безопасные бритвы, которые немецкие солдаты находили в английских окопах.

* * *

Патетическая фразеология Зомбарта оказалась в то время излишне напористой даже для большинства немцев; зато другой немецкий профессор пришел к тем же, в сущности, идеям в более умеренной, более научной, а потому и более действенной форме. Профессор Иоганн Пленге был не меньшим специалистом по Марксу, чем Зомбарт. Его книга *Маркс и Гегель* знаменует собой начало современного возрождения Гегеля в среде ученых-марксистов, и начинал он, несомненно, с самых что ни на есть социалистических взглядов. Среди его многочисленных публикаций военного времени наиболее значительной является небольшая, но широко тогда обсуждавшаяся книга с характерным названием: *1789 и 1914: символические годы в истории политической мысли*. Она посвящена конфликту между „идеями 1789 г.“ — идеалом свободы — и „идеями 1914 г.“ — идеалом организации общества. Для него, как и для всех социалистов, чей путь к социализму знаменуется механическим перенесением идеалов точных наук на социальные проблемы, организация — суть социализма. Он правильно подчеркивает, что именно она лежала в основе социалистического движения в момент зарождения его во Франции в начале девятнадцатого века. Эту основополагающую идею социализма Маркс и марксисты предали, в силу своей фанатичной, но утопической приверженности к абстрактной идее свободы. Только теперь идее организации общества снова начинают отдавать должное за границей, как о том свидетельствуют труды Г. Уэллса (книга *Будущее в Америке* глубоко повлияла на профессора Пленге, для которого Уэллс — один из вы-

дающихся деятелей современного социализма), но особенно в Германии, где ее лучше всего поняли и наиболее полно осуществляют. Поэтому война между Англией и Германией — в действительности конфликт между двумя антагонистическими принципами. „Экономическая мировая война” есть третья великая эпоха духовной борьбы в новейшей истории. Она не менее важна, чем Реформация и буржуазная революция. Это борьба за победу новых, порожденных передовой экономикой девятнадцатого века сил: социализма и организации общества.

„Поскольку в сфере идей Германия была наиболее убежденной сторонницей всех социалистических упований, а в сфере реальности — наиболее мощной созидательницей высокоорганизованного экономического строя, двадцатый век — это мы. Чем бы ни кончилась война, мы — народ-образец. Нашим идеям предстоит определить ход жизни человечества. — Мировая история в настоящий момент являет колоссальное зрелище того, как новый великий жизненный идеал близится вместе с нами к окончательной победе, тогда как в Англии один из всемирно-исторических принципов терпит окончательный крах”.

Созданная в Германии в 1914 г. военная экономика — это „первое реальное воплощение социалистического общества, и дух ее — первое действенное проявление духа социализма. Военные нужды упрочили социалистическую идею в немецкой экономике, и таким образом оборона страны подарила человечеству идею 1914 г., идею немецкой организации, народной общности (Volksgemeinschaft) национального социализма... Незаметно для нас вся наша политическая жизнь, и государственная, и промышленная, поднялась на более высокую ступень. Государство и экономика образуют новое единое целое... Чувство экономической ответственности, характеризующее работу должностных лиц, пронизывает все частные виды деятельности... Новое немецкое корпоративное устройство экономики (которое, как признает сам профессор Пленге, еще не завершено) — высочайшая из известных миру

форм государственного устройства”.

Вначале профессор Пленге еще надеялся примирить идеал свободы с идеалом организации общества, правда, в основном путем полного, хотя и добровольного, подчинения личности коллективу. Однако эти остатки либеральных идей скоро исчезают из его сочинений. К 1918 г. в его философской системе слияние социализма с безжалостной политикой с позиции силы стало полным. Незадолго до конца войны он следующим образом превозносит своих соотечественников в социалистическом журнале *Die Glocke*:

„Давно пора признать, что социализм должен быть политикой с позиции силы, ибо он должен быть организацией. Социализм должен завоевать власть: ему ни в коем случае нельзя слепо уничтожать власть. Во время войны между народами критически важным для социализма является следующий вопрос: какой народ в первую очередь призван властвовать, ибо является примером и лидером в деле организации народов?”

Он предсказывает все идеи, которыми впоследствии стали оправдывать гитлеровский „Новый порядок”:

„Разве именно с точки зрения социализма, который есть организация, не является безусловное право наций на самоопределение правом на индивидуалистическую экономическую анархию? Неужели мы согласны даровать индивидууму в экономике право на полное самоопределение? Последовательный социализм может давать людям право на объединение только в соответствии с реальной, исторически детерминированной расстановкой сил”.

* * *

Идеи, столь ясно изложенные Пленге, были особенно популярны (а возможно, даже брали свое начало) в некоторых кругах немецких ученых и инженеров, требовавших централизованного планирования всех областей жизни, как сейчас их английские коллеги. Ведущую роль среди них играл известный химик Вильгельм Освальд, одно из высказываний которого стало знаменитым. Именно, он публично заявил, что

„Германия стремится организовать Европу, которой до сих пор не хватает организованности. А теперь я открою вам великий секрет Германии: мы, или, может быть, германская раса, первыми поняли важность организации. Другие страны все еще живут при индивидуализме; мы уже достигли полной организованности”.

Аналогичные идеи были в ходу в кругах, близких к немецкому сырьевому диктатору Вальтеру Ратенау.³ Хотя последний и содрогнулся бы, увидев, к чему привела страну его тоталитарная экономика, но тем не менее проповедовавшиеся им концепции заслуживают быть отмеченными в любой более или менее полной генеалогии нацистских идей. Его сочинения, может быть, больше всех повлияли на экономические взгляды поколения, выросшего в военной и послевоенной Германии; а некоторые из его ближайших сотрудников впоследствии образовали ядро геринговского Управления пятилетнего плана. Очень близки к идеям Пленге также идеи другого бывшего марксиста, Фридриха Науманна, чья *Центральная Европа (Mitteleuropa)* была, вероятно, самой читаемой в Германии книгой времен первой мировой войны.⁴ Но полнее всего развил и шире всего распространил эти идеи другой активный политик-социалист, представитель левого крыла социал-демократической партии в Рейхстаге, Пауль Ленш. Уже в ранних своих книгах он изображал войну как „поспешное отступление английской буржуазии перед натиском социализма” и объяснял, насколько отличается социалистический идеал свободы от английского ее понимания. Но лишь в третьей, наиболее популярной его книге военного времени *Три года мировой революции*,⁵ эти характерные идеи получили, не без влияния Пленге, свое полное развитие. Свои рассуждения Ленш строит на интересном и во многих отношениях точном историческом анализе бисмарковского протекционизма, приведшего в Германии к той концентрации и картелизации промышленности, которая, с его марксистской точки зрения, является высшей стадией промышленного развития.

„В результате крутого поворота в политике Бисмарка⁶ после 1879 г. Германия стала играть революционную роль,

иначе говоря, роль государства, представляющего в мире высший и более прогрессивный экономический строй. Поняв это, мы поймем, что *в нынешней мировой революции Германия представляет революционную сторону, а ее сильнейший противник, Англия – контрреволюционную*. Это доказывает, насколько мало конституция страны, будь она либеральной и республиканской или же монархической и автократической, влияет на вопрос о том, можно ли считать эту страну либеральной с точки зрения исторического развития. Проще говоря, наши концепции либерализма, демократии и т. д. заимствованы из английского индивидуализма, согласно которому государство со слабым правительством – государство либеральное, а всякое ограничение свободы индивидуума – проявление автократии и милитаризма”.

В Германии, которой „было исторически предначертано стать образцом” этой высшей формы экономического устройства,

„борьба за социализм поразительно упростилась, ибо все необходимые предпосылки социализма там уже существовали. Поэтому для всех социалистических партий было жизненно важно, чтобы Германия восторжествовала над врагом и тем самым смогла выполнить свою историческую миссию: революционизировать мир. Таким образом, война Антанты против Германии походила на попытку низших слоев буржуазии докапиталистической эпохи остановить упадок своего класса.

Организация капитала (продолжает Ленш), стихийно начавшаяся еще перед войной и развивавшаяся уже значительно во время войны, будет систематически продолжаться и после войны, причем не из любви к организационному искусству и не из-за признания социализма высшим принципом общественного развития. Классы, являющиеся сегодня на практике пионерами социализма, в теории являются, или во всяком случае являлись до недавнего времени, его заклятыми врагами.

Социализм наступает, и фактически уже в какой-то степени наступил, ибо мы больше не можем без него жить”.

Единственные, кто все еще противится этой тенденции — либералы.

„Эта категория людей, которые, сами того не осознавая, рассуждают исходя из английских мерок, включает в себя всю немецкую образованную буржуазию. Их политические представления о „свободе” и „гражданских правах”, о конституционализме и парламентаризме, заимствованы из индивидуалистического мировоззрения, классическим воплощением которого является английский либерализм и которое было усвоено представителями немецкой буржуазии в 50-е, 60-е и 70-е гг. девятнадцатого века. Но эти понятия устарели и отжили свой век точно так же, как старомодный английский либерализм, подорванный нынешней войной. Теперь необходимо отделаться от этих унаследованных нами политических идеалов и способствовать развитию новой концепции государства и общества. В этой сфере социализм также должен сознательно и решительно противостоять индивидуализму. Между прочим, стоит в связи с этим отметить любопытный факт: в так называемой „реакционной” Германии трудящиеся классы завоевали гораздо более прочное положение и играют гораздо большую роль в управлении государством, чем в Англии и Франции”.

Далее Ленш высказывает соображения, в которых опять-таки много верного:

„Поскольку с помощью (всеобщего) избирательного права социал-демократы заняли все, какие только можно было, посты в Рейхстаге, в муниципальных советах, в судах по разбору трудовых споров, в фондах пособий по болезни и т. д., то они очень глубоко проникли в государственный организм; но за это им пришлось заплатить глубоким влиянием, которое государство, в свою очередь, стало оказывать на трудящиеся классы. Благодаря пятидесятилетним неустанным трудам социалистов, государство сейчас, разумеется, не то, каким было в 1867 г., когда впервые вошло в силу всеобщее избирательное право; но и социал-демократия, в свою очередь, уже не та, какой была тогда. *Государство подверглось процессу*

социализации, а социал-демократия — процессу национализации”.

* * *

Идеи Пленге и Ленша поочередно вдохновляли непосредственных творцов национал-социализма, в частности, Освальда Шпенглера и А. Меллера ван ден Брука (назовем лишь два наиболее известных имени).⁷ По поводу того, можно ли считать первого из них социалистом, мнения расходятся, но то, что в своей брошюре 1920 г. *Пруссачество и социализм* он просто отразил идеи, широко распространенные среди социалистов, совершенно очевидно. Достаточно привести лишь несколько образцов его аргументации. „Старый прусский дух и социалистические убеждения, сегодня ненавидящие друг друга, как могут ненавидеть только братья — это одно и то же”. Представители западной цивилизации в Германии, т. е. немецкие либералы — это „невидимая английская армия, которую после битвы под Йеной Наполеон оставил на немецкой земле”. В глазах Шпенглера такие люди, как Харденберг, Гумбольдт и прочие либеральные реформаторы — „англичане”. Однако этот „английский” дух будет изгнан немецкой революцией, начавшейся в 1914 г.

„Три последние нации Запада стремились к трем формам существования, отраженным в знаменитых лозунгах: Свобода, Равенство, Общность. Эти формы политически проявляются как либеральный парламентаризм, социал-демократия и авторитарный социализм⁸ ... Немецкий или, вернее, прусский инстинкт подсказывает: власть должна принадлежать Общности. ... Всякому отводится свое место. Человек либо командует, либо подчиняется. Таков, начиная с восемнадцатого века, авторитарный социализм, в основе своей антилиберальный и антидемократический (если имеются в виду английский либерализм и французская демократия) ... В Германии много возбуждающих ненависть и пользующихся дурной славой контрастов, но презрение на германской земле вызывает только либерализм.

Структура английской нации основана на различии между богатыми и бедными, структура прусской — на различии между командующими и подчиняющимися. Соответственно, смысл классовых различий в этих странах фундаментально противоположен”.

Выявив основное различие между английским конкурентным строем и прусской системой „экономического администрирования” и показав (тут он сознательно следует Леншу), что, начиная с Бисмарка, целенаправленная организация экономики постепенно принимала все более и более социалистические формы, Шпенглер продолжает:

„В Пруссии существовало подлинное государство в самом высоком смысле этого слова. Строго говоря, там не было частных лиц. Каждый, кто жил внутри системы, работавшей с точностью часового механизма, был как-то ее звеном. Поэтому ведение общественных дел не могло находиться в руках частных лиц, как предполагается при парламентаризме. Это была служба (Amt) — государственная должность, где облеченный властью политический деятель был слугой народа, слугой Общности”.

„Прусская идея” требует, чтобы все превратились в государственных чиновников, чтобы всякое жалование и заработная плата устанавливались государством. В частности, в официальную должность превращается управление любой собственностью. Государством будущего будет Beamtenstaat.

„Но вопрос, критический не только для Германии, но и для всего мира, вопрос, который должна решить *Германия* ради *всего мира*, это вопрос о том, предстоит ли в будущем торговле управлять государством или государству — торговлей. В этом вопросе пруссачество и социализм — одно... Пруссачество и социализм борются с Англией — Англией среди нас”.

Отсюда был лишь шаг до заявления „святого-покровителя” национал-социализма Меллера ван ден Брука, что мировая война — это война между либерализмом и социализмом: „Мы проиграли войну с Западом. Социализм проиграл войну с либерализмом”.⁹ Как и для Шпенглера, либерализм для него — заклятый враг. Меллер ван ден Брук восхищается

тем, что

„в сегодняшней Германии нет либералов. Есть молодые революционеры, есть молодые консерваторы. Но кому быть либералом?... Либерализм — это жизненная философия, от которой немецкая молодежь сейчас отворачивается с отвращением, с гневом, с совершенно особым презрением и насмешкой, ибо нет ничего более чуждого, более отвратительного, более противоположного ее жизненной философии. Сегодняшняя немецкая молодежь видит в либерале своего *заклятого врага*”.

„Третий Рейх” Меллера ван ден Брука был призван дать немцам социализм, приспособленный к их национальному характеру и не запятанный западными либеральными идеями. Так и произошло.

Цитируемые авторы отнюдь не были исключениями. Еще в 1922 г. беспристрастный наблюдатель писал о „странном и, на первый взгляд, удивительном явлении”, характерном для тогдашней Германии:

„Согласно этой точке зрения, битва с капиталистическим строем есть продолжение войны с Антантой оружием силы духа и экономической организации, есть путь, ведущий к практическому социализму, и возвращение народа к его лучшим и благороднейшим традициям”.¹⁰

Война с либерализмом во всех его проявлениях, с либерализмом, по вине которого Германия потерпела поражение, была общей идеей, сплотившей социалистов и консерваторов в единый фронт. Сначала она пользовалась наибольшей популярностью в „Движении германской молодежи”, почти целиком социалистическом по вдохновлявшим его идеям; именно там завершилось слияние социализма и национализма. С конца 20-х годов до прихода Гитлера к власти главным выразителем этой традиции в интеллектуальной среде стал кружок молодых людей во главе с Фердинандом Фридом, объединявшихся вокруг журнала *Die Tat*. Книга Фрида *Конец капитализма* — вероятно — самый показательный плод трудов этой группы „нацистов-аристократов” („Edelnazis”), как их называли в Германии; и не может не вызывать тревоги ее сходство со множеством издающихся

сегодня в Англии книг, где мы можем наблюдать то же самое сближение между социалистами левого и правого толка и точно такое же презрение ко всему либеральному в старом смысле слова. „Консервативный социализм” (или, в других кругах, „религиозный социализм”) — вот лозунг, под прикрытием которого множество авторов подготавливало атмосферу для успеха „национал-социализма”. В Англии сейчас преобладающей тенденцией является „консервативный социализм”. Разве не означает это, что война с западными державами „оружием силы духа и экономической организации” была почти выиграна еще до начала настоящей войны?

Глава 13

ТОТАЛИТАРИСТЫ СРЕДИ НАС

Притягательная сила власти, надевшей на себя личину организации общества, столь велика, что способна превратить содружество свободных людей в тоталитарное государство.

Таймс

Вероятно, именно масштабы разнузданного произвола и надругательства над человеческими правами в тоталитарных государствах приводят к тому, что угроза возникновения подобного режима в Англии кажется нам абсолютно нереальной. Вместо того, чтобы начать всерьез беспокоиться, мы лишь укрепились в уверенности, что уж от подобных ужасов мы полностью застрахованы. Когда мы обращаем взоры к нацистской Германии, разделяющая нас пропасть представляется настолько огромной, что ничто из происходящего там по-просту не может иметь никакого отношения ко всему, что может случиться здесь. К тому же пропасть эта неуклонно увеличивается, что как будто опровергает всякую возможность нашего движения по тому же пути. Но не будем

забывать, что пятнадцать лет назад мысль о том, что подобное может случиться в Германии, показалась бы фантастической не только девяти десятым самих немцев, но даже наиболее враждебно настроенным иностранным наблюдателям (на какую бы мудрость и проницательность они задним числом ни претендовали).

Однако, как уже говорилось, речь идет не о нынешней Германии, а о Германии двадцати-тридцатилетней давности: именно с ней ситуация в Англии проявляет все больше сходства. Многие особенности, тогда считавшиеся „типично немецкими”, теперь стали привычными здесь, и многие симптомы указывают на дальнейшее развитие в том же направлении. Мы уже приводили наиболее важный из них: растущее сходство экономических взглядов правых и левых и их единодушная оппозиция либерализму, когда-то лежавшему в основе практически всей английской политики. Такое авторитетное лицо, как Гарольд Николсон, утверждает, что в последнем консервативном правительстве среди „задне-скамеечников” консервативной партии „все самые даровитые... были социалистами в душе”;¹ а ведь многие социалисты, как и во времена фабианцев, более симпатизировали консерваторам, нежели либералам. Существует и ряд других симптомов, тесно связанных с отмеченным выше. Усиливающийся культ государства, преклонение перед силой и могуществом, восхищение всем „величественным” и „грандиозным”, восторженное стремление все „организовать” (теперь это называется планированием) и та присущая немцам „неспособность оставить хоть что-нибудь на волю простого органического развития”, над которой даже такой автор, как Г. фон Трейчке,² сокрушался еще шестьдесят лет назад — все это проявляется сейчас в Англии с не меньшей силой, чем в свое время в Германии.

Когда мы сегодня перечитываем материалы дискуссий, ведущихся в английской прессе во время прошлой войны и касавшихся различий между британскими и германскими взглядами на политические и моральные проблемы, становится разительным ясно, насколько далеко за последние двадцать лет продвинулась Англия по пути, уже пройден-

ному Германией. Вероятно, в то время британская общественность более отчетливо воспринимала эти различия, чем теперь; но если тогда англичане гордились своими традициями, отличавшими их от всех прочих народов, то теперь они в большинстве своем как будто стыдятся политических взглядов, считавшихся в ту пору типично британскими, а иногда даже недвусмысленно их отвергают. Едва ли будет преувеличением сказать, что чем более типично английским представлялся тогда миру тот или иной автор статей по социально-политическим вопросам, тем прочнее он сегодня забыт у себя на родине. Такие люди как лорд Морли или Генри Сиджвик, лорд Актон или А. В. Дайси, люди, вызывающие восхищение всего мира как образцы политической мудрости либеральной Англии, для нынешнего поколения — отжившие свой век викторианцы. Может быть, ярче всего эти сдвиги сказываются в том, что в современных английских работах нет недостатка в похвалах Бисмарку; зато при упоминании Гладстона младшее поколение редко обходится без глумления над его викторианской моралью и наивной утопичностью.

Трудно в нескольких абзацах передать во всей полноте тревогу и обеспокоенность, овладевшую мной после внимательного прочтения нескольких английских работ об идеях, господствовавших в Германии времен прошлой войны, — работах, где почти каждое слово применимо ко взглядам, наиболее бросающимся в глаза в нынешней английской политической литературе. Я просто процитирую короткий отрывок из статьи лорда Кейнса 1915 г., в которой тот описывает „кошмарную картину”, излагаемую в одной вполне типичной немецкой работе этого периода. По словам Кейнса, немецкий автор считает, что

„даже в мирное время промышленность должна оставаться мобилизованной. Вот что он подразумевает под „милитаризацией нашей промышленности” (название рецензируемой работы). С индивидуализмом должно быть покончено полностью. Необходимо разработать систему предписаний, целью которых является не большее счастье человека (профессор Яффе не стыдится так

прямо и сказать), а усиление организованного целого — государства-для достижения максимальной производительности (*Leistungsfähigkeit*), влияние которой на благополучие индивидуума является лишь косвенным. — Эта чудовищная доктрина заключена в оболочку некой идеалистической концепции. Народ станет „замкнутым единством”, то есть тем, чем ему надлежит быть по мысли Платона — воплощением „человека в большом” (т. е. в подлинном его величии). Близящийся мир принесет с собой укрепление идеи государственного руководства промышленностью. Иностранные капиталовложения, эмиграция, промышленная политика последних лет, рассматривавшая весь мир как рынок, слишком опасны. Старый промышленный уклад, сегодня находящийся при последнем издыхании, построен на прибыли; и именно новая Германия, располагающая мощью двадцатого века и презирающая прибыль, призвана покончить с капиталистической системой, пришедшей из Англии столетие назад”.³

Если не считать того, что, насколько я знаю, еще ни один английский автор не посмел открыто говорить с пренебрежением о счастье отдельного человека, есть ли здесь хоть одна фраза, не имеющая зеркального отражения в современных английских трудах?

Во многих странах все более привлекательными оказываются не только идеи, подготовившие тоталитаризм в Германии и за ее пределами, но и сами принципы тоталитаризма. Немногие, а может быть и никто, в Англии не примет тоталитаризма целиком, но почти нет отдельных его черт, которые нам кто-нибудь не посоветовал бы перенять. Более того, в книге Гитлера нет страницы, которую тот или иной английский автор не рекомендовал бы для подражания и использования в наших собственных целях. Это относится в первую очередь ко многим людям, ставшим смертельными врагами Гитлера лишь из-за какой-то одной особенности его режима. Никогда не следует забывать, что гитлеровский антисемитизм изгнал из страны и сделал противниками Гитлера множество людей, являющихся во всех прочих отношениях убежденными тоталитаристами немецкого образца.⁴

Никакое изложение не может передать сходства нынешней английской политической литературы с трудами, разрушившими в Германии веру в западную цивилизацию и породившими то состояние умов, в условиях которого нацизм смог одержать победу. Сходство это проявляется даже не столько в конкретных аргументах, сколько в подходе к вопросам, в готовности разорвать все культурные связи с прошлым и поставить все на карту ради одного эксперимента. Как и в Германии, труды, расчищающие путь тоталитаризму в Англии, в большинстве своем пишутся искренними идеалистами, и часто людьми выдающегося интеллекта. Поэтому, хотя мне и очень не хочется выделять конкретных лиц для иллюстрации взглядов, разделяемых сотнями других, я не вижу другой возможности показать, насколько далеко все зашло в Англии. В качестве примеров я буду сознательно выбирать авторов, чья искренность и бескорыстие выше подозрений. Тем самым я надеюсь показать, как быстро распространяются здесь взгляды, из которых берет свое начало тоталитаризм; но мне вряд ли удастся передать не менее важное сходство эмоциональной атмосферы. Чтобы вскрыть наглядно распознаваемые симптомы знакомого пути развития, необходимо было бы провести всестороннее исследование тончайших изменений в языке и способе мышления. Когда мы встречаем людей, разглагольствующих о необходимости противопоставить „мелким” идеям „грандиозные”, перестать мыслить „локальными категориями” и „обратиться к „глобальным”, или же вообще заменить прежнее „статическое” мышление — новым, „динамическим” — лишь поначалу все это кажется чистой бессмыслицей. Постепенно мы приучаемся видеть во всех этих громких словах безошибочные признаки знакомой интеллектуальной позиции. В настоящей книге мы не имеем возможности рассмотреть ее подробно: нас интересуют здесь лишь ее проявления.

* * *

Моими первыми примерами будут две книги даровитого ученого, пользовавшиеся в последние годы большим внима-

нием. В современной английской политической литературе немного найдется случаев столь явного влияния интересующих нас специфически немецких идей, как в книгах профессора Э. Х. Карра *Двадцатилетний кризис* и *Условия мира*.

В первой из этих книг Карр прямо признает себя приверженцем „исторической школы реалистов”, „чьей родиной является Германия и чье развитие можно проследить по великим именам Гегеля и Маркса”. „Реалист”, объясняет он, это человек, „который ставит моральные принципы в зависимость от политики” и „не может логически принять за основу системы ценностей ничего, кроме фактов”. Этот реализм противопоставляется (чисто по-немецки) восходящей к восемнадцатому веку „утопической” мысли, „которая была по сути своей индивидуалистична, в том смысле, что сделала конечной инстанцией человеческую совесть”. Но старая этика с ее „абстрактными общими принципами” должна исчезнуть, ибо „эмпирик рассматривает каждый конкретный случай в отдельности”. Иными словами, не важно ничего, кроме целесообразности. Изумленного читателя уверяют даже, что „не является моральным принципом правило *pacta sunt servanda*”.⁵ Ни то, что без абстрактных общих принципов решение конкретных дел ставится в зависимость от личного каприза, ни то, что международные договоры, если они не являются моральными обязательствами, теряют всякий смысл, профессора Карра не беспокоит.

Более того, из выводов профессора Карра следует, хотя он прямо этого и не говорит, что в прошлой войне Англия сражалась за неправоное дело. Всякий, кто перечитает сегодня высказывания двадцатипятилетней давности о целях, которых стремилась достичь Англия в прошлой войне, и сравнит их с теперешними воззрениями профессора Карра, увидит, что точка зрения, считавшаяся в ту пору безусловно германской, ныне стала точкой зрения профессора Карра. Сам он, вероятно, возразит на это, что противоположные взгляды, исповедовавшиеся тогда в Англии, были ничем иным, как плодом британского лицемерия. Как мало разницы он находит между идеалами, в которые верят здесь, и идеалами,

осуществляемыми в сегодняшней Германии, видно из его утверждения, что

„когда один из национал-социалистских лидеров заявляет: „все, что идет на пользу немецкому народу, хорошо; все, что идет ему во вред, плохо”, он лишь облекает в слова то отождествление интересов страны с универсальным добром, которое уже было сделано в англоязычных странах президентом США Вудро Вильсоном, профессором Тойнби, лордом Сесилом и многими другими”.

Книги Карра посвящены международным вопросам, поэтому их характерные тенденции ярче всего проявляются именно в этой области. Но, судя по немногим упоминаниям, общество будущего в его представлении тоже построено по вполне тоталитарному образцу. Иногда даже непонятно, случайное перед нами сходство или намеренное. Когда, например, Карр утверждает, что „мы уже не видим большого смысла в привычном для девятнадцатого века различении „общества” и „государства”, понимает ли он, что в точности излагает учение профессора Карла Шмитта, ведущего нацистского теоретика тоталитаризма; более того, что это и есть суть тоталитаризма по определению самого Шмитта, изобретшего этот термин? Понимает ли он, что взгляд, согласно которому „массовое производство мнений логически вытекает из массового производства товаров”, а поэтому „все еще существующее в умах предубеждение против слова „пропаганда” аналогично предубеждению против контроля промышленности и торговли”, фактически оправдывает всеобщую унификацию мысли, практикуемую нацистами?

В своей более недавней книге *Условия мира* Карр дает заведомо утвердительный ответ на тот вопрос, которым мы заключили предыдущую главу:

„Победители в войне проиграли мир, а Советская Россия и Германия его выиграли, потому что первые продолжали исповедовать, а частично и применять на практике некогда действенные, но теперь ставшие разрушительными идеалы прав наций и капитализма типа *laissez-faire*, тогда как вторые, сознательно или неосознанно несущиеся

вперед на гребне двадцатого века, стремились построить новый мир, состоящий из более крупных элементов, подчиненных централизованному планированию и контролю”.

Профессор Карр полностью перенял германский боевой клич социалистической революции Востока против либерального Запада, в которой Германии отводилась роль лидера. Его идолом становится

„революция, начавшаяся в годы прошлой войны, являвшаяся движущей силой каждого мало-мальски значительного политического движения последних двадцати лет... революция, направленная против господствующих идей девятнадцатого века: либеральной демократии, самоопределения наций и экономики типа *laissez-faire*”.

Как вполне справедливо замечает сам Карр, „этот вызов догмам девятнадцатого века, естественно, нашел в лице Германии, никогда их не разделявшей, сильного сторонника”. Со всей фаталистической верой каждого псевдоисторика со времен Гегеля и Маркса, этот путь развития изображается как нечто неизбежное: „Мы знаем, в каком направлении движется мир, и должны либо подчиниться этому движению, либо погибнуть”.

Уверенность в неизбежности этой тенденции основана на привычных экономических ошибках: на предполагаемой необходимости общего роста монополий вследствие развития техники, на мнимом „потенциальном изобилии” и всех прочих модных словечках, мелькающих в трудах этого рода. Карр — не экономист, и его экономические рассуждения не выдерживают серьезной критики. Но ни этот факт, ни его весьма характерная убежденность в том, что роль экономических факторов в социальной жизни быстро уменьшается, не мешают ему строить все свои предсказания исходя из экономических аргументов и выдвигать в качестве главного требования к будущему „переосмысление, главным образом с помощью экономических понятий, демократических идеалов „равенства” и „свободы” ”!

Презрение Карра к идеям либеральных экономистов (которые он упорно именуется идеями девятнадцатого века, хотя ему известно, что Германия „никогда их полностью не раз-

деляла” и уже в девятнадцатом веке реализовала на практике большинство отстаиваемых им ныне принципов) не менее глубоко, чем у любого немецкого автора, цитировавшегося в предыдущей главе. Он даже подхватывает немецкий тезис, выдвинутый Фридрихом Листом, согласно которому политика свободы торговли была продиктована исключительно особыми интересами Англии в девятнадцатом столетии и служила только этим интересам. Теперь же „искусственное поддержание определенной степени автаркии⁶ является непременным условием упорядоченного социального существования”. „Возврат к более раздробленной мировой торговле, охватывающей без разбора все страны (...), путем „снятия торговых ограничений” или же возрождения отошедших в прошлое принципов *laissez-faire*” является попросту „немыслимым”. Будущее за „крупномасштабным хозяйством” (*Grossraumwirtschaft*) немецкого типа: при этом „желаемого результата можно достичь только путем сознательной перестройки всей европейской жизни — типа той перестройки, которую предпринял Гитлер”!

После этого не приходится удивляться, когда видишь, как в весьма показательном разделе „Моральные функции войны”, Карр снисходит до жалости к „тем прекраснодушным личностям (особенно в англосаксонских странах), которые будучи пропитаны традициями девятнадцатого века, упорно продолжают считать войну бессмысленной и бесцельной” и восхваляет „ощущение смысла и цели”, порождаемое войной, этим „мощнейшим орудием социальной сплоченности”. Все это очень знакомо, но подобных взглядов не ожидаешь встретить в работе английского ученого.

* * *

Мы, возможно, не уделили достаточного внимания одной особенности интеллектуального развития в Германии последнего столетия, которая теперь проявляется здесь в почти аналогичной форме: движение ученых, пропагандирующих необходимость „научной” организации общества. Идеал общества, „насквозь” организованного сверху, был в Гер-

мании значительно усилен тем совершенно уникальным влиянием, которое немецкие научно-технические специалисты оказали на формирование социально-политических взглядов. Мало кто помнит, что в новейшей истории Германии политически активные профессора сыграли роль, аналогичную роли политически активных юристов во Франции.⁷ В последние годы эти ученые-политики редко оказывались на стороне свободы; „интеллектуальная нетерпимость”, столь часто бросающаяся в глаза у научных работников, раздражение, вызываемое у специалиста привычками и свойствами обыкновенного человека, презрение ко всему, что не организовано блестящими умами по научному плану, — все это стало обычным в немецкой общественной жизни на несколько поколений раньше, чем в Англии. И, наверное, нет страны, лучше иллюстрирующей воздействие, оказываемое на нацию всеобщим и полным переходом от системы „классического” образования к „реальному”, чем Германия между 1840 и 1940 гг.⁸

Готовность, с которой немецкие ученые, за немногими исключениями, пошли на службу к новым правителям — одна из тягостнейших и постыднейших страниц в истории восхождения национал-социализма.⁹ Ведь хорошо известно, что именно ученые и инженеры, столь громко притязавшие на роль лидеров в походе к новому, лучшему миру, подчинились новой тирании охотнее почти всех остальных классов общества.¹⁰

Роль интеллектуалов в тоталитарном преобразовании общества была пророчески предсказана в другой стране Жюльеном Бенда в книге *Измена клерков*, которая теперь, спустя пятнадцать лет, обрела новую значимость. Одно место в этой книге заслуживает особого внимания в связи с некоторыми экскурсами британских ученых в область политики. Это место, в котором говорится о

„предрассудке, согласно которому наука компетентна во всех областях, включая область морали; предрассудке, появившемся, повторяю, в девятнадцатом веке. Остается выяснить, верят ли в эту концепцию те, кто поднимает ее на щит, или же они просто пытаются придать престижную

видимость научности своим страстям, прекрасно зная, что они — не что иное как страсти. Заметим, что догма, согласно которой ход истории подчиняется научным законам, особенно пропагандируется сторонниками деспотизма. Это вполне естественно, ибо такая догма устраняет две вещи, наиболее им ненавистные: свободу человека и роль личности в истории”.

Мы уже упоминали об одном английском сочинении такого рода, где на фоне марксизма проявляются все характернейшие свойства интеллектуала-тоталитариста, где ненависть ко всему, чем замечательна европейская цивилизация со времен Возрождения, совмещается с одобрением методов инквизиции. Мы не собираемся здесь рассматривать столь крайний случай, поэтому возьмем работу более репрезентативную и завоевавшую значительную популярность. Небольшая книга К. Х. Уоддингтона с характерным названием *Научный подход* — прекрасный пример политической литературы, активно пропагандируемой влиятельным еженедельником *Нейчур*, где требование большей политической власти для ученых сочетается с пылкими дифирамбами огульному „планированию”. Уоддингтон не так откровенен в своем презрении к свободе, как Краутер, но от этого не легче. От большинства подобных авторов его отличает то, что он ясно видит и даже подчеркивает, что описываемые и отстаиваемые им тенденции неизбежно ведут к тоталитаризму. Однако для него это, видимо, предпочтительнее того, что он именует „теперешней свирепой цивилизацией зверинца”.

Утверждая, что именно ученый обладает качествами, необходимыми для управления тоталитарным обществом, Уоддингтон исходит в первую очередь из того, что „наука может судить поведение человека с этической точки зрения”. Разработка этого тезиса Уоддингтоном широко рекламировалась журналом *Нейчур*. Тезис этот, разумеется, давно знаком немецким ученым-политикам и справедливо выделен Ж. Бенда. Чтобы показать, что он означает, нет нужды выходить за рамки книги Уоддингтона. Свобода, поясняет он, это „понятие, которое ученому обсуждать весьма сложно, — в частности, потому, что он не уверен, что такая вещь во-

обще существует". Тем не менее, „наука признает” такой-то и такой-то виды свободы, но „свобода потакать своим прихотям и быть не таким, как все, не имеет... научной ценности”. По-видимому, „эти блудливые гуманитарные науки”, для которых у Уоддингтона находится немало нелестных слов, явно вводили людей в заблуждение, уча их терпимости!

Когда дело доходит до социально-экономических вопросов, книга о „научном подходе” оказывается какой угодно, только не научной, но этого привыкаешь ждать от такого рода трудов. Она избилует знакомыми штампами и ни на чем не основанными обобщениями вроде „потенциального избытия” и неизбежного движения к монополизации, хотя цитируемые в поддержку этих утверждений „крупные авторитеты” при ближайшем рассмотрении оказываются авторами брошюр сомнительной ценности, тогда как серьезные исследования по этим вопросам откровенно обходятся молчанием.

Как во всех почти работах этого типа, убеждения Уоддингтона определяются в основном его верой в якобы открытые наукой „неизбежные исторические тенденции”, возводимые к „глубокой научной философии” марксизма, основные понятия которого „почти, если не полностью, идентичны понятиям, положенным в основу научного подхода к природе”, и который, как подсказывает Уоддингтону его „способность к суждению”, является высшей точкой всего предшествовавшего развития. Автору „трудно отрицать, что в Англии сейчас жить хуже, чем” в 1913 г., и тем не менее он с нетерпением ждет прихода экономического строя, который „будет централизованным и тоталитарным в том смысле, что все аспекты экономического развития крупных районов будут сознательно планироваться как нерасчленимое целое”. Что же до его поверхностно-оптимистической уверенности в сохранении свободы мысли при тоталитарном строе, то тут „научный подход” не может предложить ничего лучшего, чем убежденность в том, что „нужно иметь чрезвычайно веские основания, чтобы выносить суждения по вопросам, для понимания которых не надо быть специалистом”, например, по вопросу о том, можно ли „сочетать тоталита-

ризм со свободой мысли”.

* * *

В более подробном обзоре многообразных тоталитаристских тенденций в Англии пришлось бы уделить внимание всякого рода попыткам создать нечто вроде социализма для среднего класса, пугающе похожего, — разумеется, без ведома его создателей — на аналогичные явления в до-гитлеровской Германии.¹¹ Если бы нас занимали политические движения как таковые, мы должны были бы рассмотреть такие новые организации, как „Вперед — марш!” („Forward March”) или движение „Общее дело” („Common Wealth”), возглавляемое сэром Ричардом Акландом, автором книги *Наша борьба (Unser Kampf)*, или же деятельность „Комитета 1941” Дж. Б. Пристли, одно время объединенного с предыдущим. Конечно, было бы неразумно пренебрегать симптоматичностью таких явлений, но их пока нельзя рассматривать как серьезную политическую силу. Помимо интеллектуального влияния, проиллюстрированного нами на двух примерах, главной движущей силой тоталитаризма являются две крупные группы: профсоюзы и объединения предпринимателей. Может быть, величайшая опасность и заключается в том, что обе эти могущественнейшие группы движутся в одном направлении.

Делают они это путем общей, и зачастую согласованной, поддержки монополизации промышленности; в этом-то и таится громадная непосредственная опасность. Пока нет оснований считать этот путь неизбежным, но если мы будем продолжать по нему идти, он несомненно приведет к тоталитаризму.

Сознательно движение это планируется в основном капиталистами-создателями монополий, поэтому именно в них — один из главных источников опасности. Их вина не меньше оттого, что цель, к которой они реально стремятся — не тоталитарный строй, а нечто вроде корпоративного общества, в котором монополизированные отрасли промышленности являются чем-то вроде полунезависимых

и самоуправляемых „сословий”. Но они столь же близоруки, как были их немецкие коллеги, полагая, что им не только дадут создать такую систему, но и позволят какое-то время ею управлять. Руководителям монополизированных отраслей промышленности пришлось бы непрерывно принимать решения такого масштаба, какие ни одно общество не может долго предоставить усмотрению частных лиц. Государство, допустившее рост таких громадных конгломератов власти, не может допустить, чтобы вся эта власть оставалась в руках частных лиц. Не меньшая иллюзия — полагать, что в этих условиях предпринимателям позволят долго занимать привилегированное положение, в конкурентном обществе оправданное тем, что из многих идущих на риск лишь немногие добиваются успеха. Неудивительно, что предприниматели с удовольствием сохранили бы и высокие доходы, выпадающие на долю наиболее удачливых среди них в конкурентном обществе, и гарантированную обеспеченность государственного служащего. Пока крупный частный промышленный сектор существует бок о бок с государственным, вполне вероятно, что наиболее способные промышленники будут получать высокие оклады даже на самых что ни на есть гарантированных должностях. Но если во время переходного периода надежды предпринимателей, быть может, и сбудутся, то весьма скоро они обнаружат, как обнаружили их немецкие коллеги, что они больше не хозяйева, что им придется удовлетворяться тем объемом власти и тем вознаграждением, которые им соблаговолит уделить государство.

Если только эта книга не была понята совершенно неправильно, автора, надеюсь, никто не заподозрит в симпатии к капиталистам, если он подчеркнет, что было бы тем не менее ошибкой обвинять в нынешнем движении к монополизации исключительно, или даже главным образом, этот класс. Его склонность двигаться в этом направлении не нова, и сама по себе вряд ли может стать реальной движущей силой. Роковым оказалось то, что капиталистам удалось заручиться поддержкой множества других групп, и с их помощью — поддержкой государства.

В какой-то мере монополисты добились этой поддержки, либо допуская другие группы населения к паю от своих прибылей, либо, чаще даже, убеждая их, что формирование монополий — в интересах государства. Но тот сдвиг в общественном мнении, который благодаря своему влиянию на законодательство и систему отправления правосудия¹² стал важнейшим фактором, приведшим к этому роковому результату, был целиком и полностью обусловлен левой пропагандой против конкуренции. Часто даже меры, направленные против монополистов, лишь усиливают мощь монополий. Каждый удар по прибылям монополий, будь то в интересах конкретных групп или всего государства в целом, приводит к возникновению новых групп, которым выгодно поддерживать монополии. Система, при которой крупным привилегированным группам выгодны прибыли монополий, политически гораздо опаснее (и власть монополий при ней гораздо больше), чем когда прибыли достаются лишь ограниченному числу людей. Так, в принципе должно быть ясно, что более высокие ставки заработной платы, которые в состоянии обеспечивать монополисты — такой же результат эксплуатации, как и их собственные прибыли, и точно так же сделают беднее не только всех потребителей, но и остальных наемных рабочих; и тем не менее не только те, кому это выгодно, но и население в целом в наши дни воспринимает способность предоставить более высокую зарплату как довод в пользу монополий.¹³

Даже допуская неизбежность монополий, нельзя согласиться с тем, что лучший способ их контролировать — это отдать в руки государства. Если бы речь шла только об одной отрасли промышленности, это, может быть, было бы и верно. Но когда приходится иметь дело со множеством разных монополизированных отраслей промышленности, многое говорит за то, чтобы оставить их в частных руках, а не объединять под началом государства. Даже если железные дороги, воздушный и автомобильный транспорт и снабжение электричеством и газом будут монополизированы, положение потребителя будет безусловно лучше, пока они остаются отдельными монополиями, не „координиру-

емыми” единым органом управления. Частная монополия почти никогда не бывает абсолютной и крайне редко способна долго продержаться, поэтому ей нельзя пренебрегать потенциальной конкуренцией. Но государственная монополия — всегда монополия, защищаемая государством и от потенциальной конкуренции, и от действенной критики. В большинстве случаев это означает, что временной монополии дается возможность закрепиться навсегда — возможность, которая, конечно, будет использована. В условиях, где власть, которая должна сдерживать и контролировать монополии, становится заинтересованной в защите и покровительстве назначенных ею лиц; где для правительства способом исправления злоупотреблений является просто принятие на себя ответственности за него; где критика действий монополий означает критику правительства — там мало надежды на то, что монополии будут поставлены на службу обществу. Государство, которое с головой ушло в управление монополистической системой предпринимательства, будет обладать сокрушительной властью над отдельным человеком, оставаясь при этом слабым в смысле свободы выработки политического курса. Монополистическая машина отождествляется с государственной, а само государство все более отождествляется не с интересами нации в целом, а с интересами тех, кто ею руководит.

Не исключено, что в условиях реальной неизбежности образования монополий, последовательное проведение в жизнь концепции, ранее предпочитавшейся американцами — контроль сильного государства над частными монополиями — имеет больше шансов принести удовлетворительные результаты, чем государственное управление монополиями. Это как будто бы верно там, где государство проводит четкую политику регулирования цен, не оставляющую места для сверхприбылей, в распределении которых могут участвовать не только монополисты. Даже если это приведет (как иногда случалось с американскими коммунальными услугами) к тому, что обслуживание, обеспечиваемое монополизированными отраслями промышленности, станет хуже, чем могло бы быть, на это стоит пойти ради того, чтобы обуздать

власть монополий. Я лично безусловно предпочел бы мириться с такого рода неэффективностью, чем терпеть монополистический контроль над своей жизнью. Кроме того, такой метод обращения с монополиями, превратив положение монополиста в самое незавидное на предпринимательском уровне, тем самым способствовал бы ограничению монополий областями, где они неизбежны, и стимулировал бы поиски конкурентных путей их замены. Попробуйте снова поставить монополиста в положение экономического „мальчика для битья” — и вы будете поражены тем, как быстро самым способным из предпринимателей вновь захочется вдохнуть живительный воздух конкуренции!

* * *

Проблема монополий не была бы столь трудной, если бы бороться приходилось только с капиталистом-монополистом. Но, как уже было сказано, монополии превратились в угрозу, какую они ныне представляют, не усилиями нескольких заинтересованных в них капиталистов, а благодаря поддержке тех, кому капиталисты стали уделять долю своих прибылей, и тех, кого им удалось убедить, что, поддерживая монополии, они помогают построению более справедливого и упорядоченного общества. Роковым поворотным пунктом современного хода развития был момент, когда великое движение, изначальной целью которого является борьба с любыми привилегиями — лейбористское движение — попало под влияние антиконкурентных теорий и само вмешалось в борьбу за привилегии. Рост монополий в последние годы — в большой мере результат сознательного сотрудничества объединений капиталистов с рабочими объединениями, при котором привилегированные рабочие группировки получают долю монополистических прибылей за счет общества, причем главным образом — за счет беднейших его слоев, т. е. людей, занятых в менее хорошо организованных отраслях промышленности, и безработных.

Одно из печальнейших зрелищ нашей эпохи — массовое демократическое движение, выступающее за политику,

которая неизбежно ведет к уничтожению демократии, и в то же время может быть выгодна лишь меньшинству среди поддерживающих эту политику масс. Однако именно поддержка левыми силами монополистических тенденций и делает эти тенденции столь непреодолимыми, а перспективы на будущее — столь мрачными. Пока лейбористское движение продолжает способствовать разрушению единственного строя, при котором каждому работнику обеспечивается хотя бы минимум независимости и свободы, надежды на будущее невелики. Лейбористские лидеры, громко заявляющие о том, что „раз и навсегда покончили с безумной конкурентной системой”,¹⁴ возвещают гибель свободы личности. Возможностей только две: либо общество управляется безличными силами рыночной экономики, либо волей горстки людей; поэтому те, кто стремится не допустить первой возможности, сознательно или бессознательно способствуют осуществлению второй. Некоторые трудящиеся при новом порядке будут лучше питаться и все, несомненно, будут более одинаково одеваться; однако позволительно думать, что в конечном счете большинство английских трудящихся не поблагодарит своих интеллектуалов-руководителей за социалистическое учение, ставящее под угрозу их личную свободу.

Для любого, кто знаком с историей основных европейских стран последнего двадцатипятилетия, изучение последней программы лейбористской партии, теперь поставившей своей целью построение „планового общества”, — тяжкое испытание. Любой „попытке реставрировать традиционную Британию” противопоставляется схема, не только в общих чертах, но и в деталях, даже в выборе слов, неотличимая от социалистических мечтаний, доминировавших в спорах немецких теоретиков двадцать пять лет назад. Целиком заимствованы из немецкой идеологии не только основные требования (так, в принятой по предложению профессора Ласки резолюции содержится требование сохранения в мирное время „правительственного контроля, необходимого для мобилизации национальных ресурсов в случае войны”), но и вся характерная фразеология — например, „сбалансированная экономика”, которой теперь требует для Великобритании

профессор Ласки, или „общественное потребление“, целям которого должно служить централизованное руководство производством. Двадцать пять лет назад наивная вера в то, что „плановое общество может оказаться гораздо более свободным, чем конкурентная система типа *laissez-faire*, которой оно идет на смену”,¹⁵ была еще простибельна. Но поистине прискорбно столкнуться с ней опять, после двадцатипятилетнего опыта и вызванного им пересмотра взглядов, — да еще в момент, когда мы сражаемся против зла, порожденного этой же самой идеологией! Тот факт, что великая партия, занявшая и в парламенте, и в общественном мнении место прогрессивных партий прошлого, примкнула к движению, которое, в свете всего прежнего хода развития, следует считать реакционным, является поворотным событием нашего времени и источником смертельной опасности для всего, что дорого сердцу либерала. В прошлом прогрессу угрожали консервативные правые силы — явление, характерное для всех времен, не вызывавшее никакой тревоги. Но если место оппозиции и в парламенте, и в общественных дискуссиях будет прочно монополизировано второй реакционной партией — тогда надеяться больше не на что.

Глава 14

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И МОРАЛЬНЫЕ ИДЕАЛЫ

Разве правильно, разве справедливо, чтобы большинство, возражающее против первой цели каждого правления, поработало меньшинство, стремящееся быть свободным? Несомненно, справедливее, если уж дойдет до применения силы, меньшему числу принудить большее сохранить свободу (в чем не может быть для них зла), нежели большему, из угождения собственной подлости, обречь меньшее на оскорбительнейшую участь таких же, как они, рабов. Те, кто не жаждут ничего иного, кроме своей собственной законной свободы, имеют право добиваться ее всегда, когда это в их власти, сколько бы голосов этому ни противилось.

Джон Мильтон

Наше поколение любит тешить себя иллюзией, что экономические соображения занимают в его жизни меньше места, чем в жизни его родителей и дедов. „Конец homo economicus” обещает стать одним из господствующих мифов нашей эпохи. Однако прежде чем согласиться с этим утверждением и приветствовать наступившие перемены, следует выяснить,

насколько оно соответствует истине. Действительно, если рассмотреть наиболее настойчиво выдвигаемые соображения в пользу пропагандируемой ныне необходимости перестройки общества, то окажется, что почти все они — экономического характера: как мы уже видели, „экономическое истолкование” политических идеалов прошлого — свободы, равенства и уверенности в завтрашнем дне — является одним из главных требований тех самых людей, которые возвещают конец „человека экономического” и освобождение человечества от сковывающих его пут материальной необходимости. Кроме того, не приходится также сомневаться, что в своих убеждениях и устремлениях люди сегодня больше, чем когда-либо, руководствуются экономическими соображениями: заботливо выпестованной верой в иррациональность нашей экономической системы, лживыми заверениями в „потенциальном изобилии”, псевдонаучными теориями о неизбежности монополистических тенденций, а также впечатлением, создаваемым некоторыми, ставшими притчей событиями — такими, как уничтожение запасов сырья или сознательное препятствование внедрению изобретений. В подобных эксцессах принято обвинять конкурентную систему, хотя на самом деле в условиях конкуренции такого как раз не могло бы случиться: это стало возможным только с появлением монополий, причем, как правило, государственных или пользующихся покровительством государства.¹

Однако в другом смысле наше поколение действительно меньше прислушивается к экономическим соображениям, чем его предшественники. Оно самым решительным образом отказывается жертвовать своими потребностями и остается глухо к любым экономическим доводам; оно не терпит никакой узды для своих сиюминутных прихотей и не собирается покоряться экономической необходимости. Вовсе не презрение к материальным благам или хотя бы меньшее к ним стремление, но, наоборот, отказ признавать какие бы то ни было препятствия, какой бы ни было конфликт с другими целями, который может затормозить исполнение наших желаний — вот отличительная черта нашего поколения.

„Экономофобия” — более правильное название для этой позиции, чем вдвойне ложная формулировка „конец homo economicus”, означающая сдвиг в ситуации, фактически никогда ранее не существовавшей, да к тому же в направлении, в котором никто не движется. Человек воспылал ненавистью и взбунтовался против тех самых безличных сил, которым раньше покорялся, хотя они часто делали тщетными все его труды.

Бунт этот — одно из проявлений более общего феномена: нежелания подчиниться любому правилу или необходимости, когда человек не видит для них рационального обоснования. Это ощутимо во многих областях жизни (особенно в области этики), и зачастую такую позицию можно только одобрить. Но существуют сферы, в которых это стремление найти всему рациональное объяснение не может быть удовлетворено полностью, а в то же время отказ подчиняться тому, чего мы не понимаем, неизбежно ведет к гибели нашей цивилизации. Вполне понятно, что по мере того, как окружающий мир все более усложняется, в нас растет сопротивление непонятным нам силам, постоянно мешающим осуществлению человеческих надежд и планов. Но именно в этих условиях у отдельного человека все меньше и меньше шансов полностью понять действие этих сил. Такая сложная цивилизация, как наша, неизбежно строится на умении человека приспособиться к переменам, причин и характера которых он не понимает: почему он становится богаче или беднее, почему ему надо менять профессию, почему из того, что ему хочется, что-то оказывается менее доступно, а что-то более и т. д. Все это всегда будет связано с таким множеством обстоятельств, что никакой ум не сможет их все охватить; или, хуже того, люди, затронутые переменами, будут во всем обвинять непосредственную, очевидную и устранимую причину, тогда как более сложные взаимосвязи, действительно предопределившие эти перемены, неизбежно останутся для них тайной. Даже руководитель общества, планируемого сверху донизу, захоти он кому-нибудь объяснить, почему того направляют на другую работу или почему необходимо изменить причитающееся ему вознаграж-

дение, не сможет этого сделать, не объяснив и не оправдав всего своего плана в целом — а это, разумеется, означает, что все можно объяснить лишь небольшой горстке людей.

Именно подчинение человека безличным силам рынка сделало возможным развитие цивилизации, которое в противном случае не могло бы осуществиться, именно таким своим подчинением мы день за днем помогаем возведению гигантского здания, чьи масштабы превосходят все, что способен понять любой из нас. И пусть в прошлом люди подчинялись неведомым силам благодаря определенным убеждениям, которые теперь иногда считаются предрассудками — будь то из религиозного духа смирения или же из преувеличенного уважения к примитивным теориям ранних экономистов — это не имеет значения. Главное — в том, что рационально вывести для себя необходимость покоряться силам, действия которых нам не понять, несравненно труднее, чем покоряться им из смиренного трепета, внушавшегося религией или уважением к экономическим теориям. Возможно, дело обстоит так: для того чтобы просто поддерживать нашу сложнейшую цивилизацию на нынешнем уровне, не заставляя никого делать то, чего он не понимает, каждый из нас должен был бы располагать бесконечно более мощным интеллектом, чем сейчас. Отказ покоряться внешним факторам, которых мы не можем ни понять, ни признать результатом сознательного решения мыслящего существа, является плодом не доведенного до конца, а следовательно и ошибочного, рационализма. В подобном рационализме есть один существенный пробел: он состоит в непонимании того, что для координации многообразных индивидуальных усилий в сложном и высокоструктурированном обществе необходимо учитывать факты, которых не может охватить ни один отдельно взятый человек. Помимо того, „половинчатый” рационализм упускает из виду и то, что единственной альтернативой подчинению безличным и кажущимся иррациональными силам рынка является (если мы не собираемся разрушить эту сложную общественную структуру) подчинение людям, чья власть будет столь же неконтролируемой, а потому деспотичной. В своем стремлении освободиться от опостылевших пут

человек не видит, что новые, авторитарные пути, которые ему придется добровольно на себя наложить вместо прежних, будут гораздо мучительнее.

Те, кто утверждает, что мы достигли поразительных успехов в покорении сил природы, но резко отстаем в деле использования возможностей социального сотрудничества, совершенно правы. Но они ошибаются, когда, продолжая сравнение, требуют, чтобы мы научились подчинять себе социальные силы точно так же, как и природные. Этот путь ведет не только к тоталитаризму, но и к уничтожению цивилизации, к неминуемой остановке прогресса. Люди, этого требующие, показывают, что еще не постигли, насколько нужна, даже просто для сохранения достигнутого, координация деятельности отдельных людей безличными силами.

* * *

Теперь вернемся ненадолго к самому главному: к тезису, согласно которому свобода личности несовместима с безусловным и исключительным приоритетом единой цели, которой полностью и перманентно подчинено все общество. Единственным исключением из общего правила („свободное общество не может быть подчинено единой цели“) является война и другие преходящие бедствия, когда ценой подчинения суровой необходимости мы в конечном счете сохраняем свою свободу. Вот почему модные фразы о том, что надо продолжать делать в мирных целях то, что мы научились делать в целях военных, так обманчивы. Есть смысл временно пожертвовать свободой ради того, чтобы более надежно сохранить ее за собой на будущее, но это лишается смысла, если чрезвычайные обстоятельства и меры превращаются в повседневность.

Принцип, согласно которому ни одна цель в мирное время не может пользоваться абсолютным приоритетом по сравнению со всеми другими, остается справедливым даже по отношению к задаче, которая, по общему мнению, сейчас является первоочередной: к победе над безработицей. Несомненно, мы должны направить на решение этой проблемы

все свои силы, но все же даже столь безотлагательная задача не может поглотить нас целиком и стать важнее всего остального — иначе говоря, если воспользоваться ходовой фразой, нельзя добиваться решения этой проблемы „любой ценой”. Более того, именно в этой области обаяние туманных, но популярных словечек, таких как „полная занятость”, вполне может привести к крайне близоруким мерам, а категорическое и безответственное „это должно быть сделано любой ценой” целеустремленного идеалиста — принести неизмеримый вред.

Крайне важно взяться за эту задачу, которую нам придется решать после войны, полностью осознавая все возможные последствия и ясно понимая, чего мы можем надеяться достичь. Главнейшая особенность, которая будет характеризовать положение в стране в первые послевоенные годы, будет связана с тем, что чрезвычайные военные нужды обеспечили сотням тысяч мужчин и женщин занятость в специализированных секторах производства, где они в военное время получали сравнительно высокую зарплату. Во многих случаях невозможно будет занять то же количество людей в этих областях деятельности в мирное время. Возникает насущная необходимость перевести значительные массы людей на иные виды работы, и многие из них обнаружат, что их труд оплачивается хуже, чем прежде. Даже переквалификация, которую, безусловно, необходимо обеспечить в широких масштабах, проблемы целиком не решит. Все равно останется много людей, которые, если им платить в соответствии с ценностью их услуг для общества, должны будут в рамках любой системы смириться с относительным понижением уровня своего материального благосостояния по сравнению с другими.

Если профсоюзы начнут сопротивляться всякому понижению заработков рассматриваемых групп и если их сопротивление будет успешным, останется лишь две возможности: либо прибегнуть к принуждению, т. е. отбирать определенных людей и в принудительном порядке переводить их на относительно хуже оплачиваемые должности, либо позволить тем, кого невозможно более оставить на высокооплачи-

ваемых местах, где они были заняты во время войны, оставаться без работы до тех пор, пока они не согласятся работать за относительно меньшую зарплату. Социалистическому обществу придется столкнуться с этой проблемой не в меньшей степени, чем любому другому и подавляющее большинство работников и при социализме будет не более, чем сейчас, склонно к тому, чтобы пожизненно гарантировать людям, получившим высокооплачиваемую работу только ввиду военной необходимости, их теперешнюю зарплату. В этой ситуации социалистическое общество, несомненно, прибегло бы к принуждению. Для нас здесь главное другое: если мы твердо решим любой ценой не допустить безработицы, не прибегая при этом к принуждению, обстоятельства сами заставят нас пустить в ход самые отчаянные уловки, которые не решат проблемы, но зато серьезно помешают наиболее продуктивному использованию имеющихся ресурсов. Следует особо подчеркнуть, что сама по себе кредитно-денежная политика будет не в состоянии решить эту проблему — разве только ценой всеобщей и значительной инфляции, достаточной для того, чтобы поднять все остальные заработки и цены до уровня тех, которые окажется невозможным понизить. Но даже и это приведет к желаемому результату только путем скрытого, „закулисного” понижения реальной заработной платы, которого нельзя было осуществить прямо и открыто. Однако поднять все остальные доходы и заработки до уровня рассматриваемой группы — значит привести к инфляционному росту находящейся в обращении денежной массы в таких масштабах, что вызванные им беспорядки, трудности и несправедливости будут гораздо серьезнее тех, которые мы пытаемся исправить.

Эта проблема, которая особенно остро встанет после войны, будет постоянно возникать до тех пор, пока экономическая система будет вынуждена приспосабливаться к непрерывным переменам. Всегда будет возможно достичь максимальной занятости на ближайшее время, заняв всех в тех областях, где они уже работают, путем увеличения денежной массы. Это, однако, проблемы не решает. Дело не только в том, что достигнутая подобным образом макси-

мальная занятость сможет поддерживаться лишь с помощью непрерывного инфляционного роста находящейся в обращении массы денег — который, в свою очередь, замедляет процесс перераспределения рабочей силы между различными отраслями промышленности, являющийся реакцией на изменяющуюся конъюнктуру. Действительно, в нормальных условиях, когда трудящиеся сами выбирают себе работу, этот процесс всегда будет несколько запаздывать по отношению к изменениям конъюнктуры и, таким образом, породить некоторый „полезный” уровень безработицы. Гораздо важнее другое: политика, постоянно нацеленная на поддержание максимального уровня занятости с помощью денежно-кредитных механизмов, в конечном счете всегда приводит к противоположному результату. Именно, она ведет к понижению производительности труда и, следовательно, к постоянному возрастанию процента занятого населения, который можно держать на заданном уровне заработной платы только искусственным путем.

* * *

Нет сомнения, что после войны мудрое управление экономикой будет иметь еще большее значение, чем прежде, и что судьба цивилизации зависит в конечном счете от того, как мы решим экономические проблемы, с которыми нам придется столкнуться. Сначала мы будем бедны, очень бедны — причем задача достичь прежнего уровня жизни, а потом и превзойти его, может оказаться для Великобритании труднее, чем для многих других стран. Если мы будем действовать разумно, то, упорно работая и всерьез взявшись за перестройку и обновление управленческого аппарата и организации промышленности, безусловно сможем по истечении нескольких лет вернуться к довоенному уровню и даже превзойти его. Но это предполагает, что мы будем довольствоваться потреблением лишь в тех пределах, в каких оно не мешает задаче восстановления, что не будет никаких чрезмерных ожиданий, порождающих неудержимые требования большего, и что для нас будет важнее использовать имеющи-

еся ресурсы наиболее разумным образом и на цели, где они дадут наибольший вклад в благосостояние нации, чем использовать все наличные ресурсы, но бессистемно.² Быть может, еще важнее не допустить, чтобы недальновидные попытки излечить бедность перераспределением доходов вместо их увеличения превратили широкие классы общества в заклятых врагов существующего строя. Ни в коем случае нельзя забывать, что в Англии пока что отсутствует один из решающих факторов, сделавших возможным подъем тоталитаризма в континентальной Европе, а именно — наличие только что экспроприированного крупного среднего класса, который не желает смириться с тем, что он вдруг оказался лишенным своего материального статуса.

Наши надежды избежать грозящей опасности должны в значительной мере строиться на перспективе возобновления быстрого экономического роста, который, с какой бы низкой точки ни пришлось начинать, поведет нас вперед; но главное условие такого прогресса — готовность быстро приспособиться к резко изменившемуся миру. Никакому уважению к привычному уровню жизни тех или иных групп населения нельзя позволить встать на путь этого процесса приспособления; мы должны снова научиться вкладывать все ресурсы в те области, где они будут в наибольшей мере способствовать нашему общему обогащению. Для того чтобы достичь и превзойти свой прежний уровень жизни, мы должны, как никогда ранее, использовать все наши способности к адаптации, и только если каждый из нас готов будет покориться вытекающим из этого потребностям, мы сможем пройти через трудный переходный период как свободные люди, которые сами решают, как им жить. Можно согласиться с требованием, чтобы всем и каждому любой ценой был гарантирован определенный минимум средств к существованию — но давайте тогда согласимся также, что с установлением такого единого гарантированного минимума теряют силу любые требования особых экономических гарантий (т. е. привилегий) для того или иного класса или социальной группы, как теряют силу любые предлоги, под прикрытием которых те или иные

группы не допускают приходящих со стороны разделить их относительное преуспеяние — только для того, чтобы сохранить в неприкосновенности свое собственное материальное положение.

Фраза „к черту экономику, нужно устроить мир так, чтобы в нем не было ни богатых, ни бедных, чтобы все жили в пристойных условиях” звучит на первый взгляд вполне благородно — на деле же она просто безответственна. Учитывая, что собой представляет наш мир, где каждый убежден, что материальные условия должны быть безотлагательно улучшены именно для того или иного социального слоя или группы, наш единственный шанс построить „пристойный мир” — это продолжать повышать общий уровень благосостояния. Единственное, чего не выдержит современная демократия — это необходимости существенного понижения жизненного уровня в мирное время или даже продолжительного периода отсутствия положительных сдвигов в экономических условиях.

* * *

Даже люди, признающие, что современные политические тенденции не только таят в себе серьезную угрозу нашим экономическим перспективам, но за счет их непосредственных экономических эффектов ставят под удар иные, высшие ценности — даже они склонны обманывать себя, считая, что мы идем на материальные жертвы ради нравственных идеалов. Однако весьма сомнительно, чтобы полувековое движение к коллективизму хоть как-то повысило наши моральные нормы — скорее наоборот, сдвиг произошел в противоположном направлении. Мы привыкли гордиться своей повышенной чувствительностью к „социальному злу”, своей высокоразвитой общественной сознательностью, однако совершенно непохоже, чтобы это подтверждалось на практике нашим личным поведением. В смысле негативном, в смысле возмущения несправедливостями существующего строя, наше поколение, вероятно, превосходит всех своих предшественников. Однако какое влияние это оказывает на

наши позитивные нормы в области собственно этики, на личное поведение и упорство, с которым мы защищаем моральные принципы перед лицом „соображений практической целесообразности” или „настоятельной необходимости” и вообще всяческих „привходящих обстоятельств”, связанных с „законами функционирования” социального механизма — это вопрос совершенно другой.

Во всех этих вопросах ныне царит такая путаница, что необходимо вернуться к основным понятиям. Нашему поколению грозит опасность забыть не только тот факт, что этика — это по необходимости феномен личного поведения, но и то, что этика вообще может существовать лишь в той сфере, где человек волен решать сам за себя и ощущает потребность добровольно жертвовать личной выгодой ради соблюдения моральных норм. Вне сферы личной ответственности нет ни добра, ни зла, ни возможности проявить свои высокие моральные качества, ни шансов доказать силу своих убеждений, жертвуя собственными желаниями ради того, что считаешь правильным. Только когда мы сами несем ответственность за свои интересы и свободны принести их в жертву по собственной воле, наше решение имеет моральную ценность. Мы не имеем права быть альтруистами за чей-то счет; точно так же нет никакой заслуги в альтруизме, если у нас нет выбора. В обществе, где людей заставляют или обязывают делать добро, им нельзя вменить это в заслугу. Как сказал Мильтон: „Если бы всякий поступок, добрый или дурной, зрелого человека был предписан, и вынужден, и выжат из него, что была бы добродетель как не пустой звук, какой хвалы заслуживало бы добродетельное поведение, какой благодарности — умеренность и воздержание?”

Свобода самим устанавливать собственное поведение в сфере, где выбор навязывается материальными обстоятельствами, ответственность за устройство своей жизни в соответствии с велениями совести — вот единственный воздух, в котором может развиваться нравственное чувство, в котором моральные ценности ежедневно воссоздаются свободным волеизъявлением индивидуума. Ответственность не перед начальством, а перед собственной совестью, сознание

долга, не предписанного сверху, необходимость решать, какими ценностями пожертвовать, и способность нести последствия своего решения — вот суть этики, заслуживающей этого наименования.

В сфере личного поведения влияние коллективизма было почти целиком разрушительным, и это не только неизбежно, но и неоспоримо. Движение, обещающее в первую очередь избавление от ответственности,³ не может не быть анти-нравственным по своему воздействию, как бы ни были возвышенны породившие его идеи. Можно ли сомневаться в том, что чувство долга, ощущение потребности лично вмешаться и восстановить справедливость там, где это в нашей власти, не усилилось, а ослабело, что готовность нести ответственность и осознание выбора как индивидуального сознательного акта заметно пострадали? Существует бесконечная разница между требованием, чтобы желательное положение было создано властями, или даже согласием этим властям подчиниться (при условии, что все сделают то же самое) — и готовностью поступить так, как ты сам считаешь правильным, жертвуя собственными желаниями, а иногда и рискуя восстановить против себя общественное мнение. Многие говорят о том, что мы стали более снисходительны к конкретным злоупотреблениям и гораздо более равнодушны к конкретным примерам несправедливости с тех пор, как стали возлагать надежды на новый общественный строй, при котором государство само все устроит „так, как надо”. Может быть даже, как кто-то уже заметил, страсть к совместной деятельности — лишь предлог для того, чтобы, не испытывая угрызений совести, сообща дать волю эгоизму, который мы научились хоть немного обуздывать в качестве индивидуумов.

То, что в наши дни меньше уважается и реже проявляется в повседневной жизни — независимость, самостоятельность, готовность идти на риск, способность защищать свои убеждения против большинства и согласие добровольно сотрудничать с ближним — это, в сущности, именно те достоинства, на которых стоит индивидуалистическое общество. Коллективизму их заменить нечем; поэтому, уничтожив их, он

оставил пустоту, не заполненную ничем, кроме требований повиновения и попыток заставить индивидуума поступать так, как считает нужным коллектив. Периодические выборы представителей, к которым все в большей степени сводится моральный выбор индивидуума, не являются поводом проверить его моральные убеждения; от него не требуется ни излагать свою систему ценностей, ни доказывать искренность своей позиции, чем-то жертвуя ради того, что для него важнее.

Поскольку источником, из которого коллективная политическая деятельность черпает нравственные нормы, являются выработанные индивидуумами правила поведения, было бы просто удивительно, если бы ослабление норм личного поведения сопровождалось повышением морального уровня общественной деятельности. Что произошло крупные изменения — совершенно ясно. Каждое поколение, конечно, ставит какие-то ценности выше, чем его предшественники, а какие-то ниже. Каковы же, однако, цели, ставящиеся теперь ниже, каким ценностям (предупреждают нас) придется потесниться? Какого рода ценности в картине будущего, рисуемой популярными авторами и ораторами, фигурируют меньше, чем фигурировали в мечтах и надеждах наших отцов? Это, безусловно, не материальный комфорт, не повышение уровня жизни и не гарантия определенного положения в обществе. Разве осмелится хоть один популярный автор или оратор предложить массам пожертвовать материальными перспективами ради моральных идеалов? Разве не обстоит дело как раз наоборот? Разве не учат нас считать „иллюзиями прошлого века” все нравственные ценности: свободу и независимость, правду и интеллектуальную честность, мир и демократию, а главное — уважение к человеку *как к человеку*, а не как к члену организации? Что теперь для нас священо и чего не осмелится затронуть ни один реформатор, каковы эти непреложные вехи, которые необходимо учитывать в любых планах на будущее? Это не свобода личности, не свобода передвижения, и вряд ли — свобода слова. Это гарантируемый для той или иной группы материальный уровень, ее „право” не допускать других обеспечивать своих собратьев тем, в чем они нуждаются.

Дискриминация тех, кто не входит в определенную замкнутую группу, не говоря уже о представителях других национальностей, все более и более воспринимается как нечто само собой разумеющееся; несправедливости, навлекаемые на отдельных людей правительственными действиями, направленными на защиту интересов группы, игнорируются с равнодушием, переходящим в бессердечие; грубейшие нарушения элементарных прав личности, — например, принудительное переселение жителей каких-то регионов или даже целых народов — все чаще поддерживаются даже так называемыми либералами. Все это, безусловно, показывает, что наше нравственное чувство не обострилось, а притупилось. Когда нам, как это все чаще случается, напоминают, что нельзя сделать яичницу, не разбив яиц, то разбитыми почти всегда оказываются принципы, одно-два поколения назад рассматривавшиеся как основы цивилизованного существования. И каких только зверств не прощали с готовностью многие так называемые „либералы”, если они совершались державами, официально декларирующими те же принципы, которые исповедовали наши моралисты!

* * *

В настоящее время особую пищу для размышлений дает один из аспектов принесенного коллективизмом сдвига в моральных ценностях. Дело в том, что все меньше уважения вызывают и, соответственно, все реже встречаются именно те качества, которыми британский народ справедливо гордился и, по общему признанию, выделялся. Достоинствами, которыми британцы обладали в большей степени, чем прочие (за исключением нескольких малых наций, таких как голландцы и швейцарцы), были независимость и уверенность в своих силах, личная инициатива и ответственность за то, что происходит у тебя на глазах, успешная деятельность на добровольных началах, невмешательство в дела ближнего, терпимость к странным и непохожим на иных людям, уважение к обычаям и традициям и здоровое недоверие к силе и власти. Британская стойкость, британская сила духа и

британские достижения являются в огромной мере результатом поощрения действий, совершаемых без принуждения, по внутренней потребности, и сознательного культивирования соответствующих качеств личности. Однако почти все традиции и институты, в которых британский дух нашел свое самое характерное выражение и которые, в свою очередь, сформировали национальный характер и всю моральную атмосферу Англии, неуклонно уничтожаются ростом коллективизма и присущими ему тенденциями к централизации.

Иностранное происхождение иногда помогает яснее видеть, чему страна обязана особым качеством своей моральной атмосферы. И да позволено будет человеку, который, что бы ни гласил закон, навсегда останется иностранцем, сказать, что нет ничего грустнее презрения, с которым относятся ныне в Англии к самому драгоценному из того, что она дала миру. Англичане сами не знают, насколько они отличаются от других наций тем, что все, независимо от партий, в той или иной степени разделяют идеи, в своей наиболее четкой и законченной формулировке известные под названием либерализма. По сравнению с другими нациями всего лишь двадцать лет назад все англичане были либералами — как бы ни отличались их взгляды от платформы либеральной партии. Даже и сегодня, если английский консерватор или социалист (а не только либерал) отправится за границу, то, вероятно, обнаружит, что идеи и творения Карлейля и Дизраэли, Уэббов и Г. Уэллса крайне популярны в кругах, с которыми у него мало общего — среди нацистов и других тоталитаристов — однако если он найдет интеллектуальный островок, где живы традиции Маколея и Гладстона, Джона Милля и Джона Морли, то обретет родственные души, говорящие „на одном с ним языке” — как бы далеко сам он ни отошел от идеалов, символизируемых этими именами.

Утрата веры в специфические ценности британской цивилизации нигде не проявляется ярче, чем в никчемности и неумелости британской пропаганды, и нигде не оказывает более парализующего воздействия на усилия, направленные на достижение нашей нынешней исторической цели. Первой предпосылкой успеха пропаганды, рассчитанной на „за-

границу”, является гордость теми характерными ценностями и отличительными чертами, которыми данная страна известна. Главная причина безрезультатности британской пропаганды — в том, что люди, ею заправляющие, либо сами утратили веру в особые ценности английской цивилизации, либо совершенно не ведают, чем эта цивилизация отличается от всех остальных. Левая интеллигенция так долго поклонялась иностранным богам, что утратила способность видеть хоть что-нибудь хорошее в характерно английских традициях и институтах. Разумеется, социалисты не могут признать, что моральные ценности, которыми они гордятся, являются порождением институтов, которые они всеми силами стремятся уничтожить. К сожалению, подобная позиция характерна не только для тех, кто открыто называют себя социалистами. Следует надеяться, что это не относится к менее речистым, но более многочисленным образованным англичанам; но если судить по идеям, высказываемым в современных политических дискуссиях и в нынешней пропаганде, англичане, не только „говорящие на языке Шекспира”, но и „придерживающиеся веры и нравственности, которых придерживался Мильтон”, практически вымерли.⁴

Считать, что пропаганда, основанная на подобном подходе, может оказать желаемое действие на наших врагов, особенно на немцев — роковое заблуждение. Немцы знают Англию, может быть, и не очень хорошо, но достаточно, чтобы понимать, что собой представляют традиционные британские жизненные ценности и что на протяжении жизни нескольких поколений все больше разделяло обе страны. Если мы хотим убедить их не только в своей искренности, но и в том, что располагаем реальной альтернативой пути, по которому пошли они, то не добьемся этого уступками их системе мышления. Их не обманешь второсортным воспроизведением идей их отцов, которые мы у них заимствовали — будь то государственный социализм, „Realpolitik”,⁵ „научное” планирование или корпоративизм. Их не убедишь, следуя за ними (и зайдя уже довольно далеко) по пути, ведущему к тоталитаризму. Если сами англичане отказываются от высшего идеала свободы и счастья индивидуума,

если они молчаливо признают, что их цивилизация не заслуживает сохранения и что они могут лишь следовать по тому пути, на который немцы вступили первыми, — тогда им действительно нечего предложить взамен. Для немцев все это звучит как запоздалое признание, что британцы были неправы с самого начала и что именно они, немцы, возглавляют движение к новому, лучшему миру, как бы ужасен ни был переходный период. Немцы знают, что то, что для них по-прежнему является британскими традициями, и их собственные идеалы — два диаметрально противоположных и непримиримых взгляда на жизнь. Их, может быть, и можно было бы убедить в том, что избранный ими путь неверен — но ничто никогда их не убедит, что британцы будут лучшими проводниками по германской тропе.

Меньше всего пропаганда такого типа импонирует тем немцам, на чью помощь мы можем рассчитывать в деле воссоздания Европы, ибо их ценности ближе всего к нашим. Опыт сделал их мудрее и лишил иллюзий: они поняли, что ни добрые намерения, ни эффективность организации не помогут сохранить порядочность и обеспечить „пристойное существование” в условиях режима, уничтожающего личную свободу и личную ответственность. Больше всего на свете немцы и итальянцы, понявшие этот урок, хотят защиты от государства-чудовища; им нужны не грандиозные планы, а возможность мирно и свободно строить свой небольшой мир. Если мы можем надеяться на поддержку некоторых жителей стран-противниц, то не потому, что те предпочитают, чтобы ими командовали англичане, а не пруссаки, а потому, что они верят, что в мире, где победят английские идеалы, ими будут меньше командовать и дадут спокойно заниматься своим делом.

Чтобы добиться успеха в идеологической войне и склонить на свою сторону честных и порядочных людей из стран-противниц, нам нужно прежде всего снова обрести веру в традиционные ценности, защищавшиеся Англией в прошлом, и моральное мужество для стойкой защиты идеалов, на которые ополчаются наши враги. Не стыдливими извинениями, не обещаниями исправиться, не попытками найти

компромисс между традиционными английскими ценностями и новыми тоталитаристскими идеями, завоеваем мы доверие и поддержку. В счет идут не какие-нибудь последние нововведения или усовершенствования наших социальных институтов (это капля в море по сравнению с изначальной пропастью между двумя противоположными взглядами на жизнь), а наша негибкая вера в традиции, сделавшие Британию страной независимых и терпимых, свободных и благородных людей.

Глава 15

ПЕРСПЕКТИВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ МАСШТАБЕ

Из всех форм контроля демократии наиболее адекватной ей и наиболее действенной оказалась федерация. (...) Федеративное устройство сдерживает и ограничивает верховную власть путем разделения ее и предоставления правительству лишь определенных, четко установленных прав. Это единственный способ держать в узде не только большинство, но и власть народа в целом.

Лорд Актон

Ни в одной области отказ от принципов либерализма девятнадцатого века не обошелся миру так дорого, как в той, где началось это отступление: в сфере международных отношений. Однако до сих пор понята лишь небольшая часть этого урока. А ведь в этой области больше, чем в какой бы то ни было, нынешние представления об осуществимом и желательном вполне могут породить прямую противоположность тому, что обещают.

Один из уроков недавнего прошлого, доходящий до нас медленно и с трудом, заключается в том, что многие виды

экономического планирования, осуществляемого разными странами независимо друг от друга в национальном масштабе, в своем совокупном воздействии неизбежно оказываются вредны даже с чисто экономической точки зрения, и кроме того приводят к серьезным международным трениям. Теперь уже не надо доказывать, что трудно надеяться на длительный мир и стабильный международный порядок, пока каждая страна может применять любые меры, которые сочтет необходимыми во имя своей собственной выгоды, как бы вредны они ни были для остальных. Действительно, многие виды экономического планирования осуществимы только при условии исключения всех посторонних влияний; поэтому результатом такого планирования неизбежно будет нагромождение всякого рода предписаний, ограничивающих свободу перемещения людей и товаров.

Менее очевидная, но нисколько не менее реальная опасность для мира, порождаемая планированием в национальных масштабах, связана с искусственно культивируемым экономическим единством всего населения страны, а также с возникновением новых блоков с взаимоисключающими интересами. Не только не обязательно, но и нежелательно, чтобы границы между странами знаменовали собой резкие различия в уровне жизни и чтобы сам факт гражданства или проживания в той или иной стране давал право на участие в дележе определенной совокупности материальных благ, разительно отличающейся от аналогичной совокупности в других странах. Если ресурсы отдельных стран рассматриваются как исключительная собственность этих стран, если международные экономические отношения перестают быть отношениями между людьми и все больше превращаются в отношения между целыми странами, играющими в этом случае роль коммерческих организаций, то они неизбежно становятся источником зависти и разногласий между целыми народами. Многие думают, что можно ослабить международные трения, если заменить стихийную конкурентную борьбу за рынки сбыта или сырья прямыми переговорами между государствами или заинтересованными организованными группами. Это роковая иллюзия, ибо она означает, что

на смену конкурентной „борьбе” (которую можно так назвать лишь метафорически) придет подлинный „закон джунглей”, где сильные государства будут навязывать свою волю слабым. Это означает, что соперничество между отдельными людьми, исход которого ранее определялся без применения (или угрозы применения) силы, будет перенесено на мощные, вооруженные государства, не подчиняющиеся никаким стоящим над ними законам. Попытки разрешить спорные экономические вопросы между организациями, представляющими целые государства, каждая из которых является единственным судьей собственных поступков, не подчиняется никакому верховному закону и не связана никакими соображениями, кроме непосредственных интересов своей страны, неизбежно должны заканчиваться столкновениями „с позиции силы”.¹

Если мы не придумаем ничего лучшего, чем использовать факт нашей военной победы для поощрения подобного рода тенденций, и без того уже слишком явных еще до начала этой войны, то может оказаться, что мы разгромили гитлеровский национал-социализм только для того, чтобы мир начал кишеть множеством „национальных социализмов”, отличающихся друг от друга в деталях, но одинаково тоталитаристских, националистических и постоянно пребывающих в конфликте. Тогда немцы оказались бы возмутителями спокойствия только потому (а некоторые уже и сейчас так считают²), что первыми вступили на тот путь, по которому в конце концов последовали и остальные.

* * *

Люди, хотя отчасти сознающие эту опасность, обычно приходят к выводу, что экономическое планирование должно осуществляться в „международных масштабах”, т. е. какими-то наднациональными органами власти. Может быть, это и предотвратило бы некоторые явные трудности, связанные с планированием в национальных масштабах, но проповедники подобных кардинальных решений не понимают, что их предложения порождают еще большие трудности и опасности.

Дело в том, что сложности, вызываемые целенаправленным руководством экономикой в масштабах одной страны, неизбежно еще более возрастают при попытке осуществить то же самое в международных масштабах. По мере увеличения различий между нормами и ценностями, входящими в предполагаемую иерархию, определяемую единым планом, конфликт между планированием и свободой не может не становиться все острее. Нетрудно планировать экономику семьи; сравнительно нетрудно планировать экономику небольшой общины. Но по мере укрупнения масштабов уменьшается согласие относительно иерархии целей и растет необходимость применения силы, необходимость принудительных мер. В маленькой общине по множеству вопросов у людей вырабатываются единые взгляды — будь то проблема относительной важности главных задач или иерархия ценностей — но чем шире становится круг насущных проблем, тем меньше вероятность единодушия, а по мере ослабления общности взглядов растет необходимость прибегать к силе и принуждению.

Народ любой отдельной страны легко убедить пойти на жертвы ради того, чтобы помочь „своей” металлообрабатывающей промышленности или „своему” сельскому хозяйству, или для того, чтобы не дать уровню жизни в стране упасть ниже определенной точки. Пока речь идет о помощи людям, чей жизненный уклад нам знаком, которых нам легко себе вообразить и чьи представления о социальном статусе в основном сходны с нашими, мы обычно готовы чем-то пожертвовать, чтобы, например, улучшить их условия труда или добиться более справедливого распределения доходов. Но стоит лишь попытаться представить себе трудности, возникающие в связи с экономическим планированием даже в масштабах только лишь Западной Европы — как станет ясно, что моральная основа для такого начинания полностью отсутствует. Кто возьмется утверждать, что существуют общие для всех идеалы справедливого распределения, которые могут побудить норвежского рыбака отказаться от перспектив экономического роста ради помощи своему португальскому собрату, датского рабочего — по-

купать велосипед по более высокой цене, чтобы помочь механику из Ковентри, или французского крестьянина — платить больше налогов, чтобы содействовать индустриализации Италии?

Большинство не хочет видеть этих трудностей главным образом потому, что все, сознательно или бессознательно, считают само собой разумеющимся, что именно они будут решать эти вопросы за остальных, а уж в своей справедливости или беспристрастности никто не сомневается. Английский народ (может быть, в большей мере, чем другие) только тогда начинает понимать, что означают такого рода планы, когда оказывается, что англичанам, возможно, предстоит быть в плановых органах в меньшинстве и что пути будущего экономического развития Великобритании будут устанавливаться небританским большинством. Сколько англичан согласно подчиниться решениям международной организации, даже самой что ни на есть демократической, если эта организация постановит, что нужно развивать в первую очередь металлообрабатывающую промышленность Испании, а уже потом — Южного Уэльса, что оптическую промышленность лучше сосредоточить в Германии, исключив Великобританию вообще, или что в Великобританию будет ввозиться только готовый бензин, а все отрасли промышленности, связанные с нефтепереработкой, разместятся в странах-производительницах?

Вообразить, что экономикой обширного региона, охватывающего различные страны и народы, можно управлять демократическим путем — значит проявлять полное непонимание трудностей, порождаемых подобным планированием. Планирование в международных масштабах еще в большей степени, чем в масштабах одной страны, может означать только одно: что небольшая группа голой силой навязывает остальным тот уровень жизни и те виды занятости, которые планирующие органы считают подходящими для этих остальных. Если что-то несомненно, то это следующее: крупномасштабное централизованное хозяйство, размещающееся на обширных территориях, т. е. *Grossraumwirtschaft* того типа, к которому стремились немцы, может быть создано и управ-

ляться только расой господ, Herrenvolk'ом, то есть избранной нацией, безжалостно навязывающей свои цели и идеи всем остальным. Неверно считать проявленную немцами жестокость и полное пренебрежение к идеалам и стремлениям малых наций просто признаком их особой порочности: на деле это неизбежное следствие поставленной ими перед собой задачи. Взяться за руководство экономикой стран с совершенно различными ценностями и идеалами — значит возложить на себя обязанности, вынуждающие прибегать к силе, и оказаться в положении, когда самые лучшие намерения не уберегут от действий, представляющихся тем, кого они затрагивают, в высшей степени аморальными.³

Так обстоит дело, даже если допустить, что господствующая держава проявит идеализм и бескорыстие, какие только можно себе представить. Но как мала вероятность этого, и как велики соблазны! По моему мнению, в Англии уровень порядочности и беспристрастия, особенно в международных делах, не ниже, а может быть, и выше, чем где бы то ни было. Однако уже сейчас раздаются голоса, доказывающие, что победу надо использовать для создания условий, в которых британская промышленность сможет в полную силу использовать специальное оборудование, изготовленное ею во время войны, и что восстановлением Европы нужно руководить так, чтобы оно соответствовало специфическим требованиям английской промышленности и обеспечило каждого жителя Англии работой, которую он считает для себя наиболее подходящей. В этих идеях тревожит не то, что они высказываются, а то, что их высказывают без всякой задней мысли и считают само собой разумеющимися люди, совершенно не осознающие, к каким чудовищным нарушениям всех моральных принципов приведет использование силы в этих целях.⁴

Пожалуй, больше всего укрепляет веру в возможность единого централизованного руководства демократическим путем экономикой множества различных стран роковое заблуждение, состоящее в том, что если отдать все решения в руки „народа“, то общность интересов трудящихся классов быстро победит разногласия, царящие среди правящих

классов. Есть все основания полагать, что при планировании в мировом масштабе конфликт экономических интересов, ныне возникающий вокруг экономической политики любой отдельной страны, проявится еще более остро — в виде противоречий между целыми странами, и его можно будет разрешить только силой. По вопросам, которые придется решать международным планирующим органам, интересы и взгляды трудящихся классов различных наций неизбежно столкнутся точно так же, как интересы разных классов внутри одной страны, а общая исходная база для отыскания справедливого компромисса будет еще меньше. Для рабочего из бедной страны его более преуспевающий коллега, требующий введения закона о минимальной заработной плате (предположительно в интересах низкооплачиваемых работников, а фактически — чтобы предохранить себя от конкуренции с их стороны), зачастую представляет собой просто орудие, направленное на то, чтобы лишить его последнего шанса улучшить свои жизненные условия. В силу своего рождения в определенной стране он уже находится в невыгодном положении и может приблизиться к уровню жизни своих иностранных собратьев, только работая за более низкую плату, чем они. А тот факт, например, что ему приходится обменивать продукт своего десятичасового труда на продукт пятичасового труда жителя другой страны только потому, что тот обеспечен более производительным оборудованием — для него не меньшая „эксплуатация”, чем та, которой занимается капиталист.

При системе международного планирования более богатые, а потому более сильные страны, несомненно, будут вызывать у беднейших стран гораздо большую зависть и ненависть, чем при свободной рыночной экономике. К тому же эти последние будут при этом убеждены (и неважно, соответствует это убеждение истине или нет), что сумели бы гораздо быстрее улучшить свое положение, если бы только были свободны делать то, что считают нужным. Поэтому, если обязанность осуществлять „справедливое распределение материальных благ” между различными нациями будет возложена на международный орган власти, то, как с логи-

ческой неизбежностью следует из социалистического учения, классовая борьба внутри страны превратится в борьбу между трудящимися классами разных стран.

В настоящее время неоднократно приходится сталкиваться с довольно сумбурными концепциями „планирования, направленного на выравнивание различных жизненных уровней”. Поучительно поближе рассмотреть один из таких проектов и понять, о чем идет речь. Особенно охотно наши приверженцы планирования разрабатывают такого рода схемы для бассейна Дуная и для Юго-Восточной Европы. Несомненно, улучшить экономические условия в этом районе настоятельно необходимо не только из гуманитарных и экономических соображений, но и в интересах будущего мира в Европе; несомненно и то, что это достижимо только в иной, чем в прошлом, политической обстановке. Но это не то же самое, что подчинить всю экономику этого района единому плану, поощрять развитие тех или иных отраслей промышленности согласно заранее составленному расписанию и тем самым поставить успех местной инициативы в зависимость от одобрения центральных властей. Например, нельзя создать нечто вроде „Управления по развитию долины реки Теннесси” для бассейна Дуная, не установив тем самым на много лет вперед относительные темпы прогресса различных народов, населяющих этот регион и не подчинив все их индивидуальные устремления и чаяния этой задаче.

Такого рода планирование неизбежно начнется с установления шкалы приоритетов для различных нужд. Для того, чтобы осуществлять „выравнивание жизненного уровня” в соответствии с неким заранее разработанным планом, прежде всего необходимо распределить требования и претензии со стороны различных групп по степени их важности, исходя из „суждения по существу дела” в каждом конкретном случае. При этом одни из них будут объявлены первоочередными, а другие — отодвинуты в более отдаленное будущее, даже если те, кто их выдвигал, будут абсолютно убеждены не только в том, что у них больше оснований и прав на первенство, но и в том, что они смогли бы сами достичь своей цели гораздо быстрее, если бы только им бы-

ла предоставлена свобода действий. Не существует никаких исходных принципов, на основе которых можно было бы решить, что важнее: потребности бедного румынского крестьянина или еще более бедного албанского, словацкого чабана или его словенского собрата. Однако, если повышение уровня жизни должно проводиться в соответствии с единым планом, кто-то будет вынужден сознательно взвешивать „целесообразность” каждой такой потребности и решать, какая из них будет удовлетворена в первую очередь, а какая — нет. Но как только план принимается к исполнению, ему на службу должны быть поставлены *все* ресурсы данного региона. Не может быть никаких послаблений для тех, кто считает, что они могли бы обойтись для достижения своих целей собственными силами; если их „заявка” попала в низшую категорию, им придется в первую очередь работать для удовлетворения нужд тех, кому было отдано предпочтение. При таком состоянии дел *каждый* будет с полным основанием считать, что его материальное положение хуже, чем если бы был принят какой-нибудь другой план, и что всему виной решение всемогущих властей, обрекающее его на худшее существование, чем то, которого он, по его мнению, заслуживает. Пытаться осуществить такое начинание в районе, населенном малыми нациями, каждая из которых равным образом свято убеждена в своем превосходстве над остальными — значит взять на себя задачу, выполнимую только с помощью применения силы. На практике это сведется к тому, что британские власти должны будут решать, чей уровень жизни повышать быстрее: македонского крестьянина или болгарского; кто быстрее приблизится к западным стандартам: чешский шахтер или венгерский. Не нужно быть глубоким знатоком человеческой природы — достаточно лишь немного знать историю и психологию народов Центральной Европы, чтобы понять, что какие бы решения ни были приняты, многим (вероятно, большинству) они покажутся вопиюще несправедливыми и что эти народы вскоре объединятся в общей ненависти к державе, которая, пусть даже из самых бескорыстных побуждений, фактически решает их судьбу.

Безусловно, многие искренне убеждены, что если бы им доверили эту задачу, они сумели бы уладить все трудности справедливо и беспристрастно, и эти люди искренне изумились бы, обнаружив направленные в свой адрес подозрения и ненависть. Однако если благодетельствуемые будут упорствовать в неподчинении благодетелям, те же самые люди, скорее всего, первыми применят силу и станут безжалостно насиловать волю людей, в их же предполагаемых интересах. Эти опасные идеалисты не понимают одного: когда принятие моральной ответственности связано с насильственным навязыванием какому-то обществу собственной системы моральных ценностей в ущерб той, которая там уже существует, то принимающий на себя эту ответственность может оказаться в такой ситуации, когда действовать в соответствии с какими-то нравственными критериями станет попросту невозможно. Навязать странам-победительницам столь непосильное моральное бремя — это вернейший способ полностью подорвать их репутацию и морально дискредитировать.

Не подлежит сомнению, что мы должны всеми силами помогать более бедным народам в их усилиях наладить свою жизнь и повысить свой жизненный уровень. Некий международный орган власти сумеет сохранить справедливость и внести неоценимый вклад в экономическое процветание, если он будет просто поддерживать порядок и создавать условия, позволяющие людям самим улучшать свою жизнь. Однако в условиях, когда центральные органы власти раздают сырьевые подачки и распределяют рынки сбыта, когда любая спонтанная инициатива нуждается в „одобрении” властей и без их санкции ничего не делается — невозможно ни быть справедливым, ни предоставлять людям право самим распоряжаться своей судьбой.

* * *

После всего сказанного в предыдущих главах нет необходимости подчеркивать, что эти трудности нельзя разрешить, наделив различные международные органы власти

„чисто экономическими” полномочиями. Вера в осуществимость такого варианта на практике покоится на ложном представлении о планировании как о чисто технической задаче, которую могут строго объективно решать специалисты, тогда как жизненно важные сферы останутся в руках политических властей. Любая международная экономическая организация, не подчиняющаяся высшей политической власти, легко может превратиться в самую деспотическую и безответственную власть, какую только можно себе представить. Исключительный контроль предложения какого-то товара или услуги первой необходимости (например, воздушного транспорта) — на деле широчайшая власть, какой только можно облечь любой орган. А поскольку к тому же практически все что угодно можно оправдать „технической необходимостью”, чего не сможет оспаривать ни один непосвященный, — или даже гуманитарными (и, возможно, вполне искренними) соображениями о необходимости помочь какой-нибудь особенно обделенной группе — то регулировать эту власть почти невозможно. Проект объединения мировых ресурсов под началом более или менее автономных органов власти, который теперь столь часто встречается с теплым приемом в самых неожиданных кругах, то есть система всеохватывающих монополий, признаваемая правительствами всех стран, но ни одному из них не подчиняющаяся, неизбежно превратится в самую зловещую мафию, занимающуюся организованным шантажом — даже если люди, поставленные во главе ее, окажутся неусыпными блюстителями доверенных им конкретных интересов.

Достаточно всерьез задуматься о реальных последствиях невинных, на первый взгляд, проектов, имеющих широкое хождение в качестве основы будущего экономического порядка (таких как целенаправленный контроль и распределение главных видов сырья), как станет ясно, что это приведет к политическим трудностям и породит опасности чисто морального порядка. Человек, контролирующий поставки любого такого сырья (нефти и леса, каучука и олова) будет хозяином судьбы целых стран и отраслей промышленности. Решая, следует ли допустить, чтобы приток какого-то

вида сырья на рынок увеличился (и, следовательно, чтобы цены и доходы его производителей упали), он будет тем самым решать, позволить или не позволить той или иной стране создать новую отрасль промышленности. „Заботясь” о сохранении жизненного уровня тех, кто, как он считает, предоставлены его специальному попечению, он лишает многих других, находящихся в гораздо худшем положении, единственного шанса это положение улучшить. Если все основные виды сырья будут контролироваться таким образом, то не сможет возникнуть ни одна новая отрасль промышленности, народ ни одной страны не будет иметь возможности предпринять какую-то новую инициативу без разрешения органов контроля, и ни один план развития промышленности или улучшения жизненных условий не будет застрахован от их вето. Это относится и к системе международных соглашений, направленных на раздел рынков сбыта, и в еще большей степени — к контролю капиталовложений и разработки природных ресурсов.

Любопытно, что люди, изображающие из себя самых что ни на есть закоренелых прагматиков и реалистов и не упускающие случая высмеять „утопизм” тех, кто верит в возможность стабильного международного политического порядка, считают в то же время возможным и вполне осуществимым гораздо более глубокое и безответственное вмешательство в жизнь различных народов, связанное с экономическим планированием. Они полагают, что если некому международному правительству (которое, по их мнению, неспособно даже обеспечить соблюдение всеми странами норм международного права) предоставить не виданную прежде власть, то эта, гораздо большая, власть будет использована столь альтруистическим и вне всякого сомнения, столь справедливым образом, что все ей охотно подчинятся. Очевидно одно: может быть, страны и соблюдали бы формальные правила, о которых была достигнута договоренность — но они никогда не подчинятся руководству, необходимому для экономического планирования; они могут договориться о правилах игры, но никогда не согласятся на порядок, при котором очередность рассмотрения их нужд

будет утверждаться большинством голосов. Даже если сначала, под действием иллюзий относительно смысла такого рода проектов, они и согласятся облечь международную организацию такой властью, то вскоре обнаружат, что не просто возложили на нее техническую задачу, но доверили ей власть над всей своей жизнью.

На деле, конечно, наши „реалисты” не так уж непрактичны и выступают в поддержку такого рода проектов не без задней мысли. Они рассчитывают на то, что великие державы, не подчиняющиеся никакой верховной власти, смогут использовать „международные” органы власти для навязывания своей воли малым странам, находящимся в сфере их гегемонии. В этом действительно есть „реализм”: замаскировав плановые организации под „международные”, вероятно, легче будет добиться единственной ситуации, при которой международное планирование осуществимо — ситуации, когда оно на практике осуществляется единовластно господствующей державой. Однако камуфляж не меняет того факта, что для всех малых стран это будет означать гораздо более полное подчинение внешней власти, которой невозможно оказать никакого реального сопротивления, чем отказ от четкой и определенной доли политического суверенитета.

Показательно, что страстные защитники централизованного экономического „нового порядка” в Европе, как и их фабианские и немецкие предшественники, совершенно игнорируют индивидуальность и права малых стран. Взгляды профессора Карра, который в этой области даже еще больше, чем во внутренней политике, является выразителем английской тенденции к тоталитаризму, уже побудили одного из его коллег задать вопрос по существу: „Если нацистский подход к малым суверенным государствам действительно станет общепринятым, то за что мы воюем?”⁵ Те, кто видел, какую тревогу и беспокойство вызвали у союзных с нами малых стран недавние высказывания на этот счет в столь разных газетах, как *Таймс* и *Нью Стейтсмен*,⁶ знают, какое возмущение такая позиция уже сейчас вызывает у наших ближайших друзей и как легко будет разбазарить весь капи-

тал доброй воли, накопившийся за войну, если мы последуем такого рода советам.

* * *

Те, кто с такой легкостью готовы игнорировать права малых стран, разумеется, правы в одном: мы не можем надеяться ни на длительный мир, ни на стабильный международный порядок в послевоенном мире, если государства — неважно, большие или малые — вновь обретут ничем не ограниченный суверенитет в экономической сфере. Но это не значит, что нужно облечь новое сверхгосударство властью, которую мы не научились разумно использовать даже в масштабах одной страны; это не значит, что международным органам власти надо предоставить возможность указывать отдельным странам, как им использовать свои ресурсы. Это означает лишь, что нужна власть, которая может воспрепятствовать таким действиям различных стран, которые могут нанести вред другим — то есть свод правил, определяющих, что позволено делать какому-то государству, а также некий орган власти, способный обеспечить соблюдение этих правил. Власть, которой обладала бы такая организация, носила бы главным образом *запретительный*, а не предписывающий, характер: в первую очередь она должна иметь возможность сказать „нет” всякого рода рестрикционным мерам.

Совершенно неверно думать, как это теперь принято, что нам нужна международная экономическая власть при сохранении государствами неограниченного политического суверенитета. На деле все обстоит как раз наоборот. То, в чем мы нуждаемся и чего можем надеяться достичь — это не громадная власть в руках никому не подотчетных международных экономических организаций, но, напротив, верховная политическая власть, которая может сдерживать игру экономических интересов и в случае конфликта между ними выступать в роли третьей стороны — что возможно только в том случае, если сама она в этой игре не участвует. Существует потребность в международном политическом органе власти, который, не обладая полномочиями указы-

вать людям, как им жить, мог бы помешать им предпринимать действия, идущие во вред другим. Полномочия такого международного органа власти — это не полномочия нового типа, взятые на себя государствами лишь сравнительно в недавнее время, но тот минимум полномочий, без которого невозможно сохранить мирные отношения между странами, то есть по сути дела полномочия ультралиберального государства типа *laissez-faire*. При этом абсолютно необходимо, чтобы полномочия этого международного органа власти строго ограничивались принципом правозаконности в международных отношениях (это даже более важно, чем соблюдение правозаконности в масштабах одной страны). Фактически необходимость в таком наднациональном органе власти возрастает по мере того, как отдельные государства все более становятся самостоятельными экономическими единицами — образно выражаясь, перестают довольствоваться контролем или надзором за событиями на экономической сцене, а начинают сами играть на ней активную роль. Действительно, в таких условиях возможные конфликты будут возникать уже не между отдельными людьми, а между государствами как таковыми.

Форма международного правления, при которой некоторые четко определенные полномочия передаются международному органу власти, тогда как во всех прочих отношениях страны по-прежнему сами распоряжаются своими внутренними делами — это, конечно, федерация. Нельзя позволить многочисленным необдуманно и часто крайне глупым требованиям, высказывавшимся в связи с идеей всемирной конфедерации в разгар пропаганды „Федеративного Союза”, затемнить тот факт, что федеративный принцип — единственная форма объединения народов, которая может создать стабильную систему международных отношений, не посягая при этом на законное стремление этих народов к независимости.⁷ Федерализм есть, разумеется, не что иное, как применение к международным делам демократии, этого единственного изобретенного человеком способа осуществлять перемены мирным путем. Но это демократия с четко ограниченными полномочиями. За исключе-

нием неосуществимого идеала слияния разных стран в единое централизованное государство (желательность чего далеко не очевидна), это единственный путь к превращению международного права из идеала в реальность. Не будем себя обманывать: называя в прошлом международные нормы поведения международным правом, мы всего лишь выражали желание такое право иметь. Когда мы хотим помешать людям убивать друг друга, мы не довольствуемся декларациями о нежелательности убийств: мы даем определенным органам власти полномочия для их предотвращения. Точно так же не может существовать международного права без власти, полномочной претворять его в жизнь. Препятствием к созданию таких международных органов власти в большой мере служило представление, согласно которому такие органы должны располагать всей той практически неограниченной властью, которой располагает современное государство. Но при характерном для федеративной системы разделении полномочий это вовсе не обязательно.

Такое разделение полномочий неизбежно будет ограничивать как власть конфедерации в целом, так и власть одного отдельно взятого государства. Более того, многие модные сейчас виды планирования при этом, вероятно, окажутся просто невозможными.⁸ Но это никоим образом не послужит препятствием для всякого планирования. Наоборот, одно из главных преимуществ федеративной системы состоит в том, что ее можно организовать так, чтобы затруднить вредоносное планирование, оставляя при этом „зеленую улицу” для желательного планирования. Федеративная система препятствует (или, по крайней мере, может быть устроена так, чтобы препятствовать) большинству видов рестрикционизма. Кроме того, она ограничивает международное планирование областями, в которых можно достичь подлинной договоренности — не только между непосредственно заинтересованными группировками, но и между всеми, кого это затрагивает. Желательным видам планирования, осуществимым в местных условиях и без необходимости прибегать к рестрикционным мерам, дается полная свобода; при этом планирование остается в руках людей и органов, наиболее

пригодных для его осуществления. Можно даже надеяться, что внутри конфедерации, где перестанут существовать прежние предпосылки для непрерывного усиления мощи отдельных государств, возникнет возможность повернуть вспять шедший в прошлом процесс централизации и вернуть некоторые полномочия государства местным органам власти.

Стоит вспомнить, что мечта о том, что наша планета наконец обретет мир благодаря слиянию отдельных государств в крупные федеративные союзы, а в конечном счете, быть может, и в единую мировую федерацию, не нова: она была идеалом почти всех либеральных мыслителей девятнадцатого века. Начиная с Теннисона (чье часто цитируемое видение „воздушной битвы” сменяется видением конфедерации народов, которая последует за их последним великим сражением) и до самого конца девятнадцатого века не умирала надежда на создание федерации как на следующий громадный шаг в развитии цивилизации. Возможно, либералы девятнадцатого века не вполне ясно осознавали, насколько кардинальным и основополагающим дополнением к их принципам являлась идея конфедерации различных государств,⁹ но мало кто из них не выражал своей веры в нее как в конечную цель.¹⁰ Только с приходом двадцатого века, с торжеством Realpolitik, эти надежды стали вновь считаться утопическими и неосуществимыми.

* * *

Не следует стремиться восстанавливать цивилизацию в крупных масштабах. Не случайно в жизни малых народов больше красоты и душевности и не случайно граждане крупных держав тем более счастливы и довольны, чем в большей степени данной стране удалось избежать мертвящей атмосферы централизации. И уж во всяком случае нам не удастся ни сохранить демократию, ни способствовать ее развитию, если вся власть, все важнейшие решения окажутся в руках организации, слишком громадной для того, чтобы ее мог охватить во всей полноте и понять простой, средний человек. Демократия никогда и нигде не функционировала

успешно без широкого местного самоуправления, являющегося политической школой не только для будущих лидеров, но и для широких масс. Только там, где можно научиться ответственности на практике, в вопросах, знакомых большинству людей, там, где в своей деятельности человек руководствуется пониманием соседа, а не теоретическим знанием человеческих нужд — только там рядовой человек может принимать реальное участие в общественных делах, ибо они касаются мира, который ему знаком. Когда масштаб политических мероприятий становится настолько широким, что всеми необходимыми для их понимания знаниями начинает обладать почти исключительно бюрократия, творческие импульсы отдельного человека неизбежно ослабевают. По моему мнению, в этом отношении даже самым удачливым из крупных стран — например, Великобритании — есть чему поучиться у малых стран, таких как Голландия и Швейцария. Мы все окажемся в выигрыше, если нам удастся создать мир, в котором будет удобно жить небольшим странам.

Однако малые страны могут сохранить независимость в сфере как международных, так и внутренних дел только в рамках подлинной правовой системы, гарантирующей, во-первых, что определенные правила будут неизменно претворяться в жизнь, а во-вторых, что органы, обладающие властью следить за соблюдением этих правил, не будут иметь возможности употребить эту власть в каких бы то ни было иных целях. Хотя задача проведения в жизнь норм общего права требует, чтобы наднациональные органы располагали весьма значительной властью, тем не менее их структура и устав должны быть таковы, чтобы препятствовать превращению как национальных, так и международных органов власти в деспотические. Мы никогда не сможем предотвратить злоупотреблений властью, если не согласимся ограничить эту власть, даже если это в отдельных случаях помешает применить ее в желательных целях. С окончанием войны перед нами открывается историческая возможность: великие державы-победительницы, первыми подчинившись системе норм, которые они обладают властью претворить в жизнь, тем самым смогут обрести моральное право обязать подчи-

няться этим нормам и всех остальных.

Международный орган власти, эффективно ограничивающий власть государства над индивидуумом, будет одной из лучших гарантий мира. Принцип правозаконности в международных отношениях должен стать гарантией не только против тирании государства над отдельными людьми, но и против тирании нового сверхгосударства над отдельными странами. Не всемогущее сверхгосударство, и не формальная, ни к чему не обязывающая ассоциация „свободных стран”, но содружество стран, населенных свободными людьми — вот что должно быть нашей целью. Мы долго оправдывали себя тем, что в международных делах невозможно вести себя так, как, по нашему мнению, было бы желательно, ибо другие не захотят играть по правилам. Приближающееся политическое урегулирование даст нам возможность доказать свою искренность и готовность пойти на те ограничения свободы действий, какие мы считаем необходимыми в общих интересах наложить на других.

При разумном использовании федеративный принцип организации может оказаться наилучшим путем решения некоторых труднейших мировых проблем. Но его применение — задача чрезвычайно сложная, и мы вряд ли добьемся успеха, если в своем стремлении к возвышенным, но несуществимым целям попытаемся добиться от федеративной системы большего, чем она может дать. Скорее всего, появится сильная тенденция превратить любую новую международную организацию во всемирную и всеобъемлющую; и какая-то организация такого рода, какая-нибудь новая Лига Наций, действительно крайне необходима. Опасность, однако, заключается в том, что если в своих попытках положиться исключительно на эту всемирную организацию мы возложим на нее все функции, которые желательно отдать в руки международных организаций, то эти функции не будут должным образом выполняться. Я всегда был убежден в том, что именно такие чрезмерные амбиции были источником слабости Лиги Наций, что ее силы были подорваны безуспешными попытками превратить эту организацию во всемирную. Быть может, не столь широкая, но в то же

время более сильная Лига могла бы оказаться лучшим орудием сохранения мира. По моему мнению, эти соображения верны и сегодня: достичь во всемирном масштабе столь тесного сотрудничества, которое достижимо, скажем, между Британской Империей и странами Западной Европы, а также, вероятно, Соединенными Штатами, невозможно. Сравнительно тесная ассоциация, какой является Федеративный Союз, вначале будет осуществима только в пределах части Западной Европы, хотя не исключено, что постепенно ее удастся расширить.

Правда, с образованием таких региональных федераций возможность войны между разными блоками не исчезает, и чтобы в максимальной степени снизить риск такой войны, необходимо стремиться к созданию более широкой и менее интегрированной организации. Но мне хотелось бы подчеркнуть, что потребность в такой организации не должна становиться препятствием к более тесному объединению стран, близких по своей цивилизации, мировоззрению и морально-этическим нормам. Разумеется, мы должны стремиться всеми возможными способами предотвратить будущие войны, но неверно считать, что можно одним махом создать постоянно действующую организацию, которая сделает войну в каком бы то ни было районе мира совершенно невозможной. Такая попытка не только не удастся, но помешает нам достичь успеха в более ограниченной сфере. Как и во всем, что касается иных величайших зол, меры, которыми войну можно в будущем начисто исключить, вполне могут оказаться даже еще хуже, чем сама война. Все, чего мы можем реально надеяться достичь — это снизить риск возникновения трений, могущих привести к войне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В задачу этой книги не входила подробная разработка программы желательного будущего общественного устройства. Если в отношении международных дел мы позволили себе немного выйти за пределы своей в первую очередь критической задачи, то только потому, что в этой области мы вскоре можем оказаться перед необходимостью разработать какую-то структуру, в рамках которой будет идти дальнейшее развитие — возможно, в течение многих лет. От того, как мы используем открывающиеся перед нами возможности, зависит очень многое. Но что бы мы ни сделали, это будет лишь началом нового процесса, долгого и трудного, в ходе которого, как все надеются, постепенно будет создаваться мир, весьма отличающийся от того, каким мы его знали на протяжении последней четверти столетия. На нынешней стадии вряд ли может пригодиться подробный план внутреннего устройства общества — да и вряд ли кто-нибудь достаточно компетентен для разработки такого плана. Сейчас важно прийти к соглашению относительно определенных принципов и освободиться от ошибочных взглядов, которыми направлялись наши действия в недавнем прошлом. Как это ни горько, но нужно признать, что уже к началу войны мы вновь достигли стадии, на которой важнее расчистить препятствия, нагроможденные на нашем пути человеческим безрассудством, и дать выход творческой

энергии человека, чем разрабатывать новые принципы „руководства” и „управления” людьми — то есть создать условия, благоприятствующие прогрессу, а не „планировать” прогресс. Сейчас наша первейшая необходимость — избавиться от худшей формы современного обскурантизма: уверенности, что все, совершенное нами в недавнем прошлом, было либо разумно, либо неизбежно. Мы не поумнеем, прежде чем не поймем, что многое из нами сделанного было очень глупо.

Чтобы построить лучший мир, у нас должно хватить мужества начать все сначала — даже если это означает в какой-то степени *gesuler pour mieux sauter*.¹ И мужество это выказывают не те, кто верит в неизбежные тенденции, не те, кто проповедует „новый порядок”, являющийся продолжением тенденций последних сорока лет, не те, кто не может придумать ничего лучшего, чем имитировать то, что пытался сделать Гитлер. Наоборот, именно они, громче всех призывающие к „новому порядку”, всецело находятся под властью идей, породивших и нынешнюю войну, и большинство зол, от которых мы страдаем. Молодежь права, когда не очень верит в идеи, которыми руководствуется большинство старшего поколения. Но она ошибается, считая, что это все те же либеральные идеи девятнадцатого века, которых молодое поколение, в сущности, почти не знает. Разумеется, мы не можем считать своей целью (да это и не в нашей власти) возврат к действительности девятнадцатого века; но у нас есть возможность осуществить его идеалы — а они были прекрасны. В этом отношении мы не имеем права ощущать свое превосходство перед нашими делами; нельзя забывать, что не они, а именно мы, люди двадцатого столетия, все испортили. Если они еще не знали, что нужно для построения такого мира, к какому они стремились, то опыт, приобретенный нами с тех пор, должен был бы лучше подготовить нас для этой задачи. Если первая попытка создать мир свободных людей не удалась, нужно предпринять вторую. Руководящий принцип, согласно которому единственная подлинно прогрессивная политика — это политика, направленная на достижение свободы личности, сегодня так же верен, как и в девятнадцатом веке.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Изложение позиции, бывшей решительно не в почете в течение многих лет, страдает от того, что в рамках десятка небольших глав можно рассмотреть лишь некоторые ее аспекты. Для читателя, чье мировоззрение сформировалось целиком под влиянием взглядов, господствовавших на протяжении последнего двадцатилетия, этого едва ли достаточно, чтобы найти общую почву, необходимую для плодотворной дискуссии. Однако взгляды автора, хоть и не совпадающие с принятыми ныне, не столь уж оригинальны, как может показаться некоторым читателям. Его убеждения в основе своей сходны с теми, которые высказываются все более и более многочисленными авторами во многих странах, чьи исследования независимо привели их к аналогичным выводам. Читатель, желающий ближе познакомиться с этими взглядами (которые, хочется думать, покажутся ему хоть и непривычными, но не чуждыми по духу), возможно, сочтет для себя полезным нижеследующий список наиболее серьезных работ этого типа. Некоторые из них удачно дополняют настоящее эссе (носящее главным образом критический характер) более полным обсуждением вопроса об оптимальном устройстве будущего общества.

- W. H. Chamberlin. *A False Utopia. Collectivism in Theory and Practice*. (Duckworth) 1937.
- F. D. Graham. *Social Goals and Economic Institutions*. (Princeton University Press) 1942.
- E. Halévy. *L'Ere des Tyrannies*. Paris (Gallimard) 1938.
Английский перевод двух наиболее важных работ из этого сборника опубликован в журнале *Economica*, February 1941, и в *International Affairs*, 1934.
- G. Halm, L. v. Mises, and others. *Collectivist Economic Planning*, ed. by F. A. Hayek. (Routledge) 1937.
- W. H. Hutt. *Economists and the Public*. (Cape) 1935.
- W. Lippmann. *An Inquiry into the Principles of the Good Society*. (Allen & Unwin) 1937.
- L. v. Mises. *Socialism*, trsl. by J. Kahane. (Cape) 1936.
- R. Muir. *Liberty and Civilisation*. (Cape) 1940.
- M. Polanyi. *The Contempt of Freedom*. (Watts) 1940.
- W. Rappard. *The Crisis of Democracy*. (University of Chicago Press) 1938.
- L. C. Robbins. *Economic Planning and International Order*. (Macmillan) 1937.
- L. C. Robbins. *The Economic Basis of Class Conflict and Other Essays in Political Economy*. (Macmillan) 1939.
- L. C. Robbins. *The Economic Causes of War*. (Cape) 1939.
- W. Roepke. *Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart*. Zürich (Eugen Rentsch) 1942.
- L. Rougier. *Les mystiques économiques*. Paris (Librairie Medecis) 1938.
- F. A. Voigt. *Unto Caesar*. (Constable) 1938.

Следующие из серии „Брошюр по общественно-политическим вопросам”, выпускавшейся Издательством Чикагского университета:

- H. Simons. *A Positive Program for Laissez-Faire. Some Proposals for a Liberal Economic Policy*. 1934.
- H. D. Gideonse. *Organised Scarcity and Public Policy*. 1939.
- F. A. Hermens. *Democracy and Proportional Representation*. 1940.
- W. Sulzbach. „Capitalist Warmongers”: *A Modern Superstition*. 1942.

М. А. Heilperin. *Economic Policy and Democracy*. 1943.

Имеются также серьезные немецкие и итальянские труды аналогичного характера, которые, из соображений безопасности их авторов, не стоит сейчас называть.

К этому списку я хочу добавить названия трех книг, которые более любых других из числа мне известных помогают понять, какими идеями руководствуются наши противники и каковы различия между их системой мышления и нашей:

Е. В. Ashton. *The Fascist, His State and Mind*. (Putnam) 1937.

F. W. Foerster. *Europe and the German Question*. (Sheed) 1940.

Н. Kantorowicz. *The Spirit of English Policy and the Myth of the Encirclement of Germany*. (Allen & Unwin) 1931.

Следует также упомянуть недавно появившуюся примечательную работу по новейшей истории Германии, которую в Англии знают меньше, чем она того заслуживает:

F. Schnabel. *Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert*. 4 vols. Freiburg im Breisgau, 1929—37.

Пожалуй, лучшим руководством по нашим современным проблемам по-прежнему являются труды великих политических мыслителей либеральной эпохи, таких как де Токвиль или лорд Актон, или, идя еще дальше вглубь времен, Бенджамен Констан, Эдмунд Берк, а также статьи по вопросам федерализма, принадлежащие перу Медисона, Гамильтона и Джея.¹ Все они относились к поколениям, для которых свобода была еще новой проблемой и ценностью, нуждавшейся в защите, тогда как наше поколение воспринимает ее как нечто само собой разумеющееся и при этом не только не понимает, откуда идет опасность, но и не имеет мужества освободиться от идей, ставящих ее под угрозу.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ 1976 ГОДА

1. „Трактаты для нашего времени” – название серии памфлетов на актуальные религиозные темы, выпускавшихся в Англии с 1833 г. основателями т. н. „Оксфордского движения”, выступавшего за возвращение к католицизму. По названию этой серии само движение стало называться „трактарианством”, а его последователи – „трактарианцами”. *Прим. ред.*
2. „Государство всеобщего благоденствия” („welfare state”) – термин, принятый в политических и экономических науках для обозначения государства с развитой сетью социального обеспечения, бесплатным обучением, медицинской помощью и т. п. *Прим. ред.*
3. Интервенционизм – доктрина активного вмешательства государства в экономическую жизнь (иногда называется также „этатизмом”). *Прим. ред.*

ВВЕДЕНИЕ

1. Поскольку кое-кто может счесть это утверждение преувеличением, быть может, стоит привести свидетельство лорда Морли, который в своих *Воспоминаниях* называет „всеми признанным фактом” то, что „основная система рассуждений в эссе *О свободе* не оригинальна, но пришла к нам из Германии”.

2. Насколько сильно взгляды, исповедуемые во всех, даже самых консервативных кругах целой страны, могут быть окрашены преобладающей левизной иностранных корреспондентов ее прессы, видно из повсеместно распространенного в Америке взгляда на отношения между Великобританией и Индией. Англичанин, стремящийся видеть события на европейском континенте в правильном свете, должен всерьез учитывать, что его взгляды, возможно, извращены точно таким же образом и по той же причине. Я ни в коем случае не ставлю под сомнение искренность американских и английских иностранных корреспондентов. Но всякий, кто знает, с какими кругами местного населения у них больше всего шансов сблизиться, без труда поймет источник их предвзятости.
3. Определенного родства между социализмом и устройством Прусского государства, сознательно организованного сверху так, как ни в одной другой стране, отрицать не приходится. Оно открыто признавалось уже первыми французскими социалистами. Задолго до того, как идеал управления целой страной по принципу управления фабрикой начал вдохновлять социализм девятнадцатого века, прусский поэт Новалис уже жаловался, что „ни одна страна никогда не управлялась настолько по образцу фабрики”, как Пруссия после смерти Фридриха Вильгельма”. (См. Novalis [Friedrich von Hardenberg], *Glauben und Liebe, oder der König und die Königin*, 1798). /Фридрих Вильгельм (1620-1688) – бранденбургский курфюрст (1640-1688), т. н. „великий курфюрст”, основатель прусской военно-феодальной монархии. *Прим. ред.*/

Глава 1. ОТВЕРГНУТЫЙ ПУТЬ

1. „Laissez-faire” (собственно „laissez faire, laissez passer” – „позволяйте делать /кто что хочет/, позволяйте идти /кто куда хочет/”) – доктрина французских экономистов середины восемнадцатого века, отстаивающая принцип невмешательства государства в экономические отношения (выражение принадлежит французскому экономисту Гурнэ и было впервые употреблено им в 1758 г.). *Прим. ред.*
2. Действительно, уже в 1931 г. мы могли прочитать в „Отчете Макмиллана” о „наблюдающейся в последние годы перемене в самом подходе правительства к своей роли и все усиливающейся тенденции каждого кабинета министров,

независимо от партийной принадлежности, брать в свои руки организацию и управление жизнью граждан”. Далее добавлялось: „Парламент все более вовлекается в проведение законодательных актов, непосредственно направленных на регулирование повседневных занятий населения, и ныне вмешивается в дела, прежде считавшиеся совершенно не входящими в его компетенцию”. Это можно было сказать еще до того, как в конце того же года Англия сделала, наконец, решительный шаг и за короткое время, охватывающее бесславные 1931-1939 гг., преобразила свою экономическую систему до неузнаваемости.

3. Даже гораздо более недавние предостережения, оказавшиеся ужасающей правдой, уже почти забыты. Не прошло и тридцати лет с тех пор как Хилэр Беллок, в книге, которая объясняет происшедшие с тех пор в Германии события лучше, чем большинство современных исследований, писал, что „воздействие социалистического учения на капиталистическую систему приводит к возникновению новой, третьей сущности, отличной от обоих породивших ее источников – мы назовем ее „государством всеобщего порабощения”. (Hilaire Belloc, *The Servile State*, 1913, 3rd ed. 1927, p. XIV).
/Сам Беллок в своей книге определял как „государство всеобщего порабощения” такое „устройство общества, при котором столь значительное число семей и отдельных лиц принуждены в силу действующих законодательных установлений трудиться на благо других семей или отдельных лиц, что этот принудительный труд становится характеристикой всего общества в целом”. Именно так, по мнению современных противников этатизма, обстоит дело в „государстве всеобщего благоденствия” (см. выше), обеспечивающем определенный уровень материального благосостояния граждан ценой утраты индивидуальной свободы и ликвидации стимулов, способствующих экономическому росту. *Прим. ред.*/
4. Событием рокового значения, чьи последствия до сих пор не изжиты, было подчинение и частичное уничтожение немецкой буржуазии владетельными князьями в пятнадцатом и шестнадцатом веках.
5. Автор попытался проследить за развитием этих изменений в двух сериях статей: „Сциентизм в изучении общества” и „Контрреволюция науки”, появившихся в журнале *Economica*, в 1941-1944 гг.
/Сциентизм (или сайентизм) – течение в науке об обществе,

ставящее своей целью уподобление социальных наук естественным как по методам, так и по функции в обществе.

Прим. ред./

6. K. Mannheim. *Man and Society in an Age of Reconstruction*, 1940, p. 175.

Глава 2. ВЕЛИКАЯ УТОПИЯ

1. „Discours prononcé à l'assemblée constituante le 12 Septembre 1848 sur la question du droit au travail”. *Oeuvres complètes d'Alexis de Tocqueville*, vol. IX, 1866, p. 546.
2. Характерное смешение свободы с властью, с которым мы будем все вновь и вновь сталкиваться в ходе нашей дискуссии – тема слишком большая для глубокого анализа здесь. Смешение это старо как сам социализм и настолько неразрывно с ним связано, что почти семьдесят лет назад один французский ученый, обсуждая сен-симоновские корни социализма, заметил даже, что эта теория свободы „est à elle seule tout le socialisme”* (P. Janet, *Saint-Simon et le Saint-Simonisme*, 1878, p. 26, прим.). Показательно, что наиболее откровенным защитником этой путаницы является ведущий философ американского левого крыла Джон Дьюи, по словам которого „свобода есть реальная власть делать определенные вещи”, а поэтому „требование свободы есть требование власти” („Liberty and Social Control”, *The Social Frontier*, November 1935, p. 41).
* „... сама по себе уже содержит весь социализм” (франц.)
3. Max Eastman, *Stalin's Russia and the Crisis of Socialism*, 1940, p.82.
4. W. H. Chamberlin, *A False Utopia*, 1937, p. 202-3.
5. F. A. Voigt, *Unto Caesar*, 1939, p. 95.
6. *Atlantic Monthly*, November 1936, p. 552.
7. P. Drucker, *The End of Economic Man*, 1939, p. 230.
8. В высшей степени поучительную картину эволюции идей многих фашистских лидеров можно найти в сочинении Р. Михельса (бывшего марксиста, а ныне фашиста) : R. Michels, *Sozialismus und Faschismus*, München, 1925, vol. II, pp. 264-6, 311-12.
9. *Social Research* (New York), vol. VIII, No. 4, November 1941. – В этой связи заслуживает упоминания, что по каким-то причинам Гитлер счел целесообразным заявить в одном из своих публичных выступлений в феврале 1941 г., что „в основе своей национал-социализм и марксизм – одно

и то же". (См. *The Bulletin of International News*, выпускаемый Королевским Институтом по международным делам, vol. XVIII, No. 5, p. 269).

Глава 3. ИНДИВИДУАЛИЗМ И КОЛЛЕКТИВИЗМ

1. Цитируется Дугаллом Стюартом в его *Краткой биографии Адама Смита* по тексту заметок, составленных Смитом в 1755 г.
2. Правда, в последнее время некоторые кабинетные социалисты, под влиянием критики, а также движимые опасениями за судьбу свободы в планируемом сверх обществе, изобрели новую концепцию – „конкурентный социализм”, якобы позволяющий избежать трудностей и опасностей, связанных с централизованным планированием, и сочетающий отмену частной собственности с полным сохранением свободы личности. Эта новая разновидность социализма некоторое время обсуждалась в ученых журналах, но практических политиков она вряд ли заинтересует. Да если бы и заинтересовала, то нетрудно показать (как это попытался проделать автор настоящей книги в другом месте – см. *Economica*, 1940), что планы эти зиждятся на иллюзиях и страдают внутренними противоречиями. Невозможно осуществлять контроль всех производственных ресурсов, не решая, кто и для кого будет эти ресурсы использовать. При „конкурентном социализме” планирование будет проводиться окольным путем, но результаты будут примерно теми же, а элемент конкуренции останется не более чем бутафорией.
3. *The Spectator*, March 3rd, 1939, p. 337.

Глава 4. „НЕИЗБЕЖНОСТЬ” ПЛАНИРОВАНИЯ

1. Для более подробного обсуждения этих вопросов см. очерк профессора Л. Роббинса „Неизбежность монополий” в *Economic Basis of Class Conflict*, 1939, pp. 45-80.
2. *Final Report and Recommendations of the Temporary National Economic Committee*, 77th Congress, 1st Session, Senate Document No. 35, 1941, p. 89.
3. C. Wilcox, *Competition and Monopoly in American Industry*, Temporary National Economic Committee, Monograph No. 21, 1940, p. 314.
4. Протекционизм – экономическая политика государства,

имеющая целью оградить национальное хозяйство от иностранной конкуренции путем введения высоких пошлин на ввоз товаров, стимулирования экспорта, финансового поощрения отечественной промышленности и т. д.

Противоположный политический курс (и соответствующая доктрина) носят название „фритредерства” (от англ. free trade – свободная торговля). *Прим. ред.*

5. R. Niebuhr, *Moral Man and Immoral Society*, 1932.

6. Но вот любопытный факт: во время правки корректуры этой книги пришло известие, что работы по обслуживанию шоссейных дорог в Германии временно приостановлены!

Глава 5. ПЛАНИРОВАНИЕ И ДЕМОКРАТИЯ

1. S. & B. Webb, *Industrial Democracy*, 1897, p. 800, примечание.

2. H. J. Laski, „Labour and the Constitution”, *The New Statesman and Nation*, No. 81 (New Series), Sept. 10th, 1932, p. 277.

В книге, где профессор Ласки впоследствии развил свои идеи более подробно (*Democracy in Crisis*, 1933, особенно стр. 87), его убежденность в том, что парламентской демократии нельзя позволить превратиться в препятствие на пути социализма, выражена еще более прямо: социалистическое правительство не только „возьмет в свои руки широкие полномочия и будет править с помощью декретов и распоряжений, имеющих силу закона”, а также „приостановит действие классических процедурных правил, предусматривающих формы протеста или оспаривания действий правительства”, но даже само „сохранение парламентской формы правления будет зависеть от получения им (т. е. лейбористским правительством) от консервативной партии гарантий того, что результаты его реформаторской деятельности не будут аннулированы в случае поражения на выборах”!

Поскольку профессор Ласки ссылается на Комитет Дономора, уместно напомнить, что он был членом этого комитета и, вероятно, одним из авторов отчета.

3. Поучительно в этой связи кратко рассмотреть правительственный документ, в котором в последние годы обсуждались эти вопросы. Еще тринадцать лет назад, т. е. до того, как Англия окончательно отказалась от экономического либерализма, процесс делегирования законодательных полномочий уже зашел так далеко, что было решено создать комитет, чтобы выяснить, „какие гарантии являются

желательными или необходимыми для обеспечения верховной власти Закона”. В своем докладе „Комитет Дономора” (*Report of the [Lord Chancellor’s] Committee on Ministers’ Powers*, Cmd. 4060, 1932) показал, что уже тогда парламент прибегал „к делегированию полномочий оптом и без разбора”, но считал это (это было до того как мы действительно заглянули в тоталитарную пропасть!) явлением неизбежным и относительно безобидным. И действительно, передача полномочий как таковая необязательно представляет опасность для свободы; интересно, почему она стала необходима в таком масштабе. Среди причин, перечисленных в отчете, на первом месте стоит тот факт, что „парламент в наши дни принимает ежегодно столько законов” и „многие подробности носят настолько специальный характер, что не подходят для парламентского обсуждения”. Но если все дело в этом, то непонятно, почему нельзя проработать технические подробности до, а не после принятия закона парламентом. Гораздо более важная причина того, почему во многих случаях „если бы парламент не прибегал к делегированию законодательных полномочий, то оказался бы не в состоянии принять именно такие и такое количество законодательных актов, сколько требует общественное мнение”, наивно раскрыта следующей фразой: „многие из законов столь сильно влияют на человеческую жизнь, что главное здесь – гибкость”! Что это означает, если не предоставление права принимать решения по своему усмотрению (так называемых „дискреционных полномочий”), то есть власти, не ограниченной никакими закрепленными правом принципами, и которая, по мнению парламента, не поддается ограничению твердыми и недвусмысленными правилами?

4. Юстас Перси (1887-1958) – деятель консервативной партии, министр образования (1924-1931); был известен своими высказываниями, критикующими слабость традиционных парламентарных институтов; в 1937 г. отошел от активной политической деятельности. Освальд Мосли (род. в 1896 г.) – основатель Британского союза фашистов (1932); во время войны был интернирован; с 1948 г. возглавил крайне правое Британское юнионистское движение. Стаффорд Криппс (1889-1952) – деятель лейбористской партии; активно проповедовал социалистические идеи и в 1932 г. стал одним из основателей левого объединения, известного под названием Социалистической Лиги; в 1939 г. исключен

из лейбористской партии за пропаганду широкого единого фронта, включающего либералов, лейбористов и коммунистов; в 1940-1942 гг. – посол Великобритании в Москве; в 1945 г. восстановлен в рядах лейбористской партии и в 1947-1950 гг. входил в состав лейбористского кабинета. *Прим. ред.*

5. „Socialism and the Problems of Democratic Parliamentarism”, *International Affairs*, vol. XIII, p. 501.
6. Генрих Брюнинг (1885-1970) – германский рейсканцлер (1930-1932), представитель католической партии „Центра”. Хотя Брюнинг и был искренним демократом, он полагал, что тогдашняя экономическая ситуация в Германии требует принятия решительных мер, неосуществимых с помощью парламентской процедуры. Специальным декретом президента Гинденбурга ему были предоставлены чрезвычайные полномочия. Принятые Брюнингом экономические меры восстановили против него все крупнейшие партии в Рейхстаге – как социал-демократов и коммунистов, так и националистов и нацистов. В мае 1932 г. Брюнинг был вынужден уйти в отставку, уступив пост рейсканцлера Ф. фон Папену. В 1934 г. эмигрировал в США.
- Курт фон Шлейхер (1882-1934) – германский генерал, последний канцлер Веймарской республики. В течение последних лет существования Веймарской республики Шлейхер был одной из доминирующих фигур, противостоящих восхождению нацистов. Влияние Шлейхера (благодаря, в частности, его близости к президенту Гинденбургу и поддержке армии) было огромным. Именно по его предложению были назначены рейсканцлерами и Брюнинг, и фон Папен. Шлейхер стремился избежать гражданской войны и держать нацистов под контролем Рейхсвера (армии), чего ему никогда не простил Гитлер. В последней попытке удержать страну на краю пропасти, Шлейхер сам стал рейсканцлером в декабре 1932 г., но за его спиной фон Папен вступил в сговор с Гитлером и националистами, в результате чего Гинденбург в январе 1933 г. предоставил Гитлеру право сформировать кабинет. После прихода нацистов к власти Шлейхер, которого Гитлер считал своим злейшим врагом, прожил лишь до 1934 г., когда был убит эсэсовцами во время так называемой „ночи длинных ножей”. Франц фон Папен (1879-1969) – германский рейсканцлер (июнь-ноябрь 1932 г.). Сформировал свой кабинет, опирающийся на поддержку

прусских юнкеров (т. н. „кабинет баронов”), фон Папен проводил крайне правую политику, постоянно ощущая давление со стороны нацистов, превратившихся уже в могучую силу. Потеряв поддержку в Рейхстаге и уйдя с поста канцлера, фон Папен затеял интригу против Шлейхера и сумел убедить престарелого президента Гинденбурга лишить своей поддержки Шлейхера и назначить канцлером Гитлера. Сам он вошел в этот кабинет в качестве вице-канцлера, все еще надеясь, что присутствие традиционных консервативных сил сумеет предотвратить нацистские эксцессы. Впоследствии был министром-представителем Рейха в Австрии, где активно способствовал подготовке аншлюса. Ф. фон Папен предстал в числе крупнейших нацистских руководителей перед Нюрнбергским трибуналом, но от самых тяжких обвинений был оправдан. *Прим. ред.*

7. K. Mannheim, *Man and Society in an Age of Reconstruction*, 1940, p. 340.

Глава 6. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРАВОЗАКОННОСТЬ

1. Согласно классическому изложению А. Дайси в *Конституционном праве* (8-е изд., стр. 198), правозаконность „означает, прежде всего, абсолютное главенство, или верховный авторитет, официально действующего законодательства, а не произвольных распоряжений властей, и исключает не только произвол со стороны правительства или предоставление ему каких-либо исключительных прав, но даже наделение его широкими дискреционными полномочиями (т. е. правом действовать в определенных случаях по своему усмотрению)”. Однако в Англии этот термин приобрел, в значительной степени благодаря работе Дайси, более узкий и специальный смысл, который нас здесь интересовать не будет. Более широкий и давний смысл концепции правозаконности, или власти закона, которая в Англии стала прочной традицией, скорее принимающейся как должное, нежели обсуждаемой, помогли в полной мере выявить споры о природе *Rechtsstaat* (правового государства), ведшиеся в Германии в начале девятнадцатого века, когда это было новой для нее проблемой.
2. *Ad hoc* (лат.) – специально для данного случая; в чрезвычайном порядке. *Прим. ред.*
3. Поэтому нельзя сказать, что юридический теоретик национал-

социализма Карл Шмитт совершенно неправ, когда он противопоставляет либеральному правовому государству (Rechtsstaat) национал-социалистский идеал „справедливого государства” (gerechte Staat). Речь идет лишь о том, что подобная „справедливость”, противопоставляемая формальному правосудию, неизбежно влечет за собой дискриминацию определенных категорий граждан или отдельных лиц.

4. „Freirechtsschule” („школа свободного права”) – направление в немецкой правовой мысли после первой мировой войны, стремившееся освободить право от необходимости опираться на отвлеченное формальное мышление; по представлениям сторонников этого направления, судья должен в каждом конкретном случае принимать решение, руководствуясь соображениями „насушной потребности” и „целесообразности”, а не буквой закона. *Прим. ред.*
5. Таким образом, в конфликт вступают вовсе не свобода и закон, как это часто неправильно понималось в девятнадцатом веке. Еще Джон Локк окончательно выяснил, что свободы без закона быть не может. Между собой сталкиваются два различных типа законов – столь различные, что их вряд ли можно называть одним и тем же именем. С одной стороны – это законы правового государства, принцип правозаконности, изложенный выше, „правила игры”, позволяющие частным лицам предвидеть, каким образом будет использоваться государственный аппарат принуждения, то есть что ему и его согражданам позволят делать (или заставят делать) в данных обстоятельствах. Второй тип закона фактически предоставляет властям право делать то, что они сочтут нужным. Следовательно, принцип правозаконности явно не может быть сохранен в условиях демократической системы, которая вводит в практику вынесение решений в случае каждого конфликта интересов не по заранее установленным правилам, а „по существу спора”.
6. Еще один пример нарушения правозаконности законодательными органами – это практика парламентского осуждения или объявления вне закона „за особо тяжкое преступление”, нередко встречающаяся в истории Англии.* Форма, которую принимает принцип правозаконности в уголовном праве, обычно выражается избитой латинской фразой nulla poena sine lege – никакого наказания без конкретно предписывающего это наказание закона. Суть

этого правила – в том, что закон должен существовать как общее правило до возникновения индивидуального случая, к которому он применим. Никто не станет доказывать, что когда в царствование Генриха VIII в знаменитом деле о поваре епископа Рочестерского парламент постановил „казнить указанного Ричарда Роуза, сварив его в кипятке до смерти и не дав священника”, этот акт соответствовал принципам правозаконности. Но если во всех либеральных странах правозаконность стала неотъемлемой частью уголовного процесса, то при тоталитарных режимах ее сохранить нельзя. По удачному выражению Э. Б. Эштона, либеральные принципы там заменяются принципом *nullum crimen sine poena* – ни одно „преступление” не должно остаться безнаказанным, независимо от того, предусматривает ли закон в прямой форме подобное преступление. „Права государства не ограничиваются правом наказания нарушителей законов. Общество имеет право на любые меры, необходимые для защиты своих интересов – причем соблюдение законов для него является лишь одним из наиболее элементарных требований” (Е. В. Ashton, *The Fascist, His State and Mind*, 1937, p. 119). Разумеется, что считать нарушением „интересов общества” – решают власти.

**Bill of Attainder* – специальное постановление парламента, осуждающее конкретное лицо за совершение особо тяжкого преступления с лишением его всех гражданских и имущественных прав; запрещение подобной практики специально упомянуто в Конституции США. *Прим. ред.*

7. *In posse* (лат.) – в возможности, в потенции. *Прим. ред.*

Глава 7. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ТОТАЛИТАРИЗМ

1. См. L. Robbins, *The Economic Causes of War*, 1939, Приложение.
2. Какого контроля над всеми областями жизни позволяет достичь контроль, осуществляемый только в экономической сфере, ярче всего можно показать на примере операций с иностранной валютой. На первый взгляд может показаться, что государственный контроль валютных операций никак не затрагивает частную жизнь, и большинство людей отнесется к сообщению о его введении с полным безразличием. Однако опыт многих европейских стран научил мыслящих людей видеть в этом мероприятии решающий шаг на пути к тоталитаризму и подавление свободы личности. Фактически

эта мера означает окончательное отдание человека во власть государственной тирании, полное пресечение всех возможностей освобождения – причем не только для богатых, но для всех и каждого. Как только человека лишают возможности путешествовать или покупать иностранные книги и журналы, как только все средства контакта с заграницей или иностранцами начинают ограничиваться лишь теми, которые официальные органы одобряют или считают необходимыми, – общественное мнение оказывается под гораздо более жестким контролем, чем при любом абсолютистском правлении семнадцатого и восемнадцатого веков.

3. В оправдание этих резких слов приведем выводы, к которым пришел Колин Кларк, один из известнейших молодых специалистов по вопросам экономической статистики, человек неоспоримо прогрессистских взглядов и строго научного мировоззрения, в своей книге *Условия экономического прогресса (Conditions of Economic Progress, 1940, pp. 3-4)*: „Часто повторяемая фраза о бедности посреди изобилия и о том, что вопрос производства уже решен и теперь надо решить вопрос распределения, оказывается на поверку лживейшим из всех модных штампов... Недостаточное использование производственных мощностей – вопрос, имеющий серьезное значение только для США, хотя какое-то время он существовал и в Великобритании, Германии и Франции; в подавляющем большинстве стран он совершенно отступает на задний план перед более важным фактом крайне малой производительности при полном использовании производственных ресурсов. Эпоха изобилия наступит еще очень не скоро... Устранение безработицы во всей промышленности означало бы резкое улучшение уровня жизни населения США, но с точки зрения всей нашей планеты это был бы лишь очень небольшой вклад в решение гораздо более важного вопроса о том, как приблизить реальный доход основной массы населения земли к чему-то, хотя бы отдаленно напоминающему цивилизованный уровень”.
4. Не случайно именно в тоталитарных странах, будь то Россия, Германия или Италия, вопрос о том, как люди проводят свой досуг, попал в сферу планирования. Немцы даже придумали для обозначения этой проблемы ужасный, внутренне противоречивый термин *Freizeitgestaltung* (буквально

„организация проведения свободного времени”), как будто время, проводимое так, как диктуют указания свыше, все еще можно было назвать „свободным временем”.

Глава 8. КТО КОГО ?

1. Вероятно, мы обычно преувеличиваем разрыв в доходах, вызванный наличием или отсутствием собственности, и, соответственно, возможность устранения неравенства с помощью упразднения доходов от собственности. Судя по тому немногому, что нам известно о распределении доходов в советской России, неравенство там ненамного меньше, чем в капиталистическом обществе. Макс Истмэн (*Конец социализма в России*, 1937, сс. 30-34) приводит сведения из официальных советских источников, показывающие, что разрыв между самыми высокими и самыми низкими заработками в России – такого же порядка (примерно 50 к 1), как в США; а Троцкий в статье, цитируемой Джеймсом Бернэмом (*Революция менеджеров*, 1941, с. 43), уже в 1939 г. оценивал, что „в СССР верхушка, составляющая 11-12% населения, получает сейчас около 50% национального дохода. Эта дифференциация резче, чем в США, где высшие слои, насчитывающие 10% населения, получают приблизительно 30% национального дохода”.
2. *The Reader's Digest*, July 1941, p. 39.
3. Эта формулировка принадлежит молодому Дизраэли.
4. См. M. Muggerridge, *Winter in Moscow*, 1934; A. Feiler, *The Experiment of Bolshevism*, 1930.
5. J. S. Mill, *Principles of Political Economy*, Bk 1, Ch. II, Para. 4.
6. G. Wieser, *Ein Staat stirbt, Oesterreich 1934-1938*, Paris, 1938, p. 41.
7. „Балилла” – парамилитарная массовая фашистская молодежная организация в Италии (названа по имени гнузского подростка, давшего сигнал к восстанию против австрийцев в 1746 г.) „Гитлерюгенд” („Гитлеровская молодежь”) – аналогичная нацистская молодежная организация. „Дополоворо” (буквально: „После работы”) – массовая организация в фашистской Италии, предназначенная для повышения сознательности и улучшения физического состояния всех трудящихся. В числе ее мероприятий были: художественное воспитание, физическая культура, туризм и экскурсии, а также мероприятия по социальному

страхованию и социальному обеспечению. „Крафт дурх Фройде” (буквально: „Сила через радость”) – аналогичная организация в нацистской Германии, делавшая особый упор на массовые мероприятия, развивающие физическую подготовку. *Прим. ред.*

8. Здесь можно провести наводящую на размышления параллель с политическими „клубами любителей книги” в Англии.
9. Middle class (англ.) – 1) средний класс (в западной социологии – широкая социальная категория, к которой, в терминах марксистской социологии, относится средняя буржуазия и верхушка мелкой, а также верхние слои интеллигенции, чиновничества и т. п.) 2) *ист.* буржуазия, среднее сословие. *Прим. ред.*
10. Еще двенадцать лет назад один из ведущих европейских социалистов-интеллектуалов, Гендрик де Ман (который с тех пор, вполне последовательно развивая свои взгляды, пришел к примирению с нацистами), заметил, что „впервые с момента зарождения социализма недовольство капитализмом обращается против социалистического движения” (*Sozialismus und National-Faszismus*, Potsdam, 1931, p. 6).

Глава 9. СВОБОДА И МАТЕРИАЛЬНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ

1. В заглавии и тексте данного раздела речь идет об общем понятии, обозначаемом автором с помощью английского слова „security”, охватывающего широкий круг значений – например, оно может означать „безопасность”, „спокойная жизнь”, „обеспеченность”, „уверенность в будущем”, „обеспечение”, „гарантия” и т. д. Если материальное обеспечение граждан по старости, болезни, потере трудоспособности и пр. берет на себя государство, то соответствующая система мероприятий в советской литературе носит название социального обеспечения и социального страхования. Соответствующие понятия в этом случае также входят в круг значений английского термина „social security”. *Прим. ред.*
2. Не следует также отмахиваться от серьезных трудностей в международных отношениях, возникающих, когда сам факт гражданства дает право на более высокий, чем в других странах, уровень жизни.

3. Очень интересные соображения по поводу того, как смягчить эти лишения в рамках либерального общества, были недавно изложены профессором У. Хаттом в книге, заслуживающей пристального изучения (*Plan for Reconstruction*, 1943).
4. D. C. Coyle, „The Twilight of National Planning”, *Harpers' Magazine*, October 1935, p. 558.
5. W. Röpke, *Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart*, Zurich, 1942, p. 172.
6. Рестрикции – мероприятия по ограничению производства, продажи и экспорта, проводимые с целью взвинчивания цен и получения высокой прибыли; то же название носят ограничительные мероприятия в системе кредитов, предоставляемых центральным банком страны коммерческим банкам. *Прим. ред.*
7. Аутсайдер – предприятие, не входящее в монополистическое объединение. *Прим. ред.*
8. Beamtenstaat (нем.) – государство чиновников. *Прим. ред.*
9. H. J. Laski, *Liberty in the Modern State* (Pelican edition 1937, p. 51): „Каждый, кому знаком быт бедняков, с его постоянно преследующим чувством надвигающейся катастрофы, с его судорожной погоней за вечно ускользающей мечтой, поймет, что свобода без прочной экономической базы ничего не стоит”.

Глава 10. ПОЧЕМУ У ВЛАСТИ ОКАЗЫВАЮТСЯ ХУДШИЕ

1. Генрих Гиммлер (1900-1945) – основатель (в 1929 г.) и впоследствии рейхсфюрер СС, с 1943 г. – министр внутренних дел гитлеровского Рейха; покончил с собой, будучи схвачен английскими солдатами. Рейнхард Гейдрих (1904-1942) – с 1936 г. глава гестапо, с 1941 г. – „имперский протектор Богемии и Моравии”; убит в Праге участниками Сопrotивления. Юлиус Штрейхер (1885-1946) – деятель нацистской пропаганды, редактор издания *Штурмовик*, один из создателей расовых законов; казнен по приговору Нюрнбергского трибунала. Роберт Лей (1890-1945) – глава т. н. „Трудового фронта”, повесился до начала Нюрнбергского процесса. *Прим. ред.*
2. Ср. поучительную дискуссию в: F. Borkenau, *Socialism, National or International?*, 1942.

3. Совершенно в духе коллективизма говорит Заратустра у Ницше:
 „Тысяча целей существовала доньше, ибо существовала тысяча людей. Но все еще нет ярма для тысячи шей, все еще нет единой цели. Нет еще цели у человечества. Но скажите, братья мои, молю вас: если нет у человечества цели, разве не означает это, что нет человечества?“
4. Цитируется по статье доктора Нибура Карром в *The Twenty Years' Crisis*, 1941, p. 203.
5. Findlay MacKenzie (ed.), *Planned Society, Yesterday, Today, Tomorrow: A Symposium*, 1937, p. XX.
6. Фабианцы – члены „Фабианского общества“ (названного так по имени древнеримского полководца Фабия Кунктатора, известного своей выжидательной тактикой). Организовано в Англии в 1883-1884 гг. Фабианцы проповедовали идеи социализма, но отвергали революционный путь. К ведущим фабианцам принадлежали С. и Б. Уэбб и Дж. Б. Шоу. Фабианцы способствовали созданию лейбористской партии в 1906 г. и входят в ее состав до настоящего времени. *Прим. ред.*
7. E. Halévy, *L'Ere des Tyrannies*, Paris, 1938, а также *History of the English People*, Epilogue, vol. I, pp. 105-6.
8. См. К. Маркс, *Революция и контрреволюция*, а также письмо Энгельса Марксу от 23 мая 1851 г.
9. Bertrand Russell, *The Scientific Outlook*, 1931, p. 211.
10. В. Е. Lippincott, во введении к: O. Lange and F. M. Taylor, *On the Economic Theory of Socialism*, Minneapolis, 1938, p. 35.
11. Нас не должно вводить в заблуждение, что слово „власть“, помимо значения, в котором оно используется по отношению к людям, употребляется также в безличном (или, скорее, антропоморфическом) смысле, означая „могущество, мощь, силу и т. п.“ (например, „власть обстоятельств“, „власть слова“ и пр). В таком понимании слово „власть“ служит для обозначения причины, определяющей ход развития событий. Поскольку всегда будет существовать нечто, предопределяющее все происходящее, то в этом случае мы не можем говорить об увеличении или уменьшении власти. Это не относится, однако, к власти, сознательно осуществляемой одними людьми над другими.
12. Raison d'état (франц.) – государственная необходимость, благо государства. *Прим. ред.*
13. Профессор Ф. Найт в: *The Journal of Political Economy*, декабрь 1938 г., с. 869.

Глава 11. КОНЕЦ ПРАВДЫ

1. *Pari passu* (лат.) – равными этапами, в равной мере. *Прим. ред.*
2. *Gleichschaltung* – унификация мышления и взглядов в тотальных масштабах (с помощью объединений, союзов, печати, навязывания определенного способа мышления и т. п.). Один из важнейших терминов нацистской идеологии; в гитлеровской Германии был даже издан специальный „Закон о единой для всех идеологии” („*Gleichschaltungsgesetz*”).
Прим. ред.
3. *In abstracto* (лат.) – вообще, отвлечено; само по себе.
Прим. ред.
4. „*Blut und Boden*” (буквально: „Кровь и земля”) – типичный пример языкового манипулирования, практиковавшийся национал-социалистской пропагандой и идеологией. Дело в том, что эти два понятия употребляются здесь не в своем исходном значении, а в том, которое им придается в рамках идеологии нацизма. Слово „*Blut*”, вместе с понятиями „*Art*” („биологический вид”) и частично „*Volk*” („народ”), входило в состав основополагающих понятий расовой теории и воспринималось исключительно в свете соответствующих коннотаций. Точно так же и понятие „земля, почва” вызывает не просто представление о пахаре или землепашце как таковом, но противопоставляет его „выродившейся” буржуазной цивилизации. Таким образом, перед нами сочетание двух важнейших для нацизма „праценностей”, носящих ярко выраженный расовый, шовинистический и „этический” характер. *Прим. ред.*
5. Жорж Сорель (1847-1922) – французский социальный философ, оказавший значительное влияние на формирование фашизма и нацизма. Сорель, долгое время придерживавшийся неомарксистских взглядов, создал учение о „социальном мифе”, выражающем волю к власти группы или класса, возглавляющего социальное движение. Миф есть нечто цельное, символически образное, необходимый элемент мировоззрения любой социальной группы. Таков, например, миф о революции, несущий в себе идею этической ценности насилия, которое является движущей силой истории. Сорель приветствовал Октябрьскую революцию, назвав ее „зарей новой эры”. Корпоративное государство – государство, в котором система представительных органов заменяется назначением в правящий орган представителей „корпораций”.

то есть профессиональных групп населения (профсоюзы, предприниматели, крестьяне и т. д.). Такая структура отражает теоретическое представление (типичное и для марксизма), что общество состоит не из отдельных индивидуумов, а из социальных групп, определяющихся функциональными признаками. Впервые корпоративное государство было создано в фашистской Италии, но элементы его существовали и в нацистской Германии, в Испании и Португалии. *Прим. ред.*

6. Название недавно появившегося труда американского историка Ч. Беккера.
7. *Man and Society in an Age of Reconstruction*, p. 377.
8. По справедливому замечанию Петера Друккера (*The End of Economic Man*, p. 74), „чем меньше свободы, тем больше разговоров о „новой свободе“. Но эта новая свобода – пустая фраза, за которой скрывается прямая противоположность всему, что в Европе понималось под свободой... Новая свобода, проповедуемая в Европе – это право большинства навязывать свою волю индивидууму”.
9. S. and B. Webb, *Soviet Communism*, p. 1038.
10. J. G. Crowther, *The Social Relations of Science*, 1941, p. 333.
11. Primum mobile (лат.) – главная движущая сила; первопричина. *Прим. ред.*

Глава 12. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ КОРНИ НАЦИЗМА

1. И то лишь отчасти: В 1892 г. один из вождей социал-демократической партии Август Бебель мог сказать Бисмарку: „Имперский канцлер может быть уверен, что немецкая социал-демократия – это нечто вроде приготовительной школы милитаризма”!
2. Volksgemeinschaft (буквально: „народная общность”, „народное единство”) – одно из ключевых понятий национал-социалистской идеологии, игравшее огромную роль не только в теории или пропаганде, но и практически во всех областях повседневной жизни в гитлеровской Германии. Для понимания его истинного смысла следует учесть, что это – не только (и не столько) „общность”, создаваемая путем Gleichschaltung’a, но нечто более глубокое: во-первых, из-за биологических, расовых оттенков значения слова „Volk”, а также потому, что понятие „Gemeinschaft” („общность”) принципиально противопоставлялось презираемому нацистами понятию

- „Gesellschaft” („общество”). *Прим. ред.*
3. Вальтер Ратенау (1867-1922) – германский промышленник и финансист, который почти единственный еще в первые дни войны понял, что исход ее зависит от снабжения и разумного хозяйствования сырьем. В 1914-1915 гг. возглавлял специальное управление по снабжению Германии дефицитным сырьем и материалами. Поддерживал идею демократического социализма, с участием работников в управлении предприятиями и эффективным государственным контролем. С 1921 г. – министр восстановления, в 1922 г. – министр иностранных дел; подписал Рапалльский договор с Советской Россией. *Прим. ред.*
 4. Хорошее изложение взглядов Науманна, не менее характерных для немецкой комбинации социализма с империализмом, чем все, что нами цитируется в тексте, можно найти в: R. D. Butler, *The Roots of National Socialism*, 1941, pp. 203-209.
 5. Paul Lensch, *Three Years of World Revolution*. Предисловие Дж. Э. М., Лондон, 1918. Английский перевод этой книги был опубликован каким-то дальновидным человеком еще в годы прошлой войны.
 6. Отто фон Бисмарк (1815-1898) – первый рейхсканцлер Германской империи (1871-1890), получивший прозвище „железный канцлер”; осуществил объединение Германии на прусско-милитаристской основе. В 1879 г. порвал с либералами и заключил мир с лидерами центра, что позволило ему осуществить коренной поворот во внутренней политике, основной характеристикой которого был возврат к протекционизму. В том же году Бисмарк заключил австро-германский союз, ознаменовавший собой начало нового периода консерватизма и во внешней политике Германской империи. *Прим. ред.*
 7. Это относится и ко многим другим интеллектуальным лидерам поколения, породившего нацизм: Отмару Шпанну, Гансу Фрейеру, Карлу Шмитту и Эрнсту Юнгеру. О них смотрите интересное исследование Аурела Кольнаи, *The War against the West*, 1939, страдающее, однако, одним недостатком: оно ограничивается послевоенным периодом, когда эти идеи уже были переняты националистами, и таким образом упускает из виду их социалистических создателей.
 8. Эту Шпенглеровскую формулировку как эхо отражает часто цитируемое высказывание ведущего нацистского специалиста по конституционному праву Карла Шмитта. По его словам,

эволюция государственного правления охватывает „три диалектические стадии: от *абсолютистского* государства семнадцатого и восемнадцатого веков через *нейтральное* государство либерального девятнадцатого века к *тоталитарному* государству, в котором государство и общество составляют одно”. (С. Schmitt, *Der Hüter der Verfassung*, Tübingen, 1931, p. 79).

9. Moeller van den Bruck, *Sozialismus und Aussenpolitik*, 1933, pp. 87, 90, 100. Перепечатанные в этом сборнике статьи, в частности статья „Ленин и Кейнс”, наиболее подробно рассматривающая это утверждение, впервые были опубликованы между 1919 и 1923 гг.
10. K. Pribram, „Deutscher Nationalismus und Deutscher Sozialismus” в: *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, vol. 49, 1922, pp. 298-9. В числе других представителей подобной идеологии автор упоминает философа Макса Шеллера, проповедующего „всемирную социалистическую миссию Германии”, и марксиста К. Корша, пишущего о духе новой народной общности – *Volksgemeinschaft*.

Глава 13. ТОТАЛИТАРИСТЫ СРЕДИ НАС

1. *The Spectator*, April 12, 1940, p. 523.
2. Генрих фон Трейчке (1834-1896) – немецкий историк и публицист, официальный историограф Прусского государства. Идеолог пруссачества, германской экспансии и шовинизма, сторонник объединения Германии под гегемонией Пруссии. *Прим. ред.*
3. *Economic Journal*, 1915, p. 450.
4. Когда мы рассматриваем, какой процент бывших социалистов стал нацистами, особенно важно не забывать, что истинный смысл этого соотношения станет понятным лишь в том случае, если мы будем брать за основу не общее число бывших социалистов, а лишь число тех, чьему обращению в новую веру никак не могло помешать их расовое происхождение. Более того, одной из самых удивительных особенностей политической эмиграции из Германии является малочисленность левых беженцев- „неевреев” в немецком смысле слова. – Как часто приходится слышать восхваления немецкой системы, предваряемые заявлением вроде того, которое на одной недавней конференции „послужило вступлением” к перечислению „заслуживающих

внимания тоталитарных методов экономической мобилизации”: „Мне сразу же хотелось бы оговориться, что г-н Гитлер – отнюдь не мой идеал. Г-н Гитлер не может быть моим идеалом по чрезвычайно веским причинам личного порядка. И все же...”

5. „*Pacta sunt servanda*” (лат.) – „договоры должны соблюдаться” (один из принципов международного права).
Прим. ред.
6. Автаркия – политика хозяйственного обособления страны (или группы стран), направленная на создание замкнутой, самообеспечивающейся экономики. *Прим. ред.*
7. Ср. Franz Schnabel, *Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert*, vol. II, 1933, p. 204.
8. Насколько я помню, первым, кто предложил отменить изучение классических авторов из-за того, что оно внушает опасное свободомыслие, был автор *Левиафана!* /Томас Гоббс (1588-1679) – английский философ, пытавшийся последовательно применить рациональные принципы к исследованию человеческой природы; создатель первой законченной системы механистического материализма. По Гоббсу, человек в своих действиях руководствуется исключительно личной выгодой, и поэтому для стабильности общества необходимо существование сильной верховной власти в государстве. Уподобление государства библейскому чудовищу Левиафану дало название самому известному произведению Гоббса *Левиафан* (1651). *Прим. ред.*/
9. Сервиллизм ученых по отношению к властям предрержащим рано проявился в Германии, где шел бок о бок с быстрым ростом государственной науки, столь восхваляемой ныне в Англии. Один из известнейших немецких ученых, физиолог Эмиль Дюбуа-Реймон, не постеснялся в речи, произнесенной им в 1870 г. в качестве ректора Берлинского университета и президента Прусской Академии наук, заявить: „Мы, Берлинский университет, размещающийся напротив королевского дворца, в силу самого акта нашего основания, являемся интеллектуальным хранителем дома Гогенцоллернов”. (*Речь о Германской войне*, Лондон, 1870, с. 31. – Примечательно, что Дюбуа-Реймон считал целесообразным выпустить английский перевод этой речи).
10. Достаточно процитировать лишь одного иностранного свидетеля: Р. А. Брэди в своей работе *Дух и структура немецкого фашизма* включает подробное описание событий

в немецком академическом мире следующим утверждением: „В современном обществе из всех людей со специальным образованием ученый, *per se*,* вероятно, наиболее легко поддается манипулированию и „координации“. Правда, нацисты лишили работы множество университетских преподавателей, и уволили множество ученых из лабораторий. Однако уволенные преподаватели работали в основном в области общественных наук, где более широко и более ясно осознавалась суть нацистских учебных программ, встречающихся в этой среде с постоянной критикой, а не в области наук естественных, где, казалось бы, мышление должно быть возможно более строгим. Уволенные естественники были в основном евреями или исключениями из вышеприведенного правила, т. е. точно так же некритически разделяли убеждения, диаметрально противоположные нацистским. – Вследствие этого, нацистам было относительно нетрудно провести „координацию“ ученых – и гуманитариев, и естественников – и подкрепить свою изоцированную пропаганду мнимой поддержкой немецких научных авторитетов”.

* *Per se* (лат.) – сам по себе; как таковой. *Прим. ред.*

11. Еще одним фактором, который после нынешней войны скорее всего усилит этого рода тенденции, будут люди, прибывшие во время войны к власти, которую дает принудительный контроль, и не могущие примириться с необходимостью перейти на вторые роли. После прошлой войны такого рода людей было меньше, чем, вероятно, будет теперь, но даже и тогда они оказывали немалое влияние на экономическую политику Англии. Именно в обществе этих людей десять-двенадцать лет назад я впервые в Англии испытал тогда еще необычное ощущение внезапного переноса в интеллектуальную атмосферу, которую всегда считал „типично немецкой“.
12. Об этом см. недавно опубликованную поучительную статью „Монополии и право“ У. Артура Льюиса, в *The Modern Law Review*, vol. VI, No. 3, April 1943.
13. Может быть, еще более удивительна выказываемая многими специалистами трогательная забота о рантье – держателе акций, которому монополистическое устройство промышленности нередко гарантирует твердый доход. Когда слепая ненависть к прибылям заставляет людей считать не требующий никакой работы твердый доход

социально и морально более приемлемым, чем прибыли, и соглашаться даже на то, чтобы этот доход гарантировался (например, держателям акций железных дорог) монополиями – перед нами один из самых поразительных симптомов извращения ценностей, начавшегося при жизни предыдущего поколения.

14. Профессор Г. Дж. Ласки, в своем обращении к 41-ой ежегодной конференции лейбористской партии, Лондон, 26 мая 1942 г. (*Report*, p. 111). Заслуживает внимания то, что по мнению профессора Ласки, именно „эта безумная конкурентная система означает бедность для всех стран и войну как результат этой бедности” – по меньшей мере странное прочтение истории последних ста пятидесяти лет.
15. *The Old World and the New Society*. Отчет Исполнительного комитета Британской лейбористской партии по проблемам восстановления, стр. 12 и 16.

Глава 14. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И МОРАЛЬНЫЕ ИДЕАЛЫ

1. Частые упоминания происходящего время от времени уничтожения запасов пшеницы, кофе и т. д. в качестве довода против конкуренции говорят об интеллектуальной недобросовестности, ибо не надо долго думать, чтобы понять, что при конкурентной рыночной системе ни один владелец подобного рода запасов ничего не выиграет от их уничтожения. Вопрос о якобы практикующемся „замораживании” полезных патентов более сложен, и обсуждать его в сноске было бы бессмысленно. Тем не менее, условия, при которых оказалось бы выгодно „заморозить” патент, *применение которого было бы в интересах общества*, столь исключительны, что можно смело утверждать, что вряд ли это вообще когда-либо имело место в более или менее серьезных случаях.
2. Здесь стоит подчеркнуть, что, как бы нам ни хотелось быстро возвратиться к свободному рынку, это не означает, что все ограничения военного времени будут устранены в один присест. Ничто не могло бы в большей степени дискредитировать систему свободного предпринимательства больше, чем острые (пусть даже кратковременные) потрясения и неустойчивость, к которым привела бы такая попытка. Вопрос в том, к какой именно системе мы будем стремиться в процессе перехода на мирные рельсы, ибо не

подлежит сомнению, что экономика военного времени должна преобразовываться в какую-то более постоянную структуру путем тщательно продуманного постепенного ослабления контроля, которое может растянуться на несколько лет.

3. Это обещание все более и более открыто формулируется по мере приближения социализма к тоталитаризму. В Англии оно было наиболее недвусмысленно изложено в программе новейшего, и самого тоталитаристского, из всех видов английского социализма: движения „Общее дело”, возглавляемого сэром Ричардом Акландом. Главная особенность проповедуемого им нового порядка состоит в том, что общество скажет индивидууму: „Тебе больше не надо беспокоиться о том, как заработать на жизнь”. Вследствие этого, разумеется, „общество в целом должно решать, исходя из своих ресурсов, давать ли человеку работу, а также кем он будет работать, когда и каким образом”. Обществу придется также „завести лагеря для уклоняющихся от отведенных им обязанностей – впрочем, с весьма терпимыми условиями”. Удивительно ли после этого, что, как извещает нас автор, Гитлер „случайно обнаружил (или оказался перед необходимостью использовать) малую частицу, или, лучше сказать, один конкретный аспект того, что в конечном счете потребуется от человечества” (Sir Richard Acland, Bt., *The Forward March*, 1941, pp. 127, 126, 135 and 32).
4. Тема этой главы уже потребовала не одной ссылки на Мильтона, но трудно устоять перед искушением добавить еще цитату, очень знакомую, но которую, похоже, не осмелился бы в наши дни привести никто, кроме иностранца: „Да не забудет Англия своего первенства в обучении народов тому, как жить”. Не случайно, по-видимому, наше поколение видело бесчисленное множество американских и английских хулителей Мильтона – и не случайно главный из них, Эзра Паунд, во время войны вел радиопередачи из Италии!
5. „Realpolitik” – „реалистическая политика”; политика, подчеркивающая необходимость компромисса и уступок. Термин был введен в 1853 г. Л. фон Рохау в одноименной книге, где он стремился напомнить идеологам либерализма (превратившегося в 1848-1849 гг., по мнению автора, в „дарство чистых принципов”), о необходимости приспособить их программы к политической реальности.

Тем не менее, в дальнейшем успехи *Realpolitik* были связаны с именем весьма далекого от либерализма Бисмарка, который даже определил политику как „искусство возможного”. В современной литературе этот термин обычно употребляется с целью подчеркнуть оппортунистическую сторону какой-либо политики, отказ от основополагающих принципов во имя сиюминутной выгоды. *Прим. ред.*

Глава 15. ПЕРСПЕКТИВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ МАСШТАБЕ

1. По этому и нижеследующим вопросам, на которых здесь можно остановиться лишь очень кратко, см. книгу профессора Лайонела Роббинса: Lionel Robbins, *Economic Planning and International Order*, 1937, *passim*.
2. В этом отношении особенно показательной является книга: James Burnham, *The Managerial Revolution*, 1941.
3. Опыт Англии (как и любой другой страны) в области колониальной политики ясно показал, что даже „мягкие” виды планирования, известные под названием промышленного развития и освоения природных ресурсов колоний, хотим мы того или нет, влекут за собой навязывание тем, кому мы пытаемся помочь, определенных идеалов и ценностей. Именно этот опыт и заставляет даже самых непредвзятых и „космополитически” настроенных специалистов по проблемам колоний столь скептически относиться к осуществимости „международного” управления колониями.
4. Тот, кто все еще не видит подобных трудностей или искренне верит, что их вполне можно преодолеть при минимальном наличии доброй воли, пусть попытается представить себе последствия централизованного руководства экономикой во всемирном масштабе. Можно ли сомневаться в том, что это означает более или менее сознательную попытку закрепить господство белого человека и с полным основанием будет именно так рассматриваться другими расами? Пока я не встречу человека, который, будучи в здравом уме и твердой памяти, всерьез верил бы, что европейские народы добровольно согласятся на то, чтобы их уровень жизни и темпы прогресса устанавливались неким мировым парламентом, я не смогу считать подобные планы ничем иным, как полным абсурдом. Однако это, к сожалению, не мешает людям всерьез

- пропагандировать конкретные меры, которые были бы оправданы лишь в том случае, если бы мировое правительство было реально достижимым идеалом.
5. Профессор Мэннинг, в рецензии на книгу проф. Карра *Условия мира в International Affairs Review Supplement*, июнь, 1942.
 6. Во многих отношениях показательно, что, как недавно отметил один из еженедельных журналов, „теперь уже не удивляешься, когда со страниц *Нью Стейтсмен* или *Таймс* вдруг повеет знакомым душком идей профессора Карра” („Four Winds” in *Time and Tide*, February 20, 1943).
 7. Очень важно, что затопивший нас в последние годы поток публикаций по проблемам федерализма лишил немногие попадавшие среди них серьезные и вдумчивые работы внимания, которого они заслуживают. Когда придет время создавать новую политическую структуру Европы, в особенности необходимо будет проштудировать небольшую книгу Айвора Дженнинга *Проект конфедерации для Западной Европы: W. Ivor Jennings, A Federation for Western Europe* (1940).
 8. По этому вопросу см. статью автора „Экономические условия межгосударственной федерации”, *The New Commonwealth Quarterly*, vol. V, September 1939.
 9. См. уже цитировавшуюся книгу профессора Роббинса, стр. 240-257.
 10. Уже в конце девятнадцатого века Генри Сиджвик считал „не выходящим за пределы трезвых прогнозов предположение, что в будущем в западноевропейских странах может иметь место какая-то форма интеграции; а если это произойдет, представляется вероятным, что они последуют примеру Америки и новая политическая совокупность будет сформирована на базе федерального образа правления” (*The Development of European Polity*, опубликовано посмертно в 1903 г., с. 439).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Reculer pour mieux sauter (франц. поговорка) – отступить, чтобы (с разбега) дальше (буквально: лучше) прыгнуть.
Прим. ред.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. „Статьи по вопросам федерализма” („Federalist Papers”) – совокупность американских политических эссе, написанных в поддержку предлагавшейся тогда Конституции США и опубликованных анонимно в 1787-1788 гг. В дальнейшем были собраны в единую книгу, вышедшую под названием *Федералист*. Авторами статей были: Александр Гамильтон (1755-1804) – участник Американской революции, первый государственный секретарь финансов США, основатель первой американской политической партии („партия федералистов”); Джеймс Медисон (1751-1836) – четвертый президент Соединенных Штатов, внесший решающий вклад в разработку Конституции и получивший за это прозвище „отец Конституции”; Джон Джей (1745-1829) – секретарь по иностранным делам США, затем – первый председательствующий судья Верховного Суда США. „Федералистские статьи” до сих пор считаются классическим изложением федеральной системы США. *Прим. ред.*

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие к русскому изданию.	7
Предисловие	9
Предисловие к изданию 1976 года.	12
Введение.	17
<i>Глава 1.</i> Отвергнутый путь	26
<i>Глава 2.</i> Великая утопия.	40
<i>Глава 3.</i> Индивидуализм и коллективизм.	48
<i>Глава 4.</i> „Неизбежность” планирования	60
<i>Глава 5.</i> Демократия и планирование.	74
<i>Глава 6.</i> Планирование и правозаконность	90
<i>Глава 7.</i> Экономический контроль и тоталитаризм . . .	106
<i>Глава 8.</i> „Кто кого?”	120
<i>Глава 9.</i> Свобода и материальная обеспеченность	138
<i>Глава 10.</i> Почему у власти оказываются худшие.	153
<i>Глава 11.</i> Конец правды	171
<i>Глава 12.</i> Социалистические корни нацизма	185
<i>Глава 13.</i> Тоталитаристы среди нас	199
<i>Глава 14.</i> Материальные обстоятельства и моральные идеалы	218
<i>Глава 15.</i> Перспективы планирования в международном масштабе	236
Заключение.	256
Рекомендуемая литература.	258
Примечания	261

Дорога к рабству – вероятно, самая известная из книг профессора Хайека. Впервые изданная в 1944 г., она переведена на четырнадцать языков и принесла своему автору мировую славу. Экономическое планирование продолжает вызывать интерес и оставаться предметом изучения не только в академических, но и в общественных и правительственных кругах; поэтому *Дорога к рабству* по-прежнему является одним из основных источников для критического обсуждения идеи планируемой экономики. В настоящее издание включено предисловие, специально написанное для него автором.

„Эту книгу должен прочесть каждый. Бесполезно возражать, что множество людей не интересуется политикой; политический вопрос, рассматриваемый доктором Хайеком, касается каждого члена общества: это вопрос о свободе в планируемом обществе. По мнению Хайека, как только мы переходим от мероприятий по обеспечению „застрахованности от суровых физических лишений” и предоставления тех услуг, которые невозможно обеспечить в рамках конкуренции, к попыткам установить „централизованное руководство всей экономической деятельностью в соответствии с единым планом, указывающим, как следует *сознательно направить* ресурсы общества на то, чтобы они конкретным образом служили индивидуальным целям”, – нашей свободе конец”.

Журнал *Лиснер*

„По-моему, это крайне важная книга. Мы все должны быть благодарны Вам, так хорошо сказавшему то, что так необходимо было сказать... В морально-философском отношении я практически целиком и полностью согласен с книгой; и не только согласен, но и глубоко тронут ею”.

Дж. М. Кейнс

„В негативной части тезиса профессора Хайека очень много правды. Надо неустанно повторять то, что говорится слишком редко: что коллективизм не только по природе своей не демократичен, но, наоборот, облакает деспотическое меньшинство властью, о которой не смела и мечтать испанская инквизиция”.

Джордж Оруэлл

„Это мужественная книга: ее отличительной особенностью от начала до конца остается искренность, презирующая камуфляж и обиняки. Кроме всего прочего, это вежливая книга, в которой противникам никогда не приписывается ничего, кроме интеллектуальных заблуждений... Читатель будет рад познакомиться со взглядами одного из самых выдающихся экономистов нашего времени”.

Джозеф А. Шампитер

„Эрудированная и искренняя книга”.

А. Пигу

„Среди пишущих по-английски нет экономиста, способного лучше справиться с поставленной здесь задачей”.

А. Дайректор